

СИМОН  
ЧИКОВАНИ

# СИМОН ЧИКОВАНИ

Б.П.

Сამხატვრობის  
ინსტიტუტი



# БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

## ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

*Редакционная коллегия*

*Ю. А. Андреев (главный редактор),  
И. В. Абашидзе, Н. П. Бажан, Г. П. Бердников, А. Н. Болдырев,  
А. С. Бушмин, Н. М. Грибачев, М. А. Дудин, А. В. Западов,  
М. К. Каноат, К. Ш. Кулиев, Э. Б. Межелайтис, А. А. Михайлов,  
Д. М. Мулдагалиев, Ф. Я. Прийма, С. А. Рустам, А. А. Сурков,  
М. Танк, В. Д. Федоров, М. Б. Храпченко*



*Большая серия  
Второе издание*



---

С О В Е Т С К И Й П И С А Т Е Л Ъ



# СИМОН ЧИКОВАНИ

## СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

*Вступительная статья*

Г. Л. Асатиани и Г. Г. Маргвелашвили

*Составление и примечания*

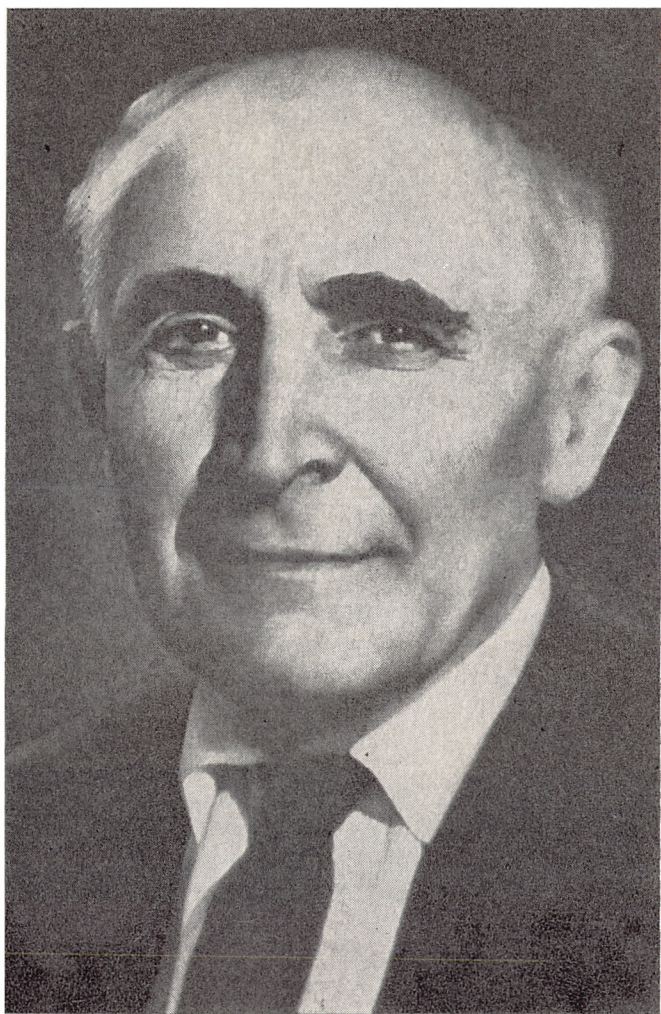
*Э. Д. Квитаишвили*



Замечательный грузинский поэт С. И. Чиковани (1903—1966) прошел большой и сложный путь от «экспериментальных» стихов 20-х годов, во многом связанных с литературным движением футуристов, к творчеству, достойно продолжающему гуманистические и художественные традиции грузинской поэтической классики.

Признанный мастер напряженно-психологической лирики, богатой философскими обобщениями и разнообразной интонационно-ритмически, Симон Чиковани был певцом социалистических преобразований, глашатаем дружбы и братства народов. В годы Великой Отечественной войны Симон Чиковани создал ряд высокопатриотических произведений, вошедших в его сборник «Победа».

В настоящем издании стихотворения и поэмы Симона Чиковани представлены в переводах П. Антокольского, Б. Пастернака, А. Межирова, Б. Ахмадулиной, В. Державина, Н. Заболоцкого, Е. Евтушенко, А. Тарковского и др. Ряд произведений переведен на русский язык впервые.







## СИМОН ЧИКОВАНИ

«С юношеских лет меня влекло к дорогам — близким и дальним, — писал Симон Чиковани уже на склоне своих лет. — Я пешком обошел почти все уголки Грузии. Много путешествовал по братским республикам. Тема дороги органически вошла в мою поэзию. Мои стихи о России, Украине, Армении — лирическое выражение этой близкой моему сердцу темы. Дорога для меня, однако, понятие более широкое, чем это непосредственно подразумевается самим словом. Об этом у меня сказано стихами:

А строчку дома не занежишь  
И только выведешь рукой,  
Ей слаще всех земных убежищ  
Путь от души к душе другой».<sup>1</sup>

Образ дороги стал сквозным лирическим образом в творчестве многих выдающихся советских поэтов поколения Симона Чиковани, символизируя и неуклонное продвижение вперед, и поиски новых путей к человеческим сердцам.

Главное заключается в том, что поэт всегда сознавал преемственную связь с вековой традицией грузинской поэзии, образно выраженной в «беге» сказочного коня Бараташвили, с традицией покорения новых рубежей, широкого, полноценного поэтического самоутверждения во всечеловеческих масштабах, с традицией всегдашней устремленности к грядущему:

...Где конь мой Мерани ныряет в метели  
в безжалостной жадности к будущим дням.

(«Дорога»)

В основе такого сознания лежит и глубокая вера в несметность сил и красок выражаемого поэтом мира, той национальной действи-

---

<sup>1</sup> Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, М., 1968, с. 9.

тельности, которая, по его словам, вмещает в себе «отчизны бесконечность», — и страстное желание выйти с этим драгоценным грузом на магистральные исторические пути, сделать эти богатства всеобщим достоянием.

Это тяга к не ограниченному «местными интересами», но созвучному эпохальным достижениям человечества самораскрытию в искусстве. Источник ее в своеобразном понимании собственной почвы, в ощущении своей родной «опорной точки» в современном литературном пространстве:

Кто сказал, что будто бы мала  
моя отчизна, Картли дорогая,  
что словно малый диск она легла?  
Кто выдумал: мала земля родная?

...Измерь-ка крылья ураганов гор,  
ущельями зажатых и ревущих,  
измерь-ка рек клокочущий костер,  
льды купола, вонзившиеся в тучи.

Рукою, что в бою закалена,  
коснись ворот Дербентских, взятых в сече,  
тогда откроется она —  
моей отчизны бесконечность!

*(«Кто сказал...»)*

Тема дороги в контексте поэтической эволюции С. Чиковани оправдана и биографически, потому что он один из тех грузинских поэтов нашего столетия, которые с первых шагов на пути творчества до последних дней жизни шли в ногу с современностью в ее главных направлениях, в ее устремленности вперед.

Всю свою жизнь в поэзии Симон Чиковани прожил как путник, без усталости преодолевающий собственный, никем до него не проторенный путь в страну Незнаемого.

Маленькое село Наэсаково, в котором 8 января 1903 года родился Симон Иванович Чиковани, находится в Мегрелии, в одном из колоритнейших уголков Западной Грузии. Его жители даже на фоне соседних имеретинцев и гурийцев выделяются особой экспансивностью и ярко выраженным холерическим темпераментом. Мегрелы между собой говорят на одном из своеобразнейших (наряду со сванским) диалектов грузинского языка; это наречие до сих пор не утратило своей жизнеспособности в быту, особенно деревенских жителей.

Однако необходимость преодоления довольно трудного диалектного барьера рождала и рождает не склонность к обособлению, а особо развитую любовь и даже благоговение ко всему общегрузинскому, и в первую очередь к тому, что создано и создается на грузинском литературном языке.

Отец Симона Чиковани — простой сельский труженик, ставший инвалидом с молодых лет (что не помешало ему владеть несколькими ремеслами), — превосходно знал грузинскую классику и особенно любил состязаться в чтении на память целых кусков из поэмы Руставели со своей матерью — бабушкой будущего поэта, которая занималась воспитанием мальчика (мать Симона умерла на третий или четвертый день после его рождения).

Атмосфера любовного отношения к книге и особой увлеченности поэзией окрашивала все детство Симона Чиковани. Род его славился семейными стихотворцами, которые прилежно культивировали переходивший из поколения в поколение обычай обращения друг к другу рифмованными посланиями.

Культ знаний, уважение к печатному слову прививались ребенку с самого раннего возраста, а крайняя бедность еще больше вызывала стремление к свету, к большой, настоящей жизни. Именно о таком будущем своего единственного сына мечтал Иванэ Чиковани. Поэтому, когда настала пора, он продал свое последнее имущество — деревянный домик-оду и всей семьей перешел в кухонное «помещение» для того, чтобы на вырученные деньги снарядить наследника в кутаисское реальное училище. Отец хотел увидеть сына горным инженером. «Однако, — вспоминает С. Чиковани, — я попал сразу же в среду учеников грузинской гимназии. Кутаиси в те годы был настоящим центром культурной жизни Грузии. Среди молодежи именно гимназисты были застрельщиками литературных чтоток и споров. Меня еще сильнее потянуло к стихам... Я начал и сам кое-что пописывать и принимал участие в создании рукописных журналов, выпускаемых учениками.

В 1922 году я окончил реальное училище и переехал в Тбилиси, поступил в университет и начал работать в политотделе грузинских частей Красной Армии». <sup>1</sup>

Печататься Симон Чиковани начал с 1924 года. Но именно в год окончания им кутаисского реального училища в литературной жизни Грузии произошло событие, сыгравшее значительную роль в становлении молодого поэта: в Тбилиси и Кутаиси параллельно образовались группы грузинских футуристов, объединившихся вскоре под знаменем «Мемарцхенеоба» («Левизны»).

Первое публичное выступление грузинских футуристов состоялось

---

<sup>1</sup> Советские писатели. Автобиографии, т. 2, М., 1959, с. 631.



23 марта 1923 года в здании Тбилисской консерватории, а в апреле 1924 года вышел в свет их первый журнал «H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>».

Сегодня наше общее отношение ко всем постсимволистским литературным школам и направлениям несколько иронично; ретроспективному взгляду современника все это представляется как «детская болезнь» или, в лучшем случае, как наивные заблуждения молодой советской литературы.

Каждое из этих направлений довольно основательно изучено и охарактеризовано с точки зрения социологии искусства, рассмотрены соответствующие классовые интересы, умонастроения, предубеждения и т. д.

Все как будто просто и ясно. И все-таки каждый индивидуальный случай (особенно, когда речь идет о причастности к одному из этих направлений того или иного крупного советского писателя) имеет свои внутренние сложности, свои довольно серьезные аспекты, свое психологическое наполнение.

Грузинский футуризм, как и возникшая на его почве «Левизна», — явление хотя и недолговечное, в известной степени эпигонское, внутренне эклектичное, но тем не менее отмеченное некоторым национальным своеобразием, обладающее и своими внутренними закономерностями, — явление, без учета которого невозможно понять как специфику литературной жизни начала 20-х годов, так и важнейшие особенности творческой эволюции ярчайшего представителя этого направления в Грузии — Симона Чиковани.

В начале 1924 года, еще до выхода «H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>», во вполне уважаемом грузинском журнале «Мнатоби» («Светоч») была напечатана статья лидера грузинских футуристов.

«Форма, которая была на службе минувшей эпохи, неприемлема для современности... у искусства, как и у социального движения, есть два полюса. Первый заключается в революции, второй — в созидании. Первый подразумевает движение с целью истребления устаревших форм и фабул. Второй — построение новых систем и форм», — так писал С. Чиковани в своем «„Срочном разъяснении“ к журналу „H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>“».

Там же говорилось о первой задаче только что родившейся школы и ее приверженцев. Это — «террор против оставшегося в коммунистическом государстве литературного мусора» с целью «очищения атмосферы».

Комментировался и название первого печатного органа грузинских футуристов — формула серной кислоты. «Название фирмы «H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>» нам подойдет в первом сезоне нашей борьбы, и, возможно, его роль будет исчерпана на этом». <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Мнатоби, 1925, № 4, с. 220—221 (на груз. яз.).

Однако главный пафос этого манифеста не в «террористических» актах в области искусства, которые считались лишь необходимым средством на начальной стадии самоутверждения, но в грядущем созидании революционной культуры.

«Революционность» в словаре грузинских футуристов имела два смысла: во-первых, искусство должно служить делу Революции, во-вторых, оно призвано стать революцией в эстетическом (то есть на деле в чисто формальном) смысле.

В этом молодые грузинские революционеры от искусства смыкались с русскими левовцами, точнее, этот лозунг был ими целиком заимствован у старших братьев. Заимствования вообще были в их духе.

От итальянского футуризма они охотно взяли культ техники, всеобъемлющего и, в сущности, самоцельного технического прогресса, от французских дадаистов (Б. Гордезиани объявил дадаизм «военной тактикой футуризма») инфантильный алогизм словосочетаний, от кубизма — «новое ощущение вещи», от русских конструктивистов — идею «дематериализации» искусства.

Все это, вместе взятое, перемешанное, порой же нарочито перепутанное, предопределило эклектизм поэтики грузинского футуризма.

До создания собственной оригинальной «системы» им дойти не удалось: их группа просуществовала слишком недолго. Читатель, за исключением незначительной части артистической молодежи, их так и не принял. При публичных столкновениях грузинских футуристов с их главными соперниками — группой «Голубые роги» симпатии аудитории, как правило, оказывались на стороне последних.

Однако они все-таки внесли некоторое оживление в культурную жизнь столицы Грузии.

Журнал «H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>» — первенец грузинских футуристов — всячески старался оправдать свое название. Он готов был все вокруг себя «обжечь» — все подлежащее испытанию огнем, все устоявшееся, все, что в той или иной степени было освящено традицией и превратилось в норму.

Трудно сказать, знали или нет юные основатели журнала сказанное Энгром о Делакруа: «От его картин несет серой». Скорее нет, иначе они с удовольствием начертали бы эти слова на своем знамени. Правда, «сатанинского» в их сумасбродных помыслах было очень мало. Но на тбилисские улицы они высказывали как настоящие бесенята, ошеломляя «приличную» публику своим видом и поведением.

У Ниогола (Николая) Чачава галстук был завязан на ноге, другой Николай (будущий кинорежиссер) — Шенгелая обычно читал стихи, раскачиваясь на ветке самого высокого дерева на Головинской

улице (ныне пр. Руставели). Говорят, что именно в такой позе увидел его проходивший мимо Котэ Марджанишвили, который велел озорнику сойти с дерева и следовать за ним на киносъемку, и что именно с этого момента началась новая карьера одного из талантливейших грузинских лефовцев.

Остальные старались ни в чем не уступать двум Николаям, а главным теоретиком и трибуном у них был Бесо Жгенти, поражавший своих оппонентов кощунственными взглядами на все имеющее отношение к культуре, убийственной логикой, головокружительными полемическими ходами, а также феноменальной памятью (Б. Жгенти знал наизусть стихи всех современных поэтов — и врагов и соратников).

Симон Чиковани был среди них признанным метром и самым плодовитым практиком.

Позднее свое футуристическое прошлое он вспоминал с неизменной иронической улыбкой, как это делают обычно, припоминая юношеские проказы.

Но увлечение футуризмом не прошло для него бесследно.

Во-первых, ратуя за новое революционное искусство, он именно тогда довольно основательно изучил внутренние особенности тех процессов, которые происходили с начала XX века в изобразительных искусствах (главным образом в живописи) Запада и России. И это знание, полученное в самые молодые годы, сыграло важную роль в его художественных исканиях в самые разные периоды его творческой биографии.

Во-вторых, Симон Чиковани среди своих соратников с самого начала выделялся особым стремлением — открыть возможности развития нового искусства на грузинской почве, точнее, использовать в своих новаторских поисках не столько чисто литературные, как правило не грузинские источники, сколько национальную стихию народного творчества.

С этой точки зрения его смелые эксперименты в области «зауми» представляют особый интерес как уникальные в грузинской поэзии образцы использования фольклорных форм поэтической звукописи, во многом напоминающие аналогичные опыты Велемира Хлебникова. Два стихотворения, сделанные в этом ключе — «Цира» и «Хобо», в свое время стали довольно широко известными в художественных кругах Грузии также и благодаря талантливому исполнению (тоже в новой манере) начинающей тогда актрисы Верико Анджапаридзе. Следует сказать, что обе эти вещи до сих пор сохраняют удивительное очарование. Переводить их на другой язык, конечно, нет никакой возможности по той самой причине, которая делает невозможным перевод таких специфических творений русского футуризма, как «Бобэоби» или «Смехачи» Хлебникова.



Тяготение к реалистическому художественному мышлению в поэзии Симона Чиковани появляется очень рано, еще в то время, когда он сам считает себя правоверным приверженцем футуризма, и все время нарастает, приобретая характер своеобразного возвращения (новым путем) к классическим формам и идеалам поэтического искусства.

Весьма примечательно, что сам поэт, осмысливая позднее причины своего недолгого увлечения футуризмом, особенно подчеркивает это обстоятельство: «Я был воспитан на классической грузинской и русской поэзии. Из грузинских поэтов особенно увлекали меня Бараташвили и Важа Пшавела, а из русских — Тютчев. Поэтому переход на позиции «Лефа» означал для меня большую ломку привычных взглядов и вкусов.

Как и следовало ожидать, после нескольких лет своеобразной работы над словом я и большинство моих друзей отошли от «Левизны». Это произошло еще и потому, что современная советская жизнь стала для меня главной темой творчества.

..Полученные тогда впечатления продиктовали мне такие стихи, как «Комсомол в Ушгуле», «Вечер застаёт в Хахмати», «Хевсурская корова», «Сванская колыбельная», «Письмо с гор» и другие». <sup>1</sup>

Перечисленные стихи писались на рубеже 20—30-х годов. Это время, когда молодой еще Чиковани, сохранивший прежний поэтический пыл и острополемическое отношение к литературной «инерции», ищет опору для своих смелых поисков уже не только внутри литературы, но и в самой жизни, в ее живом, реальном движении и проявлениях.

Именно здесь, на этой новой (не в абстрактно-формальном, а уже в конкретно-сущностном значении этого слова) почве происходит его второе поэтическое рождение.

С. Чиковани этих лет не перестает появляться и на внутрилитературной арене — дебатах, бурных вечерах, своеобразных состязаниях поэтов разных школ, направлений; но гораздо чаще он там, где возникает, встает и пробивает себе дорогу новая действительность, новые общественные, материальные, исторические формы бытия народа.

Он откликается и на рождение комсомола в самом патриархальном уголке Грузии — Ушгуле, и на необыкновенный вечер в Хахмати, где «темны еще эти выси, за душу держит гор закон», но где в сознании молодых хевсуров уже зажглась искра, способная взорвать вековую «косность сельскую». В его стихах появляются колоритные мегрельские зарисовки, в которых все дышит предчувствием коренных перемен...

---

<sup>1</sup> Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, с. 5—6.

Одним из наиболее характерных поэтических произведений, написанных Чиковани в ту пору, была поэма «Судьба — Республика» (1928). Это — поэтическая хроника, запечатлевшая решающий час в жизни новой Грузии: бегство меньшевиков и установление советской власти (1921 год). Не исключено, что название ее навеяно поэмой Бараташвили «Судьба Грузии», в которой тоже был отображен переломный момент, определивший исторический путь грузинского народа на целую эпоху.

«Судьба — Республика» написана в манере, характерной для грузинской поэзии тех лет. Много общего она имеет, в частности, с поэмами «Джон Рид» (1924) Галактиона Табидзе и «Рион — порт» (1928) Тициана Табидзе. Все это — поэмы нового типа, поэмы-хроники.

Как видим, путь Симона Чиковани в поэзии был довольно сложным. Сам он назвал ранний этап своего творчества «детской болезнью». <sup>1</sup> Что греха таить — не обошлось тогда без «голового экспериментаторства» и «любования самоцельным звуковым образом», не всегда удавалось поэту «сочетать с картиной звук», не всегда его образ был «порожден щедрым солнцем», эксцентричность метафор и сравнений затрудняла порою восприятие его стихов, но во многих из них (за исключением нескольких самых ранних опытов самоцельной оркестровки стиха) несомненно заключалась живая и острая мысль, подлинное чувство, хотя, может быть, и выраженное часто с нарочитой полемической несуразностью.

Многие и многие стихи Симона Чиковани, созданные в 20-х годах, были по-настоящему реалистичны, а отдельные формалистические выверты были сравнительно легко устранимы. И действительно, несколько позже небольшая, часто еле заметная ретушь помогла автору прояснить прекрасный лик многих своих ранних произведений («Судьба соловья», «Письма», «Под дождем», «Первое посвящение», «Первая разлука», «Когда в Тбилиси...», «Не спится ночью и не пишется», «Второе посвящение», «Вспоминаю в городе село родное», «Песнь путника», «Дева-башня» и многие другие). Более того, когда грузинской поэзией в целом (и ее читателем!) были вполне освоены многие из новаторских опытов 20-х годов, когда были преодолены и пуристские крайности в толковании «норм» реализма, в ряде случаев даже эта позднейшая стилистическая ретушь оказалась излишней и оказались устаревшими не первые варианты стихов, а их новые редакции.

При жизни Чиковани в русские сборники обычно включалось

---

<sup>1</sup> Чиковани Симон, Сочинения, т. I, Тбилиси, 1975, с. 207, на груз. яз. (стихотворение «Первосказанное»).

только одно его стихотворение этой поры — «Дорога», но и оно дает нам достаточное представление о поэтической работе Симона Чиковани 20-х годов:

По рельсам, по степи, по знойной долине,  
не оскудевая, как свист соловья,  
летит она, в свивах бесчисленных линий,  
прямая, ночная дорога моя.

Республика правды, труда и свободы!  
За свистом, за степью, за цепью колес  
вот желтое небо в кустах непогоды  
орлами за мной из-за гор понеслось.

...Ты, родина всех человеческих стран,  
ты, родина радости, здравствуй, Россия!  
Какими дорогами ни колеси я,  
найду по морям, по полям, по кострам,

по горным тропам, за Азовом и Понтом  
глаза золотые от хлеба твои,  
и кожу, покрытую бисером потным,  
и чащу, где льются в ночи соловьи.

Где рельсы и свищут, и льются, и стелют  
огни по уже пролетевшим огням,  
где конь мой Мерани ныряет в метели  
в безжалостной жадности к будущим дням.

В этом стихотворении знаменательна, помимо всего прочего, и переключка с грузинской классической поэзией, в частности с бараташвилиевским «Мерани», что, казалось бы, совершенно недопустимо для правоверного футуриста. Однако следует отметить, что характерные мотивы классической поэзии здесь не просто использованы, а своеобразно преломлены, видоизменены в соответствии с новой эпохой. Здесь и продолжение традиции, и полемика с традиционностью.

Стихотворение «Дорога» написано в 1927 году, то есть в пору, когда, по признанию самого поэта, он «почувствовал опасность отрыва от жизни, увлечения архитектурной стиха» и «перешел на художественное отображение революционной борьбы в Грузии...».<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Чиковани Симон, Стихи, М., 1935, с. 9.



Эта новая творческая позиция отчетливо сказалась в «Дороге» и в хронологически примыкающих к ней произведениях. Но ориентация на классику давала себя знать и в более ранних опытах Симона Чиковани, хотя там ориентация эта была довольно односторонней. В своих ранних опытах оркестровки стиха поэт опирался не столько на футуристическую традицию Хлебникова, Каменского и Крученых, сколько на некоторые структурные элементы грузинского (и в частности, мегрельского) фольклора, на некоторые характерные особенности поэтики грузинского поэта XVIII века Виссариона Габашвили (Бесики). Сам поэт не без основания сближал свои стихотворения того периода «Хабо» и «Карбория» со стихотворениями Бесики «Тано татано» («О, статный стан») и «Шавни шавни» («Черные дрозды»). В попытках Симона Чиковани тех лет восстановить в грузинской поэзии связь с поэтами XIX века сказалась полемическая антисимволистская направленность, поскольку, с его точки зрения, в поэзии грузинских символистов на определенном этапе «никак не выявлялись характерные особенности Грузии, даже ее природы. Я пытался восстановить в своих стихах стихотворную культуру Нико Бараташвили и Ильи Чавчавадзе. Эти мои опыты, однако, не характеризовались созданием стилизованных стихотворений, хотя путь моих поэтических исканий и был чисто формального порядка». <sup>1</sup>

Как мы уже знаем, с середины 20-х годов Симон Чиковани решительно отказался от такой чисто формальной экспериментаторской установки и начал искать новые, реалистические пути в поэзию. «После поэмы «Судьба — Республика», — писал он позднее, — я решил еще шире отобразить современную тематику и с этой целью предпринял ряд поездок по горам и долинам Грузии. С двадцать седьмого года по тридцать третий год я месяцами оставался в колхозах, на предприятиях и в малодоступных уголках Сванетии, Хевсуретии, Пшавии и Аджаристана, и я полагаю, что за это время моя поэзия претерпела коренные изменения. . .» <sup>2</sup>

И действительно, если в 20-е годы даже лучшие образцы лирики Симона Чиковани носили в какой-то степени отпечаток абстрактности и умозрительности, то последующие поиски поэта привели его как раз к большей конкретизации образов, к подчеркнутому эпизму описания и рассказа, даже к чрезмерной порою прозаизации стиха (не случайно, что в эту пору Симон Чиковани выступает часто и в качестве автора оригинальных очерков). Как сильно отличаются, например, по своей поэтике от «Дороги» уже первые строфы стихотворения Симона Чиковани «Вечер застает в Хахмати» (1931).

---

<sup>1</sup> Чиковани Симон, Стихи, с. 8.

<sup>2</sup> Там же, с. 9—10.

Вот уж на тропах видим: хевсуры.  
Значит, в предгорьях конец пути.  
Завтра возьмем мы хребет темно-бурый, —  
легче сказать о нем, чем перейти.

Вечер навстречу — идем, нахмурясь,  
усталость качает, шли дотемна.  
В Хахмати стали у Алудаури,  
Кудиа будет хозяин наш.

Плоская крыша. Овчины горою.  
Хахмати! Водкой полощем рот.  
Об этом гнездовье древнем героев  
достойную Кудиа речь ведет.

Это стихотворение, так же как и другие стихи этого периода («Комсомол в Ушгуле», «Стада в Рошке», «Сванская колыбельная», «Девушка из Рошки», «По следам Важа Пшавела» и др.), знаменует собой успешное движение поэта к полнокровному реалистическому изображению современности. Это еще не была пора окончательной зрелости, но перед Симоном Чиковани уже открылась широкая и прямая дорога к новым вершинам мастерства, тот этап в его творчестве, о кануне которого прекрасно сказал сам Симон Чиковани в одном из своих лирических шедевров:

Юность, молодость, зрелость...  
    Лежит между вами граница —  
краткий миг передышки,  
    смущенья и смутных забот.

...Этот миг наступил —  
    и сомненье меня охватило:  
если пальцы мои  
    обожжет догорающий трут,  
значит, пламя иссякло,  
    остались одни лишь чернила, —  
но они без огня  
    на странице строку не зажгут.

...Юность, молодость, зрелость...  
    Лежит между вами граница —  
время тайных раскаяний,  
    смутных тревог и забот.

Это время пришло.

Снег валится всё гуще и гуще.

Он растает еще.

Но сегодня долина бела.

Я хочу, чтобы жизнь  
уподобилась ниве цветущей,  
чтобы нивой в цвету,  
а не сломанной веткой была.

Сети трудных раздумий  
в житейское море закину:  
поздней ночью, в слезах,  
я на милую землю пришел —  
и поэтому с песней  
подняться хочу на вершину,  
как бы ни был мой путь  
утомителен, долог, тяжел.

*(«Юность, молодость, зрелость...»)*

Как видим, поэт в трудную минуту обращается за помощью к родине, к жизни, к действительности. И надежды его в полной мере оправдались. Бурный поток жизни, расцвет советского общества помогли поэту избавиться от «смущенья и смутных забот», дали новый размах его творчеству, его поэтическим исканиям.

Вот что писал Симон Чиковани о значении этой поры для него и для всей советской литературы: «...по моему глубокому убеждению, для нашей литературы — как и для моих ровесников, так и для поколения более старшего — особо значительными были тридцатые годы. Как раз в начале тридцатых годов, столь богатых бурными событиями в жизни страны, ознаменованных глубочайшими процессами коренной перестройки всего ее уклада, действительность властно вторглась в творческую жизнь моего поколения, внесла в нее свои коррективы, обновила ее, изменив многие и многие мои представления о сущности и назначении, о подлинной революционности и подлинном новаторстве поэзии. Многие мои духовные склонности и потребности — тяга к просторам, к путешествиям, жадный интерес к жизни различных уголков моей родины и к жизни других народов — получают в эти годы новый, глубокий и конкретный смысл, точную целенаправленность. В плане творческом — это был верный путь к реализму»<sup>1</sup>.

Такую эволюцию претерпела в 30-х годах и поэзия Симона Чи-

---

<sup>1</sup> Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, с. 7.

ковани. Именно в эту пору проявляется дарование Симона Чиковани как прекрасного пейзажиста и жанриста. Именно в эти годы оттачивает поэт и самый любимый свой поэтический инструмент — яркий метафорический образ. Но кроме расширительного значения слова «образ», охватывающего весь мир поэтической выразительности (включая интонацию и мелодику стиха), существует и более узкое его толкование, при котором образность предполагает живописность, картинность, зрительную ощутимость, изобразительность стиха и его метафоричность. Вот область, в которой Симон Чиковани может смело состязаться с любым из своих поэтических собратьев. Он полностью владеет умением открывать в предмете новые и новые грани, видеть его не в одной плоскости, а во всех измерениях. Для Симона Чиковани предмет, явление — источник бесчисленных ассоциаций, они питают и мысль и чувство, и мечту и воспоминание, рождают и острое умозаключение, и глубоко драматизированное переживание.

Многие любовались ночным Тбилиси, но едва ли кто замечал, что мелькающие, скачущие и как бы перебегающие с одного места на другое огоньки похожи на светящихся стрекоз, а дома, прилипшие к горным склонам, — на раскрытые птичьи клетки. А замечали ли вы, что Кура, вбегая в город, рассекает его с размаху, разбивая себе бока? Вот «миллионом бубенчиков» прогремел дождь по улицам Тбилиси и скрылся украдкой, как ни в чем не бывало. Народ вновь запрудил улицы, а поэт застыл, словно замороженный, он видит вокруг чудеснейшие метаморфозы: чинары стали еще стройнее и держатся с особым достоинством. А если издали взглянуть на Мтацминду, то нетрудно различить, что вскарабкавшиеся на нее дома похожи на альпинистов, которые остановились, решив передохнуть. И как хорошо в такую пору распахнуть двери, еще влажные от дыхания дождя, выбежать на зов мальчишек во двор и обсыхать вместе с ними под лучами свежееумного солнца! Трудно передать в переводе все обилие красок и образов стихотворения «Тбилиси после дождя». А вот ночной мегрельский пейзаж, полный изумительных открытий:

Нисходит ночь. Звезды вечерней ртуть  
зазыбилась. Такая тишь в просторе,  
что страх дохнуть. Такая тишь, что жуть  
встревожить поседельный мрамор моря.  
Лишь всплеску ненасытному не лень  
сосать песок. Лишь тополя предгорий,  
как девушки мегрельских деревень,  
толпясь вдали, спокойно сходят к морю.  
Такая ночь. Так вольно. Час такой.

Теперь дано обняться в единенье  
звезде и лесу с пеною морской.  
Природе, натерпевшейся гонений,  
отныне обещается покой.  
В смарагды моря падают сапфиры,  
как будто ночь блаженной вязью слез  
связала сноп из всех сокровищ мира.  
Вдали вдоль моря гонит паровоз.

*(«Мегрельские вечера»)*

А в стихотворении «Старинные часы» мы видим пример того, как взгляд поэта, упав на предмет, обнаруживает основу для сложнейших образных ассоциаций и глубоких поэтических обобщений.

Когда в комнате сон, и на улице тишь,  
и смолкают все звуки ушедшего дня,  
ходят только часы, осторожно, как мышь,  
окликают, зовут, будоражат меня.

.. Ходом этих часов отмечались года,  
с ними детство текло и рождалась строка,  
и они, словно пульс, трепетали, когда  
у отца моего остывала рука.

Они меряли жизнь, как теченье ручья,  
были радостям вехой и мерой забот.  
И мерцают они в тишине бытия,  
и с природой самой согласуют свой ход.

.. Эту ночь проведут они вместе со мной  
с глазу на глаз — их поступь легка и тиха —  
и, минуты похитив из бездны ночной,  
переплавят их в мерные строки стиха.

Юрий Олеша заметил как-то, что смысл метафоры в том, что художник как бы подсказывает читателю определение сходства, которое читателю и самому приходило на ум, но не оформилось. С этой точки зрения он критикует некоторые свои метафоры, кажущиеся ему слишком изысканными. Возможно, Олеша и прав, отдавая предпочтение метафорам первого рода, но разве так уж плохо, если метафора доставляет не только радость узнавания, но и радость открытия! Если она не только «возвращает свежее восприятие мира», но и сообщает его? Симон Чиковани настоящий и большой мастер метафоры, доставляющий читателю и радость узнавания, и радость открытия. Он ставит себе лишь два условия, необходимые для того, чтобы найти отклик в сердце читателя: образ должен быть рожден действитель-

ным переживанием поэта и «звук» должен «сочетаться с картиной», заключенной «в единый строй».

Земли красою зримой я пленен,  
листочком в росе, яйцом в гнезде голубки.  
И как бывает сумрак оживлен,  
лишь огонек блеснет у деда в трубке!

А образ ищет голоса себе;  
янтарным житом ток не так сиял бы,  
когда б не пел, как бубен, в молотье  
и тружеников песней не звучал бы.

И вот, когда ты на палитре слов  
смешаешь краски ярко и богато,  
ты голос молодой своих стихов  
проверь на слух читателя-собрата.

И если, щедрым сердцем порожденный,  
в сердцах сумеет отклик он найти,  
он будет жить, живыми повторенный,  
в потомстве и, как Млечный Путь, цвести.

*(«Первая приписка к книге»)*

Во многих стихах Симона Чиковани раскрываются его понимание природы и его мысли о назначении поэтического искусства. Тему эту он затрагивает не раз, стараясь высказаться как можно точнее и вместе с тем образнее. Он пользуется для этого иногда подчеркнуто случайным поводом, чтобы тем самым еще убедительнее подтвердить правомерность и убедительность вывода. Какая, казалось бы, связь между ночным посещением рыбака и творческими раздумьями поэта?

До рифм ли тут с крылатым словом?  
Всё заслонил его садок.

*(«Приход рыбака»)*

Но вот поэт смотрит на дрожащую, «как от ушиба», рыбу, думает о том, что ей нет жизни вне «глубинных тайников». Так рождается гордость за «людской дом», за человека, за поэзию, которая не боится широких земных просторов, дальних дорог и крутых восхождений. Так возникает сравнение между судорожно бьющейся рыбой и трепетной поэтической строкой:

Глубинных тайников жилища,  
она — не для житья вовне.  
А строчке дома не сидится,  
ей только жизнь на стороне.

.. Мы взобрались до небосвода,  
живем у рек, в степной дали,  
в народе, в веянье народа,  
в пьянящем веянье земли.

Мы лица трогаем ладонью,  
запоминаем навсегда,  
стихов закидываем тоню  
и тащим красок невода.

В них лик отца и облик вдовий,  
путь труженика, вешний сад,  
пыль книг, осевшая на брови,  
мегрельский тающий закат.

(«Приход рыбака»)

Мастером яркого «живописного образа»<sup>1</sup> назвал Борис Пастернак Симона Чиковани. Мы ссылаемся на оценку этого поэта, так как он в качестве переводчика, познавшего «секреты мастерства» переводимого поэта, смог точно определить главный признак его поэтического своеобразия.

Сам Симон Чиковани так писал о возможностях расширения средств поэтической выразительности: «...я и тогда думал и теперь полагаю, что умеренное вторжение в поэзию свойств живописи и музыки не является большой погрешностью... Я всегда стоял за расширение рамок лирической формы и отстаивал необходимость вторжения элементов высокой прозы в поэзию. Разумеется, свойства других искусств должны входить в лирическую поэзию так, чтобы они превращались в язык поэзии, и в этом смысле не должны являться повторением языка музыки или живописи.

Поднявшаяся на высокую ступень лирическая поэзия не избегает ни описаний, ни поэтического повествования».<sup>2</sup>

Нельзя не согласиться с этой мыслью (если, разумеется, не де-

---

<sup>1</sup> Пастернак Борис, Письма друзьям. — Литературная Грузия, 1966, № 1, с. 80.

<sup>2</sup> Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, с. 114.



лать такую установку обязательной для всех). Поэтическая практика Галактиона Табидзе еще раз доказала, например, плодотворность использования в поэзии музыкальных приемов, а успешные опыты самого Симона Чиковани по внедрению в поэзию приемов живописи и прозы также говорят сами за себя.

Стоит отметить, что если в начале 30-х годов названные поэтом элементы стиля прорабатывались чисто изолированно друг от друга, в разных произведениях, то в его более поздней лирике они большей частью синтезированы, органически слиты в пределах единой лирической композиции стиха.

Кстати, о композиции. Насыщенность стихотворения метафорами определяет и своеобразие его композиции, основанной на принципах внутренней ассоциативности. Метафора помогает поэту связать историю с современностью, сблизить географически отдаленные края, обнаружить и подчеркнуть внутреннее родство между, казалось бы, весьма отдаленными предметами и явлениями. Там, где для установления подобных связей понадобились бы пространственный лирический монолог или обширное причинно-мотивированное описание и повествование, метафора почти мгновенно достигает цели. Так, например, последовательная реализация одной-единственной метафоры (уподобление стиха подзорной трубе, с помощью которой поэты провидят будущее) дает Симону Чиковани возможность блестяще решить тему трагической судьбы царя-поэта Теймураза I в ее современном осмыслении.

В пределах единой лирической композиции стихотворения «Теймураз обзревает осень в Кахетии» оказались связанными Грузия XVII и XX веков, соотнесены картины природы и людские судьбы, Теймураз и сегодняшний колхозник. Какой лирический монолог или эпическое повествование могли бы дать столь наглядное, зримое, образительное решение этой задачи? В то же время именно в этом стихотворении осуществлено упомянутое выше сочетание метафорического строя с элементами живописной образности и «высокой прозы». Таков же принцип построения одного из более поздних произведений Симона Чиковани — «На польской дороге», открывший поэту возможность не менее блистательно решить сложнейшую лирико-публицистическую тему. Метафора связывает здесь такие отдаленные друг от друга образы, как снежная польская равнина, страница Воззвания о мире, белоснежная скатерть на столе вагона, где провозглашается тост за дружбу. Метафора сближает Волгу, Вислу и Куру, метафора переносит поэта к родному городу, метафора воскрешает на польской дороге образ отдаляющейся России.

Симон Чиковани — мастер замкнутой лирической композиции стиха. В этом отношении его творческий метод полная противоположность методу Георгия Леонидзе. Вспомним безудержную стремитель-

ность щедрого потока образов у Леонидзе, распахнутые двери его поэзии, шумное, бурное половодье слов, когда порою начинает казаться, что единственным композиционным принципом поэт считает отсутствие строгой композиции, и вспомним принципиальную установку Симона Чиковани:

Настоящий поэт осторожен и скуп.  
Дверь к нему изнутри заперта.  
Он слететь не позволит бездельце с губ,  
Не откроет не вовремя рта.

Как блаженствует он, когда час молчалив!  
Как ему тишина дорога!  
Избалованной лиры прилив и отлив  
Он умеет вводить в берега.

(«Работа»)

Это вовсе не значит, что у обоих поэтов не было отклонений от этих однажды заявленных принципов. И Георгию Леонидзе приходилось вводить в берега прилив своего бушующего стиха, и Симону Чиковани приходилось распахивать двери своей поэзии под напором палетвешего чувства.

Наивно было бы ставить вопрос — какая установка, вернее, какой путь плодотворнее. Вся прелесть и все богатство поэзии именно в таком ее многообразии.

Мы до сих пор говорили о природе стиха Симона Чиковани, о своеобразии его поэтических образов, о той «подзорной трубе стиха», через которую он смотрит на мир. Каков же сам этот мир? Каков излюбленный предмет его поэзии, какова тематика и проблематика его творчества? Разумеется, пристально вглядываясь в образы поэта, мы не могли не заметить и того, что они отражают; изучая и оценивая оптику его «подзорной трубы», мы не могли не заглянуть в нее и не заметить предметов и явлений, на которые она была самим поэтом направлена. Здесь мы попытаемся сделать лишь некоторые обобщения, определить пространство его поэтического мира. И сразу же приходят на память строки поэта, как будто опровергающие правомерность такой попытки:

Я знаю —  
ограничивать нельзя  
свой кругозор условностью предела;  
хочу, чтоб вечно множились друзья,  
чтоб чувство дружбы бесконечно зрело.

.. Парит орел над снежной синевой,  
и, долгим взглядом провожая птицу,  
я безграничным  
край считаю свой,  
как всей советской родины частицу.

Меня простор волнует и зовет,  
мне дом любой  
открыт по праву дружбы,  
я слышу дома  
шум днепровских вод  
и на пути далеком  
вижу тень от Ушбы.

*(«Вторая приписка к книге»)*

Однако если «свой кругозор» и впрямь не стоит ограничивать «условностью предела», уже само стремление к максимально возможному обзору явлений и событий является тем коэффициентом поэзии Симона Чиковани, который мы пытаемся найти. И как раз для того чтобы поэтически выразить неисчерпаемость интересов своего лирического героя, поэту нужно было найти совершенно конкретные, определенные (а следовательно, внешне ограниченные) образы, которые обладали бы вместе с тем достаточной внутренней емкостью для полнокровной творческой реализации этой принципиальной установки. Таким счастливым поэтическим образом оказался образ дороги.

И действительно, дорога в поэзии Симона Чиковани это не только дорога к берегам Куры и Черноморья, к вершинам Сванетии и Хевсуретии, к озерной глади Рицы и Севана, к долинным просторам России и Украины, к цветам за Одером и Вислой; это вместе с тем всегда и везде путь к сердцу любимой и к сердцу друга, к душе соотечественника и к душе зарубежного собрата. Дорога эта пролегает порою и во времени — ведет к прошлому и будущему родной страны, всегда имея, однако, в начале своем современность.

Как видим, дорога, избранная музой Симона Чиковани, действительно широка и не ограничена «условностью предела». При этом со всей определенностью следует подчеркнуть, что Симон Чиковани всегда был ярким противником поэтического верхоглядства. По его твердому убеждению, «для написания стихотворного цикла недостаточно впечатлений, полученных во время путешествия. Каждому путешествию, которое в будущем должно стать предметом поэтического воспевания, должна предшествовать предварительная духовная подготовка, и только в этом случае путевые впечатления органически входят в духовную биографию поэта. Без этого нельзя создать стихотворение большого общественного звучания... Даже для малень-

кого лирического стихотворения требуется зрелость впечатлений, взятых из жизни и выношенных в глубине души. Если высокие чувства и мысли не успевают пустить корни в душе поэта, то вместо лирического раскрытия действительности мы часто видим только восклицательные знаки.<sup>1</sup>

Только такая творческая установка обеспечивает действительную широту кругозора, дает возможность лирического раскрытия действительности, не замкнутого в каких-либо условных пределах, поможет увидеть также и подлинную безграничность своей Родины.

Симон Чиковани — поэт современности. Другой темы у него нет, и поэтому исторический материал находит у него весьма своеобразное воплощение. Нигде не найдем мы у поэта самодовлеющего эпического описания прошлого; оно всегда освещено современностью, и поэтому представлено в стихах Симона Чиковани как частица души современного человека. В таких стихотворениях, как «Теймураз обзревает осень в Кахетии», «Вардзийский зодчий», «Мастера-переписчики „Вепхисткаосани“», «У камина Важа Пшавела», «Николозу Бараташвили» и других, не просто рисуется вчерашний день, а проявляется сегодняшнее представление о вчерашнем дне. Такая установка определила впоследствии современное звучание и актуальность поэмы о Давиде Гурамишвили.

Как видим, история для Симона Чиковани не столько тема, сколько материал. Характерно также, что в отборе этого материала наблюдается определенная закономерность: поэта привлекает не так называемый «золотой век» грузинской истории, а трагические ее периоды, его интересует драматизм истории. Восприятие прошлого в его наиболее острых напряженных ракурсах, глубокое лирическое раздумье о нем — вот отличительные черты поэзии Чиковани, сообщающие его произведениям своеобразную монументальность.

Тут он продолжает в грузинской поэзии тему, открытую в таких шедеврах лирики XIX века, как «Гокча» и «Кавказ» Александра Чавчавадзе, «Прощание» Григола Орбелиани, «Мерани», «Я храм нашел в песках...», «Сумерки на Мтацминде», «Злобный дух», «Моя молитва» Николоза Бараташвили, «Пахарь», «Базалетское озеро», «Грузинке-матери», «Горам Кварели» и другие стихотворения Ильи Чавчавадзе. Во всех этих произведениях, по утверждению самого Симона Чиковани, присутствует «монументальность, то есть раскрытие внутреннего величия души в формах лирического стихотворения», и они, эти стихотворения, «оставляя впечатление совершенных архи-

---

<sup>1</sup> Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, с. 15, 18—19.

тектурных строений, возвышаются в сознании поколений, как великолепные памятники зодчества». <sup>1</sup>

Эти слова можно отнести и к замечательной исторической поэме Симона Чиковани «Песнь о Давиде Гурамишвили», написанной в годы войны — одному из своеобразнейших эпических произведений во всей советской поэзии. Симон Чиковани и здесь выступает новатором, создателем новой эпической формы: он вписывает себя в прошлое, совершает мысленное паломничество к нему, вместе со своим великим предшественником вновь проходит по тернистым дорогам «грузинских бед», исхоженным в свое время Давидом Гурамишвили:

Ты согрел мечтою книгу,  
Облаком над ней пролился.  
Жив твой стих, в степных зарницах  
Вот он ливнем прокатился!  
На живых твоих страницах  
Я, как птица, опустил ся.

Где стоял ты одиноко  
С опаленными крылами,  
Я услышал издалека  
Зов, бушующий как пламя,  
И писал живого ока  
Я кровавыми слезами.

Да, поэма Симона Чиковани — это «живым оком» подсмотренная судьба Давида и судьба Грузии. Как Данте, проходит Чиковани по всем кругам ада Давидовой жизни, и сам Давид выступает для него в роли Вергилия. Лирика это или эпос? И то и другое. Вернее, воссозданная средствами тончайшей лирики монументальная эпическая картина жизни и страданий великого грузинского поэта, первым в грузинской (а может быть, и не только в грузинской) поэзии создавшего лирический эпос — повесть о времени и о себе, о времени через себя и о себе через время.

Какую форму нужно было найти для воплощения такого замысла? Замысла, который должен был вместить в себя и лирический плач Давида, и эпическую ширь дорог, им исхоженных? И вот начинается «Песнь о Давиде», льются строфы — то обращение к Давиду, то дума о нем, то беседа с ним, то монолог самого поэта-страдальца... «Я», «ты», «они» чередуются в лирических и эпических главах

---

<sup>1</sup> Чиковани Симон, Избранные статьи, Тбилиси, 1963, с. 206—207 (дословный перевод с грузинского Г. Асатиани).

поэмы, участвуя в живом, kloкочущем, бурлящем потоке повествования, водоворот блестящих стрoф, вливающих в русла исповеди, молитвы, оды, заклинания, беседы, раздумья, воспоминания, рассказа, элегии, притчи... Поистине неисчерпаемы внутреннее богатство поэмы и обусловленная им многогранность формы.

Гурамишвили был новатором грузинского стиха, и в первую очередь в области метрики, ритма, интонации. Симон Чиковани как бы считает себя обязанным следовать своему герою, достигая и в этом отношении ярких побед.

Какие основные проблемы волнуют поэта, взявшегося описать судьбу Гурамишвили? Это, во-первых, исступленная, всепоглощающая любовь к родине, дыхание «судеб Грузии», которым, вслед за поэмой Гурамишвили, овеяна и «Песнь» Чиковани. Своеобразие авторского замысла заключается в том, что, раскрывая патриотизм Давида Гурамишвили, поэт должен был в рамках лироэпического повествования найти способ воплощения своего патриотического чувства, рожденного сегодняшним днем республики.

Это, во-вторых, тема благородного братства и дружбы народов. И здесь своеобразие замысла заключалось в историческом и современном осмыслении этой темы: ведь в поэме два героя, живущих в разных столетиях, но ведущих беседу через хребты веков.

В сюжетно-фабульных тостах поэмы (в русском переводе они отсутствуют) эта тема решена в историческом разрезе (читатель помнит, что Гурамишвили провел две трети своей жизни на Украине). Так связывается в поэме далекое братство, воспетое Давидом Гурамишвили, с могучей дружбой, соединяющей народы сегодня, с дружбой, которая вдохновляла Симона Чиковани. В «Приписке к поэме» поэт вновь обращается к тени своего великого собрата:

Когда б ты небосвод увидел ясный,  
Смеющееся ведро наших дней  
И обновленной Картли сад прекрасный,  
Как ликовал бы ты в душе своей!

И дружбу Автандила с Тариэлом  
В содружестве народов ты б узнал,  
И в Зубовке Арагва бы гремела,  
И в Мцхета б русский друг тебе предстал.

И ты б позвал: «Стихи мои, летите!  
Ко мне, птенцы, слетайтесь в добрый час!  
Не лейте слез — и слезы мне отрите!  
Ведь родина с любовью помнит нас.

Интересен здесь и композиционный ход: если в первой главе поэмы автор «откликнулся» на зов Давида и временно поселился в прошлом, рядом со своим героем, то в заключительной главе Давид откликается на зов советского поэта, рассекает мглу веков и на миг становится нашим современником. Вновь оказываются рядом герои поэмы, но уже не на «пустынной тропе безнадежного скитанья», а под «ясным небосводом» «обновленной Картли».

И наконец основная проблема поэмы Симона Чиковани — философское осмысление духовной преемственности человеческого бытия, бессмертия человеческой мысли; мысль о поэзии как драгоценной нити этого бессмертия, способной приблизить далекое прошлое и соединить людей, разделенных веками.

Единственный философ, упомянутый в книге Давида Гурамишвили, — Эпикур, которому принадлежит мысль о том, что после смерти не остается ничего, кроме воспоминаний, и что только воспоминания даруют человеку бессмертие. Эта мысль поразительно близка философской концепции самого Гурамишвили. Так расшифровал Симон Чиковани смысл упоминания Давидом Гурамишвили Эпикура. Это очень глубокое наблюдение. Действительно, вся поэзия Гурамишвили проникнута мучительными поисками бессмертия, продолжения своей жизни в будущем, но не в религиозно-мистическом, а в преемственно-культурном смысле. И так же как преемственность рода обеспечивается продолжением рода — детьми, преемственность духа, считает Гурамишвили, обеспечивается его поэзией, его творением, его детищем. Он так и называет свою книгу: «мое дитя», «мой младенец», «моя сирота», «мой сын». Так он говорит и у Симона Чиковани:

Я, грешная душа, пускаюсь в путь.  
Кому доверю в этом мире сына —  
Печаль, переполняющую грудь?  
Кто окропит слезой мои седины?

...Пусть мира злота светоч мой гасила,  
Не праздну в мире жизнь прошла моя.  
Но жизнь, я вижу, — трапеза могилы.  
Как о бессмертье мог подумать я?

Но по себе оставил я младенца,  
Дал сыну сердце, голос, мысль свою,  
Да встретит он счастливый дальний день свой  
Средь будущих друзей в родном краю.



Пытаясь еще раз и с наибольшей концентрированной четкостью охарактеризовать творческий облик грузинского поэта, хочется прибегнуть к свидетельству поэта русского, глубже всех проникшего в «тайны ремесла» Симона Чиковани.

В свое время Борис Пастернак в статье, посвященной грузинской поэзии, дал такое определение «родословным связям» и внутренней природе творчества Симона Чиковани: «Образная стихия, общая всякой поэзии, получает у Чиковани новое, видоизмененное, повышенно существенное значение. Чиковани артист и живописец по натуре, и как раз эта артистичность, порядка Уитмена и Верхарна, дает ему широту и свободу в выборе тем и их трактовке.

Образ в поэзии почти никогда не бывает только зрительным, но представляет некоторое смешанное жизнеподобье, в состав которого входят свидетельства всех наших чувств и все стороны нашего сознания. Сообразно с этим и та живописность, о которой мы говорим применительно к Чиковани, далека от простого изобразительства. Живописность эта представляет высшую степень воплощения и означает предельную, до конца доведенную конкретность всего в целом: любой мысли, любой темы, любого чувства, любого наблюдения.

Чиковани — неслучайное и закономерное звено в общем развитии грузинской мысли. Сказочную замысловатость Важа Пшавела он соединяет с порывистым, всему свету открытым драматизмом Бараташвили.<sup>1</sup>

Драматизм, о котором здесь идет речь, с особой силой ощущается в таких лирико-философских монологах Симона Чиковани, как «Сказанное во время бомбежки», «Осколки глиняной чаши», «Метехи», «Начало», «Морская раковина».

Представим себе человека в чистом поле, над которым пронесется вражеский самолет, ищущий мишень для своего смертоносного груза. Понятно и естественно любое движение жертвы, стремящейся укрыться от беды. Но эта, ставшая в военные годы повседневной, картина в стихотворении Симона Чиковани осмысливается как общечеловеческая трагедия, как библейского масштаба противоборство жизни и смерти, высокий гимн в честь человека, рожденного жить и творить, истовая молитва в защиту жизни, творчества:

Познавший мудрость, сведущий в искусствах,  
в тот день я крикнул:  
«О земля моя!  
Даруй мне тень!  
Пошли хоть малый кустик —  
простить меня и защитить меня.

<sup>1</sup> Пастернак Борис, Несколько слов о новой грузинской поэзии. — Вопросы литературы, 1966, № 1, с. 171.

...Я человек! И драгоценен пламень  
в душе моей!  
Но нет, я не хочу  
сиять заметно!  
Я — алгетский камень!  
О господи, задуй во мне свечу!»

...Не за свое молился долговечье  
в тот год, в тот час, в той темной тишине —  
за чье-то золотое, человечье,  
случайно обитавшее во мне.

*(«Сказанное во время бомбежки»)*

Этот монолог — обвинительная речь против всего, что смеет посягнуть на жизнь, на свободу и талант человека. И он же — защитная молитва, «охранная грамота» ему, казалось бы, беззащитному, но воистину могучему по силе своего духа. О нем, обладателе того чудодейственного дара, который, подобно морской раковине, вмещающей и сохраняющей в себе все отзвуки бесконечного океана, может обнять и увековечить все краски, все звуки, все чувства и мысли мира, поэт говорил и ранее, еще в довоенных своих стихах:

Я, как Шекспир, доверюсь монологу  
в честь раковины, найденной в земле.  
Ты послужила морю молодому,  
теперь верни его звучанье мне.

...О раковина, я твой голос вещей  
хотел бы в сердце обрести своим,  
чтоб соль морей и песни человечьи  
собрать под перламутровым крылом.

И сохранить среди прочих шумов — милый  
шум детства, различимый в тишине.  
Пусть так и будет. И на дне могилы  
пусть всё звучит и бодрствует во мне.

*(«Морская раковина»)*

Жизнелюбие и мысли о бессмертии пронизывают творчество Симона Чиковани, определяя все движения его души, все физическое, духовное и нравственное существо поэта. Но это жизнелюбие особого рода — предельно, драматически напряженное, включающее в себя страх смерти и небытия. Мы видели, как отразилось это чувство

в стихотворении «Сказанное во время бомбежки». А вот стихотворение-мольба, обращенная к неумолимой старости:

О старость, приговор твой отмени  
и детского не обмани доверья.  
Не трогай палисадники мои,  
кизилловые не побей деревья.

Позволь, я закатаю рукава.  
От молодости я изнемогаю —  
пока живу, пока растет трава,  
пока люблю, пока стихи слагаю.

*(«На набережной»)*

Изнеможение от молодости, от полноты жизни, от творчества и чудотворства, вечное предвкушение начала, возникающее даже в мгновения, когда перо, казалось, выпадает уже из рук, это и есть талант жизни, который оказывается и талантом поэтическим. Об этом Симон Чиковани говорил в своих творческих декларациях: «...поэзия всегда является чудесным результатом непростой, напряженной драматической встречи поэта и мира, искрой, высеченной при их столкновении, независимо от того, гармония или конфликт связывает поэта с миром. Лишь равнодушные неспособно высечь эту искру, т. е. неспособно к зачатию стиха».<sup>1</sup>

Встреча Симона Чиковани с миром высекала несгорающее пламя поэзии — высокой и благородной, сильной и здоровой духом, молодой и человеческой:

О стихи, я бы вас начинал,  
начиная любое движенье.  
Я бы с вами в ночи ночевал,  
я бы с вами вступал в пробужденье.

*(Начало»)*

Своеобразие поэтического искусства зрелого Чиковани состоит не во внешнем блеске слова. Его поэзия как бы упорно вовлекает нас вглубь, в свои недра. Главная, решающая роль принадлежит здесь внутренним формам стиха, поэтической живописи, своеобразной системе пластических образов.

Творческая мастерская Симона Чиковани чрезвычайно богата

---

<sup>1</sup> Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, с. 23.

разнообразнейшими средствами и способами выражения. Перу поэта принадлежат многие произведения, привлекающие оригинальным мелодическим звучанием и оркестровкой стиха. Но с точки зрения поэтического искусства особенно значительны в творчестве Чиковани именно формы художественной, в собственном смысле слова, выразительности.

Это обстоятельство неоднократно отмечалось исследователями и ценителями его поэзии.

Следует подчеркнуть, что Симон Чиковани был одним из лучших знатоков классической и современной живописи среди грузинских литераторов нашего времени. Ему было свойственно оригинальное восприятие многих старых и современных мастеров кисти, и он всегда был готов с увлечением говорить об их искусстве. Но те, кому случалось хотя бы несколько раз беседовать с поэтом, легко могли заметить, что с особой заинтересованностью относился он к творчеству французских художников нового времени.

Правда, по своим эстетическим воззрениям Симон Чиковани стоял на позициях прямо противоположных по многим принципиальным вопросам импрессионизму, но можно сказать, что своеобразная живописная манера Моне и Писсарро, как и все творческое наследие французских художников конца прошлого столетия, имела важное значение для его поэзии.

В этом отношении примечательно не только то обстоятельство, что как в своих ранних стихотворениях, так и в поздних Чиковани часто обращался к излюбленной импрессионистами натуре (стога сена на солнце, дождь, город во время дождя и т. д.).

Строки Симона Чиковани порой легко узнать даже вне контекста по некоторым внешним признакам. Характерно, например, что он особенно часто прибегает к метафорам и сравнениям (построенным на неоднократно повторяемом союзе «или»), которые вызывают у читателя многослойные образные представления.

Такое богатство поэтических ассоциаций вызвано обостренным восприятием живописных оттенков «предмета».

Метафорическая система Симона Чиковани, в отличие от образного строя классической лирики, лишена строгой простоты и гармоничности, поскольку главная цель поэта — не гармония и четкость, а обилие оттенков и их сочетаний. Многие его поэтические картины, как и знаменитые полотна импрессионистов, писаны «на пленэре» и сохраняют чудесное богатство живых красок природы.

Однако именно здесь наиболее ярко проявляется одна особенность, которая резко отличает художественную манеру поэта от импрессионистской живописи. Симону Чиковани совершенно чужда присущая творчеству импрессионистов подчеркнутая мягкость красок, спокойные, несколько затуманенные тона, а также специфическая зыб-

кость рисунка. Чиковани-художник, как правило, подбирает резко контрастные сочетания, ярчайшие оттенки, которые не сливаются, а, наоборот, как бы сталкиваются, борются друг с другом и таким образом создают совершенно особое настроение.

Характерно в этом отношении одно из последних стихотворений поэта — «Переход через Гомбори», с его столпотвореньем «хрупких светотеней, слепящих красок и кромешной тьмы».

Следует также отметить, что для Симона Чиковани не меньшее значение, чем цвет, имеют пластические свойства предмета.

Ничего общего с «чистой живописью» не имеет, в частности, неоднократно повторяющееся в его стихах сравнение солнца с оленем. Здесь, как и во многих других его поэтических образах, перед нами — ярко выраженная «скульптурная» манера видения и воплощения реальных впечатлений.

Главная же особенность творчества Симона Чиковани состоит в исключительно острой и динамичной манере поэтического отображения мира, что в большинстве случаев придает его полотнам или даже простым («живописным», «скульптурным» или «графическим») эскизам отчетливо экспрессивный характер.

В поэтическом искусстве Симона Чиковани изобразительность никогда, в сущности, не имеет самодовлеющего характера. Внешняя действительность, «мертвая» или «живая» природа интересуют его не как предмет для описания, а как материал для лепки поэтических образов, конечная цель которых состоит не в достижении живописного или скульптурного эффекта, а в наиболее полной передаче переживания и мысли.

Обилие контрастных красок передает сложную гамму духовного мира поэта. Многообразие внешних изобразительных средств обусловлено внутренним многообразием его впечатлений.

Симон Чиковани — поэт аналитического мышления, один из тех современных мастеров, которые отличаются обогащающим поэтику XX века обостренным вниманием к детали, к составным частям целого; один из тех, в чьем творчестве наиболее четко выразился характерный для современного поэтического искусства интерес к конкретному, частному. «Обостренное приглядывание к вещи» и соответствующий «крупный план» (определения Ю. Олеси) лежат в самой основе образного строя поэзии Симона Чиковани.

Трудно назвать другого грузинского поэта наших дней, который бы так мастерски умел выявлять скрытую значительность и многозначность явления, узреть в мельчайшей частице внутреннюю полноту и масштабность бытия. Поэтической детали предоставлена важнейшая роль в его стиле. Здесь можно было бы привести множество отдельных образцов, но у Симона Чиковани есть целый ряд произведений, целиком построенных на таком принципе (в их числе уже рас-

смотренные нами стихотворения «Старинные часы», «Морская раковина», «Гнездо ласточки» и др.).

Мысль поэта, как правило, разворачивается от единичного к универсальному, от малого к монументальному, и внутренний пафос его исканий (как и у автора бессмертного «Мерани») очень часто представляет страстный порыв к преодолению «пространства» и «времени».

В ряде случаев эта особенность приобретает характер столь явной художественной тенденции, столь очевидного тяготения к определенному кругу образных представлений, что очень трудно удержаться от искушения рассматривать ее как некую национальную черту.

Симон Чиковани принадлежит к числу тех советских поэтов, с именем которых связано обогащение языка поэзии мотивами и образами широкого «эпического» содержания.

«Ты тяжела, как мой стих!» — восклицает он в одном из своих посвящений. И впрямь его стих очень редко привлекает внешним изяществом или легкостью слога.

Стих Симона Чиковани требует от читателя определенного художественного чутья, особой чувствительности к ходу поэтической мысли, способности к домыслу и воображению.

Его строка, как ствол лозы в пору созревания, отяжелена гроздьями полнокровных, налитых драгоценным соком образов. Это — плоды поэтически овеществленных раздумий и душевной щедрости.

Вопрос о сложности и простоте искусства по-разному решался поэтом на различных этапах его творчества. Мы не будем возвращаться к ранним экспериментам Чиковани — поэтического лидера «Левизны». Как мы знаем, со второй половины 20-х годов взгляды поэта на соотношение формы и содержания изменились. Сложность зрелых произведений поэта уже совершенно иная. Это сложность, глубина и богатство поэтического мышления, требующие адекватных форм выражения. Симон Чиковани по природе своей поэт не мелодический, ему не очень близка мелодическая прозрачность и простота напевно-песенной лирики (хотя и в этой области создано им несколько прекрасных образцов, свидетельствующих не столько об его склонности к этому жанру, сколько о мастерстве, способном осилить и эту задачу). Поэт не раз ставил перед собой вопрос: не придать ли своему стиху большую простоту, не пойти ли навстречу вкусам и пожеланиям известной части читателей по пути для многих привлекательной легкости и безыскусственности. Но чутье ему верно подсказывало, что не в этом направлении должна пролегать его поэтическая дорога, что муза его призвана решать иные задачи, свойственные его таланту, его творческой натуре. Иногда эти раздумья выливались и в стихи:

Над водой тростник склонился,  
Тень на озеро легла...  
Вдруг читателю на милость  
Станет песнь моя легка?

Буду прост и односложен,  
Всем доступен, скромнен,  
И любой прохожий сможет  
Отпереть ключом мой стих.

...Опечален и рассержен,  
Сам себе я стану мстить...  
Ну, а сердце? Разве сердце  
Мне в строку тогда вместить?

(«У озера»)

Это стихотворение любопытно и в том отношении, что являет собою опыт своеобразной «тростниковой» поэтики, максимально «легкого» и «прозрачного» стиха. Поэт как бы говорит: вот видите, я могу писать и так, но судите сами, могу ли я вместить мой поэтический мир только в поэзию озер и чащ, камышей и аистов? Нет! Мой путь — иной. И если говорить о простоте, то надо говорить о простоте высокой, которая является результатом сложнейших творческих поисков.

В одной из своих теоретических статей, специально посвященных этому вопросу, Симон Чиковани писал:

«Простота или сложность образной системы целиком и полностью зависят от идейно-творческой задачи, стоящей перед писателем...

Дело, разумеется, не в большей или меньшей сложности. Неудача (как и удача) может ждать поэта в работе и над «простым» и над сложным стихом. Главное — найти правильное, наиболее выразительное поэтическое решение конкретной идейно-творческой задачи, стоящей перед тобой. Именно тогда приходит «высокая простота» — она в соответствии формы содержанию...

Стремление к доступности и популярности не означает нарочитого упрощения поэтической формы и, следовательно, обеднения поэтического мира. Все это не имеет ничего общего с подлинной простотой и народностью. Путь к народности подобен преодолению горного подъема, ведущего к вершине, с которой мир открывается во всей его ясности и высокой простоте». <sup>1</sup>

Для Симона Чиковани творческий акт — не безболезненное, про-

---

<sup>1</sup> Чиковани Симон, Мысли. Впечатления. Воспоминания, с. 21—22.

диктованное мгновенным порывом или неожиданным озарением действие, но внутренне сложный и противоречивый процесс, который требует мобилизации и всех душевных сил, и всего духовного, интеллектуального опыта.

Правда, не были чужды поэту и состояния, когда, как писал он в стихотворениях «Приход рыбака» и «Работа», на него «мыслей вихрь нахлынул нежданно...» и когда он «сдержать налетевшего чувства не мог».

Но не случайно Симон Чиковани редко доверяется поэтической импровизации и порой на протяжении десятилетий вновь и вновь возвращается к однажды написанному, дополняет и обогащает его.

И еще: истинный смысл творчества, в его представлении, подразумевает не только непосредственное поэтическое воплощение собственных переживаний, наблюдений, порывов и дум, но и своеобразную переключку с непреходящими, вечными образами поэзии.

Исключительно богатая система образов, созданных Симоном Чиковани, разработанные им оригинальные художественные способы выражения сами по себе являются высокой эстетической ценностью. Еще более примечательны в них попытки реализации тех огромных возможностей, которыми обладает грузинская речь.

Неудивительно поэтому, что наша литературная молодежь с особым профессиональным интересом относится к творческому наследию поэта.

Утверждение нового в искусстве всегда было связано с определенными болезненными процессами. Камнем преткновения здесь служило и противодействие литературной инерции, и сопротивление самого «материала», который надлежало отлить в непривычные формы.

По-настоящему современный поэт не может быть гарантирован от крайностей и промахов, поскольку он занимается не шлифовкой уже открытого и утвержденного, а постоянным поиском неизведанных граней поэтического материала.

Зато лишь он вправе сказать о своем искусстве: «Поэзия — вся! — езда в незнаемое!»

\* \* \*

Несколько слов о Чиковани-литераторе, а также о человеке.

Мало сказать, что он был блестящим литератором, редким знатоком искусства, безошибочным ценителем художественного произведения. Он принадлежал к тем мастерам своего дела, которые способствуют движению литературной мысли, расширяют рамки эстети-



ческих интересов и представлений общества, открывают новую перспективу.

Именно ему было суждено сыграть на рубеже 50—60-х годов значительную роль в обновлении литературной атмосферы, и все, что сделано значительного и по-настоящему нового, в частности, в грузинской литературной критике второй половины нашего столетия, отмечено печатью его редчайшего дарования — талантом искателя, первопроходца, покорителя новых рубежей.

Выступления Симона Чиковани (имеются в виду его статьи, напечатанные во второй половине 50-х годов) дали толчок целому движению в грузинском литературоведении.

Его пример говорил молодым литераторам, начинавшим тогда свою жизнь в искусстве: общие места и стереотипы уже безнадежно изжили себя, надо искать и открывать (а это не просто) то, что в литературе составляет ее живую душу, обнаружить внутренние закономерности литературного процесса, следует всегда помнить о неповторимости художника, об уникальности его таланта, его призвания, способностей его самоутверждения в искусстве.

Симон Чиковани — автор исторической (в полном смысле этого слова) статьи о Тициане Табидзе, которая, по нашему глубокому убеждению, является новой вехой в истории грузинской советской критики.

В обращении, в своих отношениях с окружающими Симон Чиковани был предельно прост.

Он был одинаково непримирим и к банальности, и к фальши. Свобода и естественность его поведения, раскованность манер, несколько небрежное отношение к внешней стороне всего, что он делал, как двигался, жестикулировал, изъяснялся, свидетельствовали о ненависти ко всему псевдозначительному, напускному, жеманному.

И вместе с тем «артистизм», «внутренняя артистичность» были чуть ли не самыми высокими эпитетами в его словаре.

Симон Чиковани умел как-то удивительно смеяться. Его почти детский смех был особенно привлекателен потому, что так смеялся не беззаботный, простодушный, а много видевший на своем веку, переживший большие внутренние потрясения, мудрый в полном смысле этого слова человек.

Еще живут и здравствуют люди, которые хорошо помнят, как смеялись некоторые их современники-поэты. Они помнят внезапную вспышку света на лице Галактиона Табидзе, влажные от смеха глаза Георгия Леонидзе, гулкий, сотрясающий грудную клетку смех Пастернака, скрытые огоньки в зрачках Николая Заболоцкого...

Думается, что этот смех, способность так смеяться помогли им

многое пережить. Не только потому, что они сохранили в себе способность смеяться над смешным, нелепым, смехотворным и тем самым ограждать себя от всего этого. Но и потому, что они умели видеть в жизни то, что является источником радости, веселья, бодрости духа. Потому что это был чаще всего смех восторга.

Симон Чиковани, например, мог смеяться до слез, когда ему что-нибудь по-настоящему нравилось — острая мысль, неожиданное сплетение слов. Он долго смеялся и тогда, когда кому-нибудь удавалось его переспорить.

Симон Чиковани был из тех счастливых людей, которые умеют радоваться простым радостям жизни. И он умел зажигать окружающих, обращая их внимание на эти важные мелочи жизни, учил находить в них радость.

Предельная простота в обращении с людьми естественно сочеталась у него с этими качествами.

Кайсын Кулиев писал: «Симон Чиковани был мудр, эмоционален».

Сказано просто. Как будто это одно и то же. Так оно и есть! У настоящих поэтов мудрость и эмоциональность — нерасторжимые качества.

Перефразируя известное высказывание Пушкина о Баратынском, Симон Чиковани писал о Николозе Бараташвили, что тот свои мысли смог превратить в чувства. Это классическая формула, которой могли бы руководствоваться многие современные литераторы, ратующие за философичность или интеллектуальность поэзии. Потому что там, где нет следов настоящей мысли, напрасно искать интеллектуальное начало. А там, где энергия мышления не перешла в энергию чувства, нет самой поэзии.

У Симона Чиковани душа была тонкая, чувствительная.

Но он не сторонился жизни. Как и многие большие советские поэты, он всегда находился в самой гуще событий.

Каждый раз он находил свой ключ к самым разнообразным явлениям и раскрывал то, что другим не удавалось увидеть и понять.

Так он относился и к духовным ценностям современности.

Симон Чиковани видел и понимал в явлениях искусства самое сокровенное — он понимал код культуры, всем своим существом ощущал движение эстетических идей, перипетии этого движения. Поэтому он мог различить их скрытые персплетения, взаимообусловленность, контрастность, альтернативность, и в этом он был неподражаем.

Судьба не очень баловала этого человека, и он был не из тех поэтов, которые сразу добиваются признания и потом всю жизнь плывут на теплых волнах читательской любви.

Однако мир образов и идей Чиковани таков, что он все глубже втягивает в себя человека, однажды прикоснувшегося к нему.

«Художник, подобно дереву, растет всегда — до самой смерти», — пишет он в автобиографии.<sup>1</sup>

Хочется развить эту мысль: Симон Чиковани из тех поэтов редкой судьбы, значение которых растет и после смерти.

Приятно сознавать и верить, что многие, очень многие поколения людей найдут источник особой радости в этом мире — в прекрасном, немеркнущем мире Симона Чиковани.

Г. Асатиани

*Г. Маргвелашвили*

---

<sup>1</sup> Советские писатели. Автобиографии, т. 2, с. 630.

# **СТИХОТВОРЕНИЯ**



### 1. ПОД ДОЖДЕМ

Мы двигались к югу от гор.  
Черный ворох  
туч с запада вырвался.  
Неба простор  
обрушен.  
Он в стон превратился и в шорох.  
И гулы дождя разбрелись между гор.  
Мы замерли.  
Мы напряглись, будто стебли.  
Мы — стрелы травы на полях.  
Далеки  
от крова дерев.  
Струны бури окрепли  
под ветром.  
Звон капель — как песня тоски.  
Нас бьют эти тяжкие слезы.  
И тучи,  
сгустившись, нисходят с высот.  
Но молчи.  
Дай руку и вслушайся.  
Будто тягучий  
из далей доносится плач кьяманчи.  
Мокры эти струны.  
И что тут вначале?  
Дождем ли развернута грусть.  
Или речь  
дождя —  
порожденье шуршашей печали.  
Мы вымокли.  
Как мне тебя уберечь?  
Дорога вся в шелестах.  
Небо сырое  
внедряется в душу.  
Нет, мы не горды.  
Хрупка ты  
в сравненье с дождем и горою.

Вся вздрагиваешь от холодной воды.  
Поля принимают пустыми глазами  
мрак облачный.

О, если б дождь, уходя,  
тоску мою взял!

Кто-нибудь за горами,  
наверно, заждался такого дождя.  
А он словно плащ по полям.

Прогони же,  
день, эту унылую непогодь с круч.  
Вот ветки и те нагибаются ниже,  
мечась: «Мы хотим быть сухими, как луч».  
И капли колотят листов оперенье,  
алмазами прыгают.

Где мы идем?

Мы слепнем.  
Что наше бессильное зренье?  
Как спрятаться телу под этим дождем?  
Нам нужно стать шелестом листьев.

Родная,  
спаси меня!

Грозно ненастье.

Но там  
вскрывается небо, присоединяя  
свою синеву к возбужденным листьям.  
И нас утешает дорога.

И капли  
стекают с одежды.

Скорее бы вновь  
просохнуть.

Мы в поле от бури ослабли,  
но не ослабела от бури любовь.  
Прямым кипарисом воздвигнуто тело  
твое.

Оно движется.

Грузную мощь  
пространства и дождь оно выдержит  
смело,  
но я виноват, что завел тебя в дождь.  
Приблизься ко мне.

Обними.

Дождь влачится  
еще.

Только совесть со мною и ты.

Ты вымокла вся до последней частицы,  
до атомов нежности и чистоты.  
О, если б, насытись ненастьем, я бездны  
исследовать бросил. . .

Мы шли вдоль полей.

И шли облака по дорогам небесным.  
Шел пар от пылающей кожи твоей.  
И влажное платье к ногам прилипало.  
А день умирал у твоих каблуков.  
И небо просило прощенья.

Устало

отары брюхатых влеклись облаков.  
Лишь мы еще в мире мокры.

И не скоро  
мы станем сухими, как были вчера.  
Нам дождь, будто ветер, пронизывал поры.  
Просторы стонали.

Чернела гора.

1925

## 2. В ПОИСКАХ ТЕНИ

Зачем ты так? Зачем ты это сделала?  
В Манглиси ты, как дерево, росла,  
ты тень свою дарила мне, как дерево,  
и тень свою с собою унесла.

В твоей тени я всё тебе выкладывал.  
Свои надежды, молод и упрям,  
пристраивал, как лозы виноградные,  
к высоким и раскидистым ветвям.

Но эти ветви были только маскою,  
и вот расстались, не простившись, мы.  
С тобой зима была такая майская,  
а нынче май — как пасынок зимы.

Я крепостью на скалы и расселины  
гляжу над одичалой крутизной,  
и, как знамена, пулями простреленные,  
мои раздумья реют надо мной.



Мрачнеют башни, в облака одетые,  
и бродит ворон, черный, как монах,  
и твое имя, от тебя отдельное,  
порхает в развалившихся стенах.

Мне чудится, что ржанье где-то слышится,  
и я навстречу ржанию иду,  
иду, и горы в сумерках колышутся,  
как бы горбы верблюжьи на ходу.

Исполненный величья и ничтожества,  
несчастный и счастливый вместе с тем,  
внизу — я вижу — город суматошится. . .  
Кому ты даришь в нем сегодня тень?

А ты всё дальше, за хребты последние.  
Остановись! На север не спеши!  
Любовь моя такая малолетняя,  
но ведь она — росток моей души.

Душа кричит и плачет, обезверенная.  
Себя я на плечах своих тащу,  
грущу, и сам, как тень твоя потерянная,  
потерянную тень свою ищу.

Я по тебе тоскую, как по юности.  
Тебя вернуть, как юность, я хочу.  
Сначала я кричу, потом пою уже,  
но не пойму — пою или кричу.

Взбираюсь на вершину, мхом поросшую.  
Печально птицы слушают меня. . .  
Но ты — ты слышишь песнь мою, похожую  
на ржанье одинокого коня?!

1926  
Тбилиси

### 3. ОПИСАНИЕ ВЕСНЫ И БЫТА

Вот комната. Солнце. Жилое тепло.  
Зеленое пекло в распахнутых окнах.  
В еще не проветренном мире светло.  
Он плавает в матовых ватных волокнах,

Вот важная мудрая кошка в лучах.  
В оранжевых отблесках книги и кресла.  
Слежавшийся мир. Человечий овраг.  
Опять это вылезло. Снова воскресло.

Поэт проклинал свою комнату. Но  
за это ему и платили дороже.  
Но сердце поэта прогоркло давно  
и стало на комнату очень похоже.

Бывало, оно воевало, круша  
прогорклую кухню жилого адата.  
Тут первый мятеж начинался когда-то,  
тут первое слово сказала душа.

Но корни пустили и гнезда мы свили,  
боялись, как нянек, домашних тишин,  
и — словно традицию Бараташвили —  
поставили стол, и тахту, и кувшин.

И демон, белесый как гипсовый слепок,  
по комнатам ходит. И колокол воеет:  
«Не тронь, революция, этого склепа!  
Не двигай вещей! Не ломай бытовое!»

Поэты, не тратьте на опись чернил.  
Изменим страну и обрушим гранит.  
Но комнатный демон лицо сохранил.  
И комната рухлядь свою сохранит.

Иль дайте ей визу, на Запад отправьте —  
к лжецам-эмигрантам, к поэтам без тем.  
Отправьте к изменникам собственной правде —  
на Запад, на Запад — и к черту затем.

Вот в комнату входят и небо и пихта,  
влетает луна вместо маленьких ламп.  
Поэт! Если ты не потомок каких-то  
прапрадедов — сердце разбей пополам,

на две половины, и выкинь одну!  
Останется лучшая, верная в бое.  
И комната лопнет в прожилках обоев.  
И книги ей тоже объявят войну.

И время ей бросит «прощай», уходя,  
и ласточек горсть, и последний звоночек  
у двери, и листья, и капли дождя.  
Так время с одной из жилых одиночек  
простится, на волю навек уходя.

Помогут ей ласточки, незаселенной,  
поможет ей солнце, пустой и большой.  
Поэты придут из деревни зеленой  
бороться с ее постаревшей душой.

1927

4

Набери мне ежевики в мой кувшин,  
Но только знай,  
Он не зря стоит в сторонке,  
У кувшина стенки тонки,  
Хрупок он — не поломай!

Набери воды холодной в мой кувшин,  
Но не забудь,  
Мне идти еще далеко,  
Береги его ты стойко,  
Чтобы в целости вернуть.

Вся ты светишься, сияешь,  
Как немятый снег вершин,  
У ручья с ручьем играешь,  
Наполняя мой кувшин!

5

Утром спелых гроздьев нарежу,  
В полдень выпью вина молодого,  
Вечером с жизнью посоревнуюсь,  
Ночь отдам поединку со смертью.

Но не отдам свое сердце старухе!  
Я сберегу его для свиданья  
С дымом домашним, со сказками детства,  
С кровлей родительскою, родной,

Скажет постель: «Твой отдых заслужен.  
Твой талисман неподкупно надежен».  
И засну я легко и блаженно,  
Утро вечера мудренее!

## 6. ОТЖИВШЕМУ ПОЭТУ

Ты дупло гнилое. Я выточен из стали,  
Ты поклонник лиры дряхлой, неродной,  
Свой народ любя, я хочу ему оставить  
Острые слова, что веют новизной.

Крепкокрылый, звал я к стремительным полетам,  
И взметнулась радость, словно щелкнул кнут.  
Причастившись кровью эпохи, о далеком  
Я мечтал. . . Я вижу, как поля цветут.

Мелок ты, и жилы у тебя водянисты.  
Пурпур наших дней не по твоим глазам.  
Ты, пригрет чужбиною, в злобе стал неистовым. . .  
Мой народ забудет всё, что ты сказал.

Голосом иным — молодым, правдивым, страстным —  
В бешенство привел я всех друзей твоих.  
Прославляю мужество и люблю пространства. . .  
Моему народу — мысль моя, мой стих.

Кто к болотам тянется, к тростникам под ветром,  
Душу увяданья желтизной облив, —  
Ни во что, как я в свою цель, он не уверует,  
Не любил, как я, он плотности земли.

Не пленен я статикой линейною греков,  
Мне не нужны маски, париков туман.  
Новый голос мой — пусть я взял его от предков —  
Не для твоего угасшего ума.

Выброшен ты жизнью, заезжен, будто кляча.  
Стряпать стих пытался ты на старый лад.  
Ты в борьбе со мною не выдержишь горячих  
И разящих слов: бессилен твой булат.

С классом боевым я иду вперед упорно,  
А твоя дорога — глохнуть и неметь.  
И сложу я песни, манящие просторами.  
Их народ, тебя забывший, будет петь.

Ты дупло гнилое. Я выточен из стали.  
Враг своей страны, живешь ты клеветой.  
Лира твоя чахнет, а я в стихах оставляю  
Отраженье мысли, острой и простой.

1928

## 7. ПИСЬМА

Как спокойно и просто  
ты письма мои возвратила.  
Я любовью и нежностью  
вскармливал эти листы,  
на которых уже  
выцветать начинают чернила,  
но цветешь и не вянешь  
и прелестью светишься  
ты.

Жаль мне писем обиженных.  
Бедные эти страницы  
прижимаю к груди —  
слышу голос воркующий твой,  
Запоздалая ревность  
на прошлое тенью ложится,  
повергает в смятенье,  
крадется усмешкой кривой.

Расклевали птенцы  
сердцевину заветного слова.  
Удрученное сердце  
пред горем повергнуто ниц.  
Я вконец разорен.  
Не осталось богатства былого.  
Увядают без влаги  
апрельские листья страниц.

Где богатство мое?!  
Полюбились мне тени заката,

никну солнцем вечерним  
в тускнеющую синеву.  
Письма вместе с мечтами  
заброшены мною куда-то,  
вместе с ними я выбросил  
розы, лозу и траву.

Было даже письмо  
с деревенскою кроткой луною,  
но теперь и ее  
не найду и назад не верну.  
Я друзей потерял,  
или письма потеряны мною,  
или по мосту ветер  
мою угоняет весну.

Уповаю на возраст,  
который поможет мне вспомнить  
всё, что в письмах потерянных  
было, осталось и есть,  
восстановит, проявит,  
любые пробелы восполнит,  
обессмертит любовь  
и позволит ее перечесть.

Память наглухо запер  
и думами дверь опечатал,  
и того лишь страшусь,  
что затерянных писем листы  
кто-то третий нашел  
и в укромное место запрятал,  
чтобы к юности нашей  
ни я не вернулся, ни ты.

Я вконец разорен,  
а вдобавок еще и ограблен.  
Но искать не устану,  
от поисков не отойду.  
Каждый год по весне  
лепестками белеющих яблонь  
листья писем забытых  
в твоём опадают саду.

1932

## 8. ПРОЩАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ

Я помню дерево,  
Чья жизнь отшелестела  
Под топором отца  
В дни юные мои.  
Глухим стенанием  
Подрубленное тело  
Просило помощи  
У матери-земли.

Во мгле предсмертия,  
В томлении глубоком  
С тех пор, усопший ствол,  
Наследую тебе  
И вижу, молодость  
Теряя ненароком,  
Что не поможет мне  
Никто в моей судьбе.

Звенит листва твоя  
В моих четверостишьях  
О горькой участи,  
Что людям суждена,  
О том, что жизнь моя  
Вершин достигла высших  
И в двадцать восемь лет  
Склоняется она.

Хотел я все мосты  
Взорвать перед собою,  
Пегаса вскачь пустить.  
Оставить бытие. . .  
Не наделили нас  
И коркою сухою,  
Пылающей мечты  
Сломалось лезвие.

Хоть плакать мог, как все,  
Когда-то я над этим  
И сердце бередить  
Певучею стрелой.

Но ты, печаль, была  
Отвергнута столетьем  
И голосом глухим  
Влилась в ветряный вой.

Одушевленное,  
Едва мерцает пламя,  
Заржавели на мне  
И шлем, и меч, и щит. . .  
Так раненый орел  
О землю бьет крылами,  
Пока в смятении  
Всех сил не истощит.

Кто взглянет холодно?  
Кто горю не поможет?  
Ведь фосфор песенный  
В краю земном не част. . .  
Но стороной пройдет  
Какой-нибудь прохожий  
И руку помощи  
Мне в горе не подаст.

Что ж? Если так — умри,  
Отрада молодая,  
Умри, безумствуя,  
Досадуя, скорбя,  
Как буйволы вершин,  
Что роют, умирая,  
Рогами острыми  
Могилу для себя.

Ты говоришь мне, стих,  
Суровый и отважный:  
«В кости недужной смерть  
Гнездиться начала.  
Так угасает день,  
Как угасал вчерашний,  
И так восходит он,  
Как восходил вчера».

А если и любви,  
Что есть по крайней мере,  
Не оправдает жизнь —  
Навек померкнет взор,



Как драма странная,  
Умолкшая в партуре,  
Как бурей на море  
Потопленный линкор,

Что ж? Если так — крепись,  
Мой стих, мое создание,  
И, озарясь, звени,  
Блестящий и стальной,  
Чтоб раздались опять  
И хохот и стенанья,  
Чтобы сразить врага  
Железною строфой.

С породистыми ты  
Воспитан скакунами,  
Ты, стих мой, — ветер, смерч —  
Как хочешь, назови!  
Со стен столетия  
Свисающее знамя —  
Огонь твоей, мой стих,  
Пылающей крови.

Пускай изменчив ты,  
Пускай грешишь порою  
И предаешь меня,  
Как пес, — да, предаешь, —  
Но знаю, что спасешь  
Меня в минуту боя,  
Когда на жизнь мою  
Враги отточат нож.

Скрепись, душа моя,  
И бейся всё бесстрашней!  
Скрепись же, кость, и ты!  
Судьба еще щедра:  
Не так темнеет день,  
Как угасал вчерашний,  
Не так восходит он,  
Как восходил вчера.

Умри же, старина,  
Умри во мне, седая,

Чтоб юность долгую  
Познал я, жизнь любя,  
Умри, как буйволы,  
Что роют, умирая,  
Рогами острыми  
Могилу для себя!

Я вспомнил дерево,  
Чья жизнь отшелестела,  
Летами юная,  
В родимой стороне.  
И отзвучавший стон  
Подрубленного тела  
Изнеможением  
Откликнулся во мне. . .

Что ж! Если так — крепись,  
Мой стих, мое созданье,  
И, озарясь, звени,  
Блестящий и стальной,  
И радуйся весне,  
Преодолев стенанья,  
Чтобы сразить врага  
Железною строфой!

1930

## 9. ДОРОГА

По рельсам, по степи, по знойной долине,  
не оскудевая, как свист соловья,  
летит она, в свивах бесчисленных линий,  
прямая, ночная дорога моя.

Республика правды, труда и свободы!  
За свистом, за степью, за цепью колес  
вот желтое небо в кустах непогоды  
орлами за мной из-за гор понеслось.

Всё мимо! Вот на поле мельницы сели,  
руками дощатыми ветер ловя.  
Вот поле за полем под звон карусели  
сменяется, как ритуфель соловья.

Всё мимо! Кавказ уже кончился. Каспий  
лежит позади. Протянулись в струну  
огни за окном. Набирает их наспех  
задымленный в трубах Ростов-на-Дону.

Кто скажет, кто помнит историю боя,  
историю гордых боями годин,  
где пляшет Азова лицо голубое  
и морщится рябью весенних путин?

Вот в окнах проносится старая церковь,  
у поля подкошенная на краю.  
И вечер.

И вечер, на взморье померкнув,  
смывает осеннюю краску свою.

Большая страна, где свобода и труд  
решают, что сбудется, в будущем кроясь.  
Какие бои человечество ждут, —  
а сколько, а сколько их было. . .

Но поезд

гудком запекает. Но из-под колес,  
сминаясь, опять выпрямляются степи.  
И трутся рессоры, и лязгают цепи.  
И снова — гудок, доводящий до слез.

А горы-то в Грузию, видно, вернулись.  
Дороги вперед устремляются все.  
Дорога летит в лихорадочном пульсе,  
несется страна в первозданной красе.

Ты, родина всех человеческих стран,  
ты, родина радости, здравствуй, Россия!  
Какими дорогами ни колеси я,  
найду по морям, по полям, по кострам,

по горным тропам, за Азовом и Понтом  
глаза золотые от хлеба твои,  
и кожу, покрытую бисером потным,  
и чашу, где льются в ночи соловьи.

Где рельсы и свищут, и льются, и стелют  
огни по уже пролетевшим огням,  
где конь мой Мерани ныряет в метели  
в безжалостной жадности к будущим дням,

*1927*

### 10. КОМСОМОЛ В УШГУЛЕ

Дико в укрытом горами Ушгуле.  
Мести обычай жив в нем доньше.  
Грязь вековую в круг свой замкнули  
сонные башни мгlistой твердыни.  
Ни телеграфа, ни почты в Ушгуле.  
Не услышать ему нашего слова.  
Век лишь Ингури тут карауля,  
жить стороною от мира живого.  
Доступа нет ниоткуда. Заминка,  
под ноги взглянешь — и кончено, крышка.  
Страшным зигзагом змеится тропинка  
и пропадает, как молнии вспышка.  
Книг и газет не найти и в помине,  
нечем очистить разум от дури.  
Горы и горы, и в их котловине —  
сонный Ушгул на унылой Ингури.  
На небе Шхары контур бараний —  
разве медведю лазать в отвагу.  
В кошках, кирками скалы тараня,  
шаг отвоевывают за шагом.  
На мост висячий взглянуть — обескроветь,  
в шутку он прозван бабьей плотиной.  
Тащат козла продавать, так и то ведь  
залихорадит со страха скотину.  
Тур невзначай из Лаорби нагрянет.  
Волк забредет, осмелевши, до снега.  
Ржаньем расскажет, как в степь ее тянет,  
лошадь, соскучившись по разбегу.  
Скал — на один перемах даже птахе.  
Кто развернется в этой теснине?  
Ахнет крылами орел и с размаху  
взмлет и сгинет в дали темно-синей.  
Но ни Ингури, ни Шхаре не меркнуть —  
обе сольются в песне совместной.

Раненый тур как шарахнется кверху,  
так на рогах и повиснет над бездной.

Молча выстаивал я, Чиковани,  
перед отвесной Твиберскою кручей.  
Башни не льстят мне: без ликованья  
обозревал я камни и тучи.  
Как мне взмолиться, в это не веря:  
«„Лилео“, Дали! Мяса и крови!»  
Если олень из легенд на Твибери —  
пусть его рыщет там на здоровье.  
В вас, комсомольцы Пирбе и Ражден,  
участь Ушгула, а не в богине.  
Мысли и планы ставьте — как граждан —  
в вышки на стражу вашей твердыни.  
Ныне жилища в кучах навозных,  
в них угорают ум и догадка.  
Чтоб коммунизму выйти на воздух,  
надо под башни новую кладку.  
В делях, где дятлом долбят сознание  
месть и обидчик, месть и обидчик,  
вы — Робинзоны, островитяне  
первых социалистических стычек.  
Тут же и ты, Ивдит, босоножка,  
с ведрами на коромысле упругом,  
строгость и ласку пьешь попережку  
неразговорчивого супруга.  
Ах, кареглазая, цвета каштана  
вся, как вошла, озаренная печью,  
ах, до чего ж тебя жаль, неустанной,  
шиферный дом этот взявшей на плечи!  
Может, ты помнишь писателя снизу,  
из Имеретии? Этим же мигом  
строки о вас он подымет карнизом  
и на коне разлетится по книгам.  
Помню прием ваш. Как, балагурия  
в братской беседе, ужинать сели,  
и комсомолец под звук чианури  
свел меня в тайны сванских ущелий.  
Жаль, не прочтешь ты этих писаний,  
жаль, что из них не сумеешь напиться,  
что средь забот за горами, в тумане  
кончится грусть и пройдет любопытство.

Как-нибудь леса соседнего зелень  
пуля прорежет — и дальше промажет.  
Зверь, наслонявшись меж тесных расселин,  
к башни подножью подкошенный ляжет.  
Ражден, Ивдит! Друзья, заведите  
нравы долин у себя в захребетье.  
Мстители выйдут из-под прикрытья,  
башни утратят в авторитете.  
И говорите, другим в назиданье:  
«Помним писателя с крепкою грудью.  
Хаживал часто сюда Чиковани,  
и говорил он нужное людям».  
Башня в меня уставится криво,  
Шхара в Ингури шаг свой оттиснет.  
Тур чебурахнет за выступ обрыва  
и на стихе моем, рухнув, повиснет.

*Сентябрь 1929*

## 11. ПОСВЯЩЕНИЕ СВАНСКОЙ КОМСОМОЛКЕ

### 1

Снег идет в горах, а сени  
Леса щепками богаты,  
И в Сванетии осенней  
Вспоминаешь ли меня ты?

Как бродил в горах я ваших!  
Рощи, ветёр на Горваши.  
Под дождем бродил я мокрый.  
Плыл Горваши высю блеклой  
Среди осени бродящей,  
Над ущельем шелестящей.

И тогда же в буре страшной  
Весь простор пустынный ожил,  
Словно сам стонал Горваши,  
Ветер бил над ним в ладоши.

Шквал конем крылатым бился,  
Как заря, туман светился.  
Ты тропой, меня спасая,  
Шла, как молния, бесследно,

Птицу дивных гор — тебя я  
Звал сестрою милосердной.

Все ручьи в обрывах мглистых,  
Все изломы стрел огнистых,  
Клич охоты в горном мире,  
Орлий клекот, вихорь поздний  
Ты читала как шаири,  
Что природой дикой создан.

Ты, тропу мне расчищая,  
Шла, туманами обвита.  
Всеми листьями вздыхая,  
Лес умолк, грозой побитый.

С первобытным людом схожий,  
Башен строй во мраке ожил.  
С упоеньем, полуголый,  
У огня я грелся в дреме.  
Комсомольцев шаг веселый  
Зазвучал в вечернем доме.

Буря за стеной стихала,  
Хлопнул дверью ветер строгий;  
Здесь Ивдिति хлопотала,  
Еще мокрая с дороги, —

Пить дала мне из охаро,  
Отряхая капли с платья.  
Мой приход доставил радость —  
Чианури взяли братья.

Над столом шел пар чудесный,  
С ним забыл я все туманы.  
Хором славным, горлом бездны  
Пели «Лилео» мне сваны.

2

Где теперь ты? В гор оправе,  
На гумне колхозном, дома,  
Молотилкою ты правишь,  
С ней плывешь в морях соломы,



Зерен злато солнцем полно,  
Звонче праздничного чанги,  
И снопы встают, как волны,  
Полны зерен, величавы.

Здесь не Дали взор блистает,  
Лик горит от приношений,  
Дева Свании сияет —  
Комсомола украшенья.

На гумне на молодежном,  
От задора хорошея,  
То — краса девиц колхозных,  
То — Ивдिति зерна веет.

Молотильных досок скаты  
Под тобой плывут скрипяще,  
Иль сидишь у очага ты  
За лесной зеленой чащей?

Вспомнишь песню колыбели,  
Что певали в детстве раннем,  
Иль обвалом над ущельем  
Бедный дом снесенный свана.

Звук свирели перед ночью,  
На тропе — чужое стадо,  
На рогах тумана клочья,  
Дни отцовы без отрады.

Кто сочтет былого муки,  
Сразу всё припоминая,  
Словно зимней ночи скуку, —  
Но теперь и ночь иная.

Ночью лунной ты не ляжешь,  
Где стога стоят по склону,  
Встав с оружием на страже,  
Чтоб злодей гумна не тронул.

Слышишь ты, как над Хасаном  
Вьются вражеские пули,  
Над разбитым вражьем станом  
Меч сверкает Мирангули.

В край далекий и туманный  
Хочешь ты уйти из дому,  
Быть сестрой, врачуя раны,  
Комсомольцу боевому.

Может быть, возьмешь в дорогу  
И стихов моих немного.  
Шквал, что мчался на Горваши,  
В стиховой закован речи,  
Солнце силу душам нашим  
Дало, распрямило плечи.

Зов твой дальний я услышу,  
Ты стиха услышишь зовы,  
В сердце строк моих задышит  
Голос друга несуровый,  
Что поет меж гор родимых  
О бойцах непобедимых!

1938

## 12. СВАНСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, сердечко,  
Спи, нанил,  
чтоб во сне  
набраться сил!

Вдоль Ингури  
мишка бурый  
бродит ночью.  
Спи, нанил!

Утром рано  
солнце встанет  
и прохладного тумана  
наверху раскинет сети!

Чтобы ты вершины эти  
полюбил, как я любила,  
рано разбужу нанила.

Сладко спи,  
родимый сын  
затуманенных вершин.

Спи! В Ушгуле  
мил восход,  
комсомол  
нанила ждет.

В сене так тепло тебе.  
Я целую лобик потный.  
Будешь храбрым ты в борьбе,  
будешь доблестный охотник.

Станешь коши надевать,  
чтобы дебри гор изведать.  
И когда-то скажешь:  
«Мать!  
Нынче я убил медведя,  
и орел в пути лихом  
задевал меня крылом.  
Горы в страхе полегли,  
и орлы кричат вдали».  
Коль охотиться не станешь,  
грамотеем стань, мой сын,  
и ушгульские туманы  
ты проймешь пером своим.

То, чего нам недостало,  
на бумаге разберешь.  
Слышишь, как грохочут скалы?  
В хриплой песне — гром и дождь.  
Будешь вместе с молодыми  
привыкать к громам большим.

Горы высоки —  
над ними  
на камнях,  
на льду сидим.  
Домик наш  
некрепко сбит.  
. . . Даже летом  
бродит волк. . .  
Слышишь ты,  
как бык мычит?

Надо спать,  
чтоб не быть слабым!  
Набирайся, милый, сил!  
Спи, пока далек восход, —  
иль медведь сюда придет.

1929

### 13. ПИСЬМО С ГОР

В Сванетию иду.  
Плутаю в облаках,  
ветрам подставив грудь  
с пылающею раной.  
Люблю тебя, люблю,  
никто не знает как,  
никто не знает как  
в Сванетии туманной.

В Сванетию иду  
и думаю о том,  
что вечный снег вершин  
поможет исцеленью  
и что долинный зной  
высокогорным льдом  
сумею остудить,  
пройдя тропу оленью.

Мой путь пересекла,  
заливисто трубя,  
игривая река,  
стремнина вихревая.  
Над пропастью цветок,  
похожий на тебя,  
к нему не подойдешь —  
но я его срываю.

Вспорхнув над ивняком,  
метнулась птица ввысь, —  
я опустил глаза,  
чтоб не следить за нею.  
Но прежние мечты  
в душе отозвались,  
и думы о тебе  
зажглись еще сильнее.

В Сванетии  
меня  
ты бьешь, как птицу, влет,  
застреленный тобой,  
я падаю, как птица.  
Долинную жару  
высокогорный лед  
не в силах остудить —  
она во мне клубится.

В Сванетию тропа  
вторгается, как весть,  
в раздумье облака  
толпятся над поляной.  
Заоблачных вершин  
в Сванетии не счесть,  
но ты — превыше всех  
в Сванетии туманной.

1929

#### 14. ПО ПУТИ В СВАНЕТИЮ

Теперь и сам я думаю: ужели  
по той дороге, странник и чужак,  
я проходил?  
Горвашское ущелье,  
о, подтверди, что это было так.

Я проходил. И детскую прилежность  
твоей походки я увидел.  
Ты  
за мужем шла покорная,  
но нежность,  
сиянье нежности возшло из темноты.

Наши глаза увиделись.  
Ревниво  
взглянул твой муж.  
Но как это давно  
случилось.  
И спасла меня равнина,  
где было мне состариться дано.

Однако повезло тому, другому, —  
не ведая опасности в пути,  
по той дороге он дошел до дому,  
никто не помешал ему дойти.

Не гикнули с откоса печенеги,  
не ухватились за косы твои,  
не растрепали их.  
Не почернели  
глаза твои от страха и любви.

И, так и не изведавшая муки,  
ты канула, как бедная звезда.  
На белом муле, о, на белом муле  
в Ушгули ты спустилась навсегда.

Но всё равно — на этом перевале  
ликует и живет твоя краса.  
О, как лукавили, как горевали  
глаза твои, прекрасные глаза.

1958

#### 15. ЗАДУМАННОЕ ПОВЕДАЙ ОБЛАКАМ

А после — шаль висела у огня,  
и волосы, не знавшие законов  
прически, отряхнулись от заколок  
и медленно обволокли меня.

Я в них входил, как бы входил в туман  
в горах Сванетских, чтобы там погибнуть,  
и все-таки я их не мог покинуть,  
и я плутал в них и впадал в обман.

Так погибал я в облаке твоём.  
Ты догадалась — и встряхнула ситом,  
пахнуло запахом земным и сытым,  
и хлеб ячменный мы пекли вдвоем.

Очаг дышал всё жарче, всё сильней.  
О, как похожи были ты и пламя,  
как вы горели трепетно и плавно,  
и я гостил меж этих двух огней.

Ты находилась рядом и вокруг,  
но в лепете невнятного наречья,  
изогнутою, около Двуречья  
тебя увидеть захотел я вдруг.

Чуть не сказал тебе я: «О лоза,  
о нежная, расцветшая так рано. . .»  
В Сванетии не знают винограда,  
я не сказал. И я закрыл глаза.

Расстались мы. И вот, скорей старик,  
чем мальчик, не справляюсь я с собою  
и наклоняюсь головой седою,  
и надо мной опять туман стоит.

Верни меня к твоим словам, к рукам.  
Задуманное облакам поведай,  
я догадаюсь — по дождю, по ветру.  
Прошу тебя, поведай облакам!

1958

## 16. АЛЬПИНИСТЫ

*Посвящаю семье Джапаридзе —  
известных альпинистов Советской Грузии*

Передо мной не гаснут две вершины —  
Я их люблю, они живут во мне, —  
Два в облаках парящих исполина,  
Тетнульд и Ушба в снежной седине.

Двух альпинистов две горы позвали,  
И лег их след на синих ледниках.  
Туман и стужу преодолевали,  
Как туры настоящие, в горах.

Мне видится, как два отважных брата  
Ступени по льду скользкому кладут.  
Угрюмы горы, тучами объаты,  
И высоту без боя не сдадут.

Укутались вершины снежной шубой,  
Висит обвал в зловещей вышине.

С Тетненьдом грозным, со свирепой Ушбой  
Они вступили в спор на крутизне.

Бушует снег, летит сухой, колючий,  
И град шумит, и брата брат зовет.  
«Эгей!» — звучит с Тетненьда из-за тучи.  
Второй от Ушбы голос подает.

Два храбрых сердца да Тетненьд и Ушба...  
И, прозвенев в холодном серебре,  
Сквозь дождь и снег, как мост любви и дружбы,  
Зов протянулся от горы к горе.

Там, в облаках тумана ледяного,  
Бой одному последний предстоит,  
На волоске повисла жизнь другого;  
Кругом безмолвье звонкое царит.

Сверкнула молния в крутых изломах,  
Дыша бедой, лавина понеслась.  
И старший брат впервые сделал промах,  
И младшего веревка сорвалась.

Большому горю слезы не услада —  
Крутой дорогой, презирая страх,  
Сестра пойдет на льдистые громады,  
Чтоб письма братьев отыскать в горах.

Она идет по их следам упорно,  
Ревниво на вершины гор глядит.  
С Тетненьда снег белеет в косах черных,  
В плаще дыханье Ушбы шелестит.

Сестра отважно место братьев заступила!  
Она идет, по плечи в облаках,  
Похожая на мать, что уловила  
Два зова на далеких ледниках.

И, ледорубом кованым крошимый,  
Ей уступал ледник за шагом шаг...  
И альпинистка вносит на вершину  
Победы знак, земли Советской флаг.

Впервые Ушба терпит поражение  
И покоряется Тетненьд седой.



День ясен, даль прозрачна, и в волненье  
Я мужества люблюсь красотой.

Пусть утвердится жизни! Пусть без изъятья  
Рассеется глубокая печаль!  
И горы за тобой идут, как братья, —  
Вся в снежных кряжах утренняя даль!

И в сердце стих поет, как ключ горячий:  
«Ты победила смерти вопреки! . . .»  
Лазурно небо, светел день прозрачный,  
Заводят перекличку ледники.

Под солнцем Ушба и Тетнульд красивый,  
На горизонте — как сестра и брат.  
В моей груди те горы вечно живы.  
В горах две жизни вечные горят.

1950

## 17. ПО СЛЕДАМ ВАЖА ПШАВЕЛА

### 1

Сзади оставивши доли,  
Перевалили в горах мы  
Дихчо. Но все-таки долог  
Путь по верховьям Арагви.  
Глохнем в Арагвином шуме,  
Входим, стихи повторяя,  
В Гудамакари, в Лутхуми,  
В дебри обильного края.  
Взмыли стервятники смело  
И в синеве потонули.  
Вот и деревни Пшавела:  
Чаргали, Мигриаули.  
Нас провожает по этой  
Местности горец толковый.  
Там, где серьюю продето  
Солнце в утес ледниковый,  
Там, над хевсурским селеньем,  
Брошен ничком, у обвала  
Плачет о крови оленьей  
Синдаурай, как бывало.

Гнал он когда-то с откоса  
Зверя в свирепом веселье —  
Так и застрял тут и сросся  
С пропастью в зубьях расселин.  
Глохнет от грохота, замер,  
Путь потерял, будто не был.  
Тщетно пустыми глазами  
Мерит дождливое небо.  
Эй, продержись, сколько можешь,  
Там, у предела природы!  
Может быть, завтра уложишь  
Тигра могучей породы.  
Тигр оцарапает камень,  
Кровью его обагрят,  
Брошенный в пропасть руками  
Призрака Синдаурая.  
Горы, на нас нависая,  
Смотрят легендами дико.  
Вспахана рать их косая  
Временем, будто мотыгой.

2

В Орцхали вцепились друг в друга  
Две разных Арагви. Выходит  
Навстречу из бражного круга  
К нам пшав и беседу заводит:  
«Привет, молодцы из долины,  
Зарей освещенные люди!  
Примите и тост мой недлинный  
И выпейте горное луди.  
Мы тут, как отара овечья,  
В расселину сбиты и сжаты,  
Но чуем, что время далече  
Ударило в бубен набата.  
В глазах ваших вижу, как будто  
Неведомой азбуки слово  
На радость хевсурам оттуда  
По горной тропе привело вас».  
Он молвил и, выгнувши локоть,  
Как жахнет в ущелье двустволкой!  
Откликнулась пропасть. И охать  
Пошло в ней отчетливо долго.  
У неба в глазах потемнело,

Завыла гора, убегая.  
Покрытая пеной, как мелом,  
Гремела Арагви нагая,  
Зачатая за ледниками,  
Сгибалась волною горбатой  
По этой стране, где стихами  
Усердствуют даже ребята.  
Брюхатые овцы пыхтели,  
Столпясь на отвесной дорожке,  
И шустрые шуртхи слетели  
И взмыли с откоса сторожко,  
И, смутную ночь карауля,  
Виднелась тропа еле-еле,  
Где Чаргали, Мигриаули  
В Арагвином горле гремели.  
И ночь, рассыпавшая щедро  
Дары свои, дальше вела.  
Врезаясь в скалистые недра,  
Ломала река удила.

3

Арагви вцепились в Орцхали  
Друг в друга и рвут на куски.  
И пшав повествует нам дале  
Преданье хевсурской тоски.  
Нам зверь подвывает, ощерясь,  
За щебнем пробитого русла,  
Где ветер стихает в пещере,  
Туманы сползаются тускло.  
Как девушка мчалась по круче,  
Забывши адат родовой.  
Как луч издалека зыбучий  
Луна протянула ей свой.  
Как мчалась по следу беглянки,  
Стреляя, родня женихова,  
Как билась у дикой стоянки  
Арагви от стопа глухого.  
Несла она девушку мертвую,  
От холода остервенев,  
В стремительном беге навестывая  
На кручах растроченный гнев.  
Нам пшав эту сказку рассказывал  
Над кручей, над пеной Орцхали.

Он рану свою перевязывал  
И хмуро оглядывал скалы.  
«Там некогда сросся оплечьем  
Со скалами Синдауридзе,  
И высох костяк, искалечен,  
И жаждет в долину спуститься.  
Но в голые зубья расселин,  
Где сумрачен был бедняка,  
Врезается, ясен и зелен,  
Свет, видимый издалика.  
Деревни, висящие в тучах,  
Влачили безвыходно ночь.  
Но там быть приветливым учат  
И слова там ведают мощь.  
И ждем мы сегодня такого  
Рассказа иль песни такой,  
Чтоб нам объяснили толково  
О жизни долин городской», —  
Так, руша гнездовья адата,  
Сказал нам приветливый пшав.  
Арагви неслась, как когда-то,  
Столетиями в лица дыша.  
И ночь разверзала нам щедро  
Созвездья и дальше вела.  
Врезаясь в скалистые недра,  
Ломала река удила.

1931

#### 18. ВЕЧЕР ЗАСТАЕТ В ХАХМАТИ

Вот уж на тропах видим: хевсуры.  
Значит, в предгорьях конец пути.  
Завтра возьмем мы хребет темно-бурый, —  
легче сказать о нем, чем перейти.

Вечер навстречу — идем, нахмураясь,  
усталость качает, шли дотемна.  
В Хахмати стали у Алудаури,  
Кудиа будет хозяин наш.

Плоская крыша. Овчины горою.  
Хахмати! Водкой полощем рот.  
Об этом гнездовье древнем героев  
достойную Кудиа речь ведет,

Хвтисо зовут одного, и Хвтисо  
кличут другого, и третий еще  
Хвтисо сидит, и в лесные выси  
солнце уносит румянец щек.

И, от людей как бы отпрянув,  
утесы взвились — столбовики,  
только кружит тропа неустанно  
за извилами дикой реки.

Кудиа, шрамами битв темнея,  
о замке хахматском поведает быль:  
пустынна крепость, в ней и над нею  
лишь раскаленная тишь да пыль.

Кудиа дружески спрашивать будет:  
«Как с барантой у вас, как покос?»  
К нам, из долины пришедшим людям,  
он обращает тихий вопрос:

«Как я шофером хочу быть! Смогу ли?  
Сердце мое никак не легло  
к костности сельской, к дикости. . . Пули,  
меч — вот они опекали село».

Путает сумрак деревья, осыпи. . .  
Лишь в опадающей в тьму крутизне  
луч застревает в плече утеса,  
словно стрелы отбитой конец.

Подумайте, Кудиа кинуть жаждет  
лесами обвитые гор бока,  
выйти из облака горных стражей  
в автомобильные облака.

Мчатся долинами. . . Судьба любая  
этой, трущобной, всё ж веселей.  
Знает ли город, бушуя, сияя,  
какая по нем тоска на селе?

Как темны еще эти выси,  
за душу держит гор закон.  
«Ты о шофере? — скажет Хвтисо. —  
В Хахмати что будет делать он?»

«Лягут дороги по Хевсурети,  
так по-иному дела пойдут.  
Мы перед новой жизнью в ответе, —  
Кудиа молвит Хвтисо тут. —

Там, у реки, поставим школу,  
листы газетные развернем,  
святыни не впрок нам, войдем в веселый  
Военно-Грузинской дороги гром»,

Но Хвтисо-третий на это слово  
грозно взглянул на нас из-под бровей,  
словно он диском метнул свинцовым,  
слово метнул нам серпа кривей:

«Что вы стараетесь понапрасну?»  
Поднял меч — и сейчас же вниз.  
Кудиа удалый отвел опасность,  
Хвтисо — все трое — опомнились.

«Это же гости! Мужички, как Важа,  
они о хевсурах сложат песню. . .»  
И взяли мы роги и пили важно.  
И здравицам слов не хватало здесь.

И первый Хвтисо, и Хвтисо двое  
пили за нас; мы пили, клянясь  
союзом гор и долин травую,  
и пели песни, объединясь.

Птичьим гнездом село висело.  
Вдаль устремив над пропастью взор  
и бормоча о глуши без предела,  
с мечом и щитом сидел шофер.

Тьма поглотила скалы, ставни,  
рукам своим волю дряхлым дав,  
тупо река колотила камни,  
замыслы Кудиа угадав.

В сон нас влекло осторожный, турий,  
спало село, как одна семья.  
Тихо сказал нам Алудаури:  
«А все-таки буду шофером я!»

1931

## 19. СТАДА В РОШКЕ

### 1

Минуя шаткий мост через ущелье,  
Стада, стада брели по склонам гор,  
Пастух, играя песню на свирели,  
Вел с ними свой нехитрый разговор.

С древнейших лет корова для хевсура  
Единственной надеждою была.  
Медлительная, мелкая, понуро  
Она брела на зорьке из села,

Траву щипала по альпийским склонам,  
Шел молодой пастух за нею вслед,  
И прыгал около нее теленок,  
Счастливый тем, что он рожден на свет.

Но мир был шаток. И когда темнело  
И полз туман лениво, как стада,  
Из-за далеких гор зелено-белых  
На пастбище хевсура шла беда.

Стада пугая топотом и свистом,  
Свалившись, словно на голову снег,  
Разбойничий отряд соседей-кистов  
Скакал вершить свой воровской набег.

.. Я вижу, как по бурой бычьей шкуре  
Из рваной раны кровь бежит ручьем,  
Я слышу звон пастушьего пандури,  
Расколотого вражеским мечом.

Я вижу, как копыта бьют о камень,  
Я слышу звон металла среди камней,  
И бугаи с опущенными лбами,  
Рева, бегут на взмыленных коней.

Встречал людское горе ветер свистом,  
По тропам и дорогам пыль мело  
Туда, где в котловине каменистой  
Окаменело мирное село,

А утром с гор, зловещих и туманных,  
С остатком стад, усталы и тихи,  
В рубахах, окровавленных и рваных,  
В селенье возвращались пастухи,

Так жил хевсур.

Свой славил труд суровый,  
И горный край и солнце славил он.  
И снова тень теленка и коровы  
Ложилась на крутой зеленый склон.

И снова шли стада под звон свирели  
Щипать траву и пить из родника,  
И тяжелело вымя, и звенели  
О днище ведер струи молока.

2

Хевсур любил свой труд. И труд хевсуру  
Давал, что мог: одежду и еду.  
На плоских крышах просыхали шкуры  
Быков, убитых старшими в роду.

Ноябрь. Детишки мал мала и меньше  
У очага садились в полукруг.  
Внимало пламя причитанью женщин  
И завыванию ветров и выюг.

Сухой кизяк, тепла давая мало,  
Скорее душу согревал, чем плоть,  
Но всё же это пламя помогало  
Озябшим людям стужу побороть.

Приготовляли женщины хинкали,  
Вскипала медленно вода в котле.  
Коровы в хлеве каменном мычали,  
Тоскуя о весне и о тепле.

В зубах хевсура трубка догорала,  
Молился он за свой очаг родной,  
Чтобы его несчастье миновало  
И чтоб прошли обвалы стороной.



Но вот к столу хинкали подносили,  
Из полных мисок жадно брали их,  
Старик цветистыми словами были  
Рассказывал о временах былых.

Припоминая звуки старых песен,  
За маслом лезли пятерней в кувшин,  
И оставались капли, словно плесень,  
Покрыв пушистые усы мужчин.

Глава семейства, потянувшись сладко,  
Произносил: «Куда нам, грешным, в рай!»  
И по обглоданной гадал лопатке,  
Чтоб предсказать грядущий урожай.

Потом, на жбан с продажным маслом глядя,  
Бачками и уздечками звеня,  
Для сына он оседлывал коня,  
Одолженного у соседа на день.

И сын, привьючив груз и взяв немного  
С собой еды, отдав отцу поклон,  
Из сального стакана на дорогу  
Пил второпях овсяный самогон.

Потом он на коня взлетал и мчался,  
И вся семья смотрела вслед ему,  
А он скакал, с туманами сливался  
И не был уже виден никому.

Предстали предо мной картины эти,  
Прошедшее на память мне пришло,  
Когда я очутился в Хевсурети,  
Приехав в Рошку — горное село.

Я вижу стройных, золотоволосых  
Красавиц.

Словно колос наливной,  
На солнце отливаются их косы,  
Омытые водою дождевой.

Я слышу: девушка смеется звонко,  
Я вижу: яснолица и стройна,  
Прижала к платью плотному она  
Смешного годовалого ягненка.

Мне возле неба встретить довелось  
Край, где Саната, Мзиа и Манана,  
Встав на заре, на самой ранней рани,  
Дождями моют золото волос.

Уже садится солнце, гонят стадо.  
Напев пандури слышится вдали,  
Дыханье горных пастбищ, их прохладу  
Стада с собой в селенье принесли.

Бредет отяжелевшая корова,  
Ей, видно, уж дорога нелегка.  
Дай нам телка, пусть будет он здоровым.  
Дай, дорогая, людям молока.

Жевать сухую корку скучновато,  
Без масла не пойдет она нам впрок.  
Об изобилье песню сепаратор  
Поет и гонит масла ручеек.

Сегодня все здесь счастливы и сыты.  
И радость заглянула к нам под кров.  
Белеют деревянные корыта,  
Наполненные маслом до краев.

Земля хевсуров, край животноводов,  
Ты светел, и светлы твои дела,  
И слава о стадах твоей породы  
Всю Грузию, всю землю обошла.

Состарился последний хевисбери,  
Он так боится новшеств и машин,  
Что, в доме окна заперев и двери,  
Он не выходит, он сидит один.

1932

## 20. ДЕВУШКА ИЗ РОШКИ

Ты шла в платье пыльном. . . Я помню, как было:  
Твой голос повел меня горной тропой,  
На кровле широкой мы встретились, Дзила,  
На гребне горы я расстался с тобою.

И снова пришел я дорогой неблизкой.  
Но, Дзила, досуг ли встречать стихотворца?  
Ведь ты возглавляешь село, коммунистка,  
Наездница, дочка хевсурского горца.

На кровле широкой тебя подожду я.  
Сиянье рассвета холмы озарило.  
И впрямь не хевсур ли! Сестру молодую  
Я здесь поджидаю, рошкинская Дзила!

Тебя не узнаешь! Ты взрослою стала,  
С хевсурскою скромностью, чуждой прикрасам,  
Ты мне о поездке в Москву рассказала,  
Я жадно следил за правдивым рассказом, —

Как видела город глазами горянки,  
Порхала по выставке горлинок дикой,  
Хевсурские тесные ваши полянки  
Невольно сравнив с этой ширью великой,

Ты вдруг загрустила о родине горной,  
Вернулась, и, светлой тревоге поверя,  
Ты серое платье с каймою узорной  
Сняла и повесила около двери.

Пусть ветер шуршит этой грубою тканью,  
Пусть выдует жгучую горечь полыни:  
Отжившее зашелестит одеянье  
О горе, которого нет и в помине.

Лишь пеструю шапочку ты сохранила  
Да рыжую челку, и, ветра быстрее,  
На диком коне ты проносишься, Дзила,  
Под тучами птиц бестрепетной рея.

В полете стремительном дышится шире. . .  
Все девушки здесь, все рошкинки такие.

Придет к вам народный сказитель шаири,  
Старик, он о многом услышит впервые.

Услышит рассказ твой, душой молодея,  
И, сняв со стены закопченный пандури,  
Он струны встревожит рукой чародея,  
И звонкие горлинки взмоют в лазури.

Но кто же он? Кудри седые похожи  
На облако над головою Казбека.  
Он струны доводит до песенной дрожи,  
Огонь пробуждает в душе человека.

Умолкнул, и трубка в зубах задымила.  
Деревья шумят, как бегущие воды.  
Лишь стихшую песню подхватишь ты, Дзила,—  
Пред нами раскроется книга природы.

1940

## 21. МЕГРЕЛЬСКИЕ ВЕЧЕРА

### 1

Уже полсолнца в море. Так олень,  
бросаясь вплавь, по грудь уходит в воду.  
Но тополя мегрельских деревень,  
как девушки, толпою ждут захода,

наряженные в шелест во весь рост.  
Когда закат весь пурпур свой засолит,  
он из-за брызг седых морских борозд  
по розе к каждой макушке приколет.

С мотыгами стоят крестьяне в ряд.  
И, до зари не нашумевшись вдоволь,  
трепещущие тополя стоят.  
Что дом — то двор, и сумерки, да тополь.

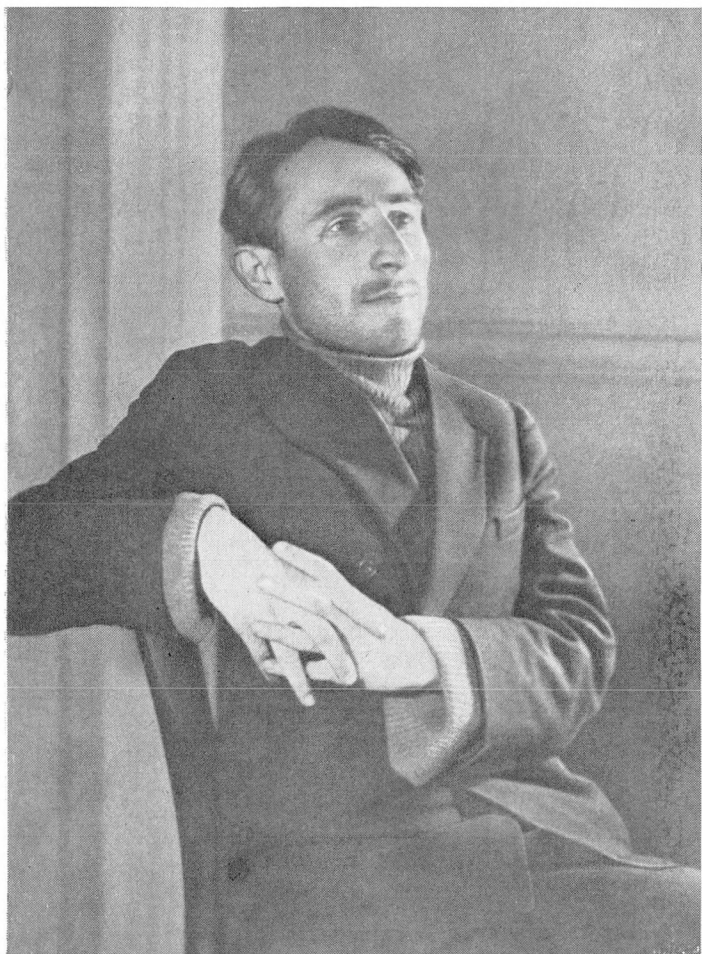
Бывало, состязаясь с соловьем,  
под тополя такие звал я музу.  
Теперь не то: не тополь воспоем —  
засеянный гектар под кукурузу.

Передвигаясь по его ковру,  
колхозники в поту поют «Надури».  
«Надури» было дедам по нутру  
и нам в работе, дружной по натуре.

Лишь соловей, усевшись вдалеке, —  
единоличник в доле щекотливой, —  
трещит вовсю на сливовом сучке,  
весь истекая мленьем спелой сливы.

Приморский ветер остужает грудь  
певца с огнем неугасимым в зеве,  
и руки вместе силятся сомкнуть  
разросшиеся тени и деревья.





В сторонке, злобы доверху полна,  
клянет старуха век, что так напорист,  
и, отгоняя дали с полотна,  
вдали на всех парах проходит поезд.

2

Своя печать на всем вечернем есть.  
Осмысленней с полудня солнца пламя.  
Закат, как свеженачатую десь,  
исписывает ширь полей лучами.  
Испариною вяжущей маис  
мог оттянуть бы час повечеренья,  
но полем с моря ходит легкий бриз,  
и вечер в ветре входит в испаренья  
и входит в лес. И он шумит вверху  
о старине и жалуется с дрожью:  
«Не чтут межи, обидели соху».  
Вдруг, изогнувшись, тополь помоложе  
выбрасывает ветру вслед аркан.  
Напрасный труд — времен не остановишь.  
Но целый лес, поддавшись на обман,  
встает за ним толпой, как на чудовищ.  
«Накрывшись общей шапкой облаков,  
куда вы строим ломитесь отсюда?  
Давайте людям топливо и кров,  
служите нам, не то вам будет худо».  
А лес в ответ: «Что толку от машин?  
Порубленные рощи, рельсы, шпалы.  
Баклан, где сесть, не сыщет мочажин,  
по росчисти сквозной летя устало.  
Осоки обезводевшую топь  
обвоют овдовевшие лягушки.  
И паровоз, вдали рассыпав дробь,  
приблизившись, обдаст дыханьем пушки.  
Косяк гусей взметнется в вышину.  
До Очамчир идет пути прокладка  
по жидкому когда-то зыбуну.  
Кому-кому, а нам ничуть не сладко».

3

Пастух пригнал быков на водопой.  
Речное устье клином входит в море.  
Топ по мосту, мычанье, разнбой.  
В деревне рядом — скрип ворот в затворе.



Со дна реки на водяную гладь  
всплывает перевернутое стадо.  
Прощай теньями стланная кровать, —  
ходи кругом, когда уснуть бы надо.  
Гоня валы теченью вперекор,  
плывут быки. Звон колокола дальний  
сквозь дальний лай собак зовет на сбор,  
и плеск стоит в теньями стланной спальне,

С такой природы пахарь бы хотел  
сорвать небес и облаков лохмотья,  
чтоб телом всем обнять ее предел  
и покорить, поспорив с ней в работе;  
чтоб вывести ночь в просторы без болот,  
как буйволов. Слепней сгоняя с лядвей,  
уже в деревню с ревом входит скот,  
мыча как бы об августе и жатве.

Нисходит ночь. Звезды вечерней ртуть  
забылась. Такая тишь в просторе,  
что страх дохнуть. Такая тишь, что жуть  
встревожить поседельный мрамор моря.  
Лишь всплеску ненасытному не лень  
сосать песок. Лишь тополя предгорий,  
как девушки метрельских деревень,  
толпясь вдаль, спокойно сходят к морю.  
Такая ночь. Так вольно. Час такой.  
Теперь дано обняться в единенье  
звезде и лесу с пеною морской.  
Природе, натерпевшейся гонений,  
отныне обещается покой.  
В смарагды моря падают сапфиры,  
как будто ночь блаженной вязью слез  
связала сноп из всех сокровищ мира,  
Вдали вдоль моря гонит паровоз.

1933

## 22. ГИДРОПЛАН И САДОВНИК

Песню слышали мы в отдаленье,  
медленно двигались наши челны  
под колыбельное, полное лени  
пенье утикнушей озерной волны.

Гулкой трубою пропеллера грянув,  
с озера плавно взлетел гидроплан.  
Мысль понеслась за крылом гидроплана  
сквозь исчезающий тонкий туман.

С чувством отрады я вспомнил о друге —  
сыне Колхиды, ведущем корабль.  
Крылья раскрыв, как громадные руки,  
тенью покрыл он озерную рябь.

Как расцвела эта даль перед нами  
с зарубцевавшейся язвой болот!  
Вымощен пламенем, заткан тенями,  
падает вечер на зеркало вод.

Вижу колхозников здешних владенья,  
рощи подернула теплая мгла.  
И шевельнулось во мне сожаленье,  
что моя юность не с ними прошла.

Но, я подумал, на берег сойду я,  
и от росы будут ноги мокры.  
Снова я радость найду молодую,  
свежесть и цвет невозвратной поры.

Бурей уходит от нас лихорадка.  
Благоуханьем просторы поя,  
вышла из топей к народу и сладко  
розой раскрылась Колхида моя.

Сколько наград за усилия наши!  
Вот садоводы обходят сады.  
Как золотые тяжелые чаши,  
в руки из рук переходят плоды.

Пестрый, как шкура тигровая, вечер  
светом и тенью ложится на луг.  
Сельский садовник идет нам навстречу,  
птичьим пером застегнув архалук.

Он гидроплана следит повороты,  
с гордостью взглядывая на гостей.  
Он, словно книгу, читает природу,  
чтоб богатели сады у людей.

1937

### 23. ВЕЧЕР В КОЛХИДЕ

Я видел вас, колхидские сады,  
был вечер ваш похож на шкуру барса,  
катился с моря тихий шум воды,  
вдоль по дороге юный всадник мчался.

Уж посинели выступы холмов,  
тень от платанов вытянула плечи,  
лучи заката на рогах быков  
горели, пламенея, словно свечи.

И речь садов доступна стала мне.  
Неслась река, ворочая каменья,  
и труженица пчелка в тишине  
работала над чашечкой растенья.

И я следил, мегрелка, за тобой,  
в тени листов ты — украшенья сада!  
Как хороша ты сделалась собой,  
луна небес, души моей отрада!

Зачем же ты глядишь из-за плетня?  
Ужель тебя подстерегла измена?  
Нет, верен друг, он в Поти мчит коня,  
он там на скачках будет непременно.

Среди друзей помчится молодец,  
из-под копыт взлетят метеориты,  
чтоб выпала победа наконец  
ему — посланцу солнечной Колхиды.

Смуглянка гладит цитрусовый плод,  
ласкает листья тучного инжира.  
Она сама — участница работ  
на благо расцветающего мира.

Она теленка треплет по спине,  
но мысль о друге не дает покоя,  
и стан ее, как тополь при луне,  
вздывается, колеблясь над тропею.

Среди недавно созданных пород,  
весь в белых пятнах солнечного света,  
могучий Кварацхелия идет,  
одетый в чоху праздничного цвета.

Быки над ним рога взметнули ввысь,  
но он смеется — всё ему веселье!  
А тени потемнели и слились,  
и сельские ворота заскрипели.

Закрылись мглою выступы холмов,  
трава покрылась жемчугом далече,  
лучи заката на рогах быков  
сияют, догорая, словно свечи.

Услышу я чонгури нежный звук,  
сольюсь, исчезну в воздухе пустынном,  
и застегнет мегрельский архалук  
седой пастух пером своим гусиным.

Он девушке подтягивать начнет,  
судьбу страны приветствуя с волненьем,  
и вся Колхида, весь родной народ  
ответят песне радостным гуденьем.

1937

## 24. РАКОВИНА

Смотрю на раковину белую,  
что с детских лет знакома мне.  
Она как малый лебедь онемелый,  
колхидский лебедь, спящий на спине.

А на столе пред лебедем точеным  
блестят очки среди вороха теней,  
и у окна тень книжницы ученой —  
спокойной, мудрой бабушки моей.

Когда переставал строптивый ветер,  
входила черной ночи суетня,  
ее я слушал, всё забыв на свете,  
у тихого мегрельского огня.

В приставший к раковине пепел  
смотря, под лампою большой  
следил я сказки длинной лепет,  
Рионом вдруг шумевший над душой,

про жизнь и пламень Амирани,  
про дикий плен, где вся во льду гора,  
как в море пепел утром ранним  
был брошен от его костра.

И Гуриэли с Гутунава четко  
за сказкой стих певали свой,  
плетеный стул скрипел, был слышен четок  
янтарных старых тихий перебой.

Морскую пепельницу брал я  
и слушал, ухо важно приложив,  
как зыбь морская в ней играла,  
пространство ночи бурей освежив,

Частицей настоящей бури,  
чуть слышным ветром у плеча  
в тигровой раковинной шкуре  
гул моря пленный мне звучал.

Я, удивляясь, спрашивал с тревогой:  
зачем стихий частица чуть жива  
и заперта природой строгой,  
чтоб только в ухо тихо колдовать?

Мне бабушка ответила: тревожит  
она лишь в комнате людей,  
сам Амирани снится ей, быть может, —  
так море завещало ей.

Чтоб гостью моря больше я не слушал,  
ее сослали просто на чердак,  
но зиму всю, мою тревожа душу,  
сквозь сон мне гул ее рыдал.

В ту зиму выпал снег огромный,  
когда совсем ты, бабушка, ушла. . .  
Но память над могилой снежной, скромной  
твоими всё рассказами жила,

засыпана осколками сказаний,  
полна твоих сверкающих легенд. . .  
И вот над старым миром Амирани  
воскрес и сбросил древний плен.

Колхиды блеск в садах над морем —  
и раковина на моем столе  
как память детства о просторе,  
мегрельском ветре на земле.

1937

## 25. МОРСКАЯ РАКОВИНА

Я, как Шекспир, доверюсь монологу  
в честь раковины, найденной в земле.  
Ты послужила морю молодому,  
теперь верни его звучанье мне.

Нет, древний череп я не взял бы в руки.  
В нем знак печали, вечной и мирской.  
А в раковине — воскресают звуки,  
умершие средь глубины морской.

Она, как келья, приютила гулы  
и шелест флагов, буйный и цветной.  
И шепчут ее сомкнутые губы,  
и сам Риони говорит со мной.

О раковина, я твой голос вещий  
хотел бы в сердце обрести своим,  
чтоб соль морей и песни человечьи  
собрать под перламутровым крылом.

И сохранить средь прочих шумов милый  
шум детства, различимый в тишине.  
Пусть так и будет. И на дне могилы  
пусть всё звучит и бодрствует во мне.

Пускай твой кубок звуки разливает  
и всё же ими полнится всегда.  
Пусть развлечет меня — как развлекает  
усталого погонщика звезда.

1937

## 26. ПЕСНЯ ВЛЮБЛЕННОГО РЫБОЛОВА

Тигрица моя, не игравшая с тигром,  
Тростник мой, нетронутый и тонконогий,  
Хотел я к тебе, но к непойманым рыбам,  
Как волны, пошел голубою дорогой.

Решил я, что невода ставить не надо.  
Что в рыбе? Холодная кровь с чешуею.  
Мне снится сегодня другая отрада —  
Хочу я попасть в этот невод с тобою.

Мне тень от ветвей и деревьев — ресницы  
Твои! Все другие не стоят сравненья,  
И даже лучи у луны белолицей  
Не так хороши и достойны забвенья.

Мне только что чайная роза сказала,  
Что ты над бутоном над чайным склонялась,  
Мечтательно веточку чая качая,  
Сама в этот миг чистотой наполнялась.

Взорлила душа моя и полетела  
К прекрасной, наполненной жизнью долине,  
К пыланию чистого женского тела,  
К судьбе неизбежной, к своей половине.

Наказывал я тебе с чайною розой,  
Что сад мой, собранье зеленых наречий,  
Отныне без нашей любви невозможен,  
Он бредит, как я, ожидаемой встречей.

Неистово, яростно землю копытит,  
Грызет удила и волнуется конь мой,  
Сказать не дано ему, только он видит,  
Какой рыболов красотой твоей пойман!

## 27. ПЕСНЯ ПОКИНУТОГО РЫБОЛОВА

Мое гнездо меня гнетет —  
Любимая его покинула.  
Сеть рыболовная зовет:  
«Скорей, скорей в реке топи меня!»

Иду. Вода ревет в ночи,  
Колотится в утес неистово,  
Пасутся лунные лучи,  
Разгуливает форель пятнистая.

Уверенно закинул сеть,  
Тяну, надеюсь и загадываю,  
И, как в махорочный кисет,  
В мотню намокшую заглядываю.

А там форель. Она точь-в-точь  
Как серебро, еще прохладнее.  
Любовь моя темна как ночь,  
А ревность — даже непрогляднее.

Форель моя стройна, как ты,  
Но вот она из рук выскальзывает,  
На миг один из темноты  
Мне, как насмешку, хвост показывает.

Безмолвны руки, сеть мокра.  
Лишился я того, что дорого.  
А ночь из лунного шатра  
Меня охватывает холодом.

## 28. НА ОЗЕРЕ

Ветер улегся, но зыбь, еще хмельная,  
Лодку мою подымала с разбега.  
Волны шумели, как песнь колыбельная,  
И освежали грудь человека.

На берегу, как чудес провозвестники,  
Встали деревья стеною зеленой;  
Эти — как сабли, а те — как наездники,  
Высились в небе их светлые кроны.

Вот уже солнце вечернее бросило  
В борт корабельный шлепки позолоты,



Давние дни мне напомнило озеро —  
Детство и двор наш у края болота.

Там я мечтал — над просторами водными  
Новым Колумбом помчаться отважно.  
Вспомнились ранние детские годы мне —  
В луже плывущий кораблик бумажный,  
Там башмачок, у бабки украденный,  
Воображал я фрегатом-громадиной. . .

К нам издалека, сильны и легки,  
Двигались лодки по зыби шумливой;  
Эти — как с тонким крылом башмаки,  
Те — словно лошади с пенною гривой.

К дому везли мы изрытый водой  
Камень, из озера поднятый нами.  
Виделся профиль на нем молодой,  
Вился трехтысячелетний орнамент.

Камень рассказывал нам, что на дне  
Озера город лежит в глубине;  
Там, где над черной священной дубровой  
Высился, словно под шкурой тигровой,  
Дуб в золотом драгоценном руне.

. . . Мчался корабль с кормою крутою,  
Вымпелом вея из темноты.  
Взяли пришельцы руно золотое,  
Чтобы Колхиду лишить красоты.

Скрылся корабль в черноморской дали,  
Ветры нас пылью потом занесли;  
Топи болотные, тяжело вздыхая,  
Стали владыками нашего края;  
И, дочерей из домов похищая,  
Их на продажу корсары везли. . .

Эту легенду мне передала  
Бабушка — мы у камина сидели.  
Болью, как угли, сердца в нас горели,  
Медленно, тихо беседа текла,

Чем-то с природою схожа была  
Наша беседа... Камин догоревший  
Слушал, разинув мечтательно рот.  
Бабушка молвила: «В осиротевшей  
Старой Колхиде лишь буря поет...»

И, как на озере челн в непогоду,  
Ветер качал нашу свайную оду.

*1937*

### 29. САДОВНИК

В дремотных трущобах колеблется ключ,  
зима, затуманясь, уходит отсюда,  
но почки еще не прозрели покуда  
и теплые ливни не хлынули с круч.

Весною садовник прилежен к труду.  
Сын Картли, он полон любви к отчизне.  
Он хочет, чтоб первое яблоко жизни,  
как зарево, вспыхнуло в нашем саду.

Как карта, в морщинах сухая ладонь,  
на ней отпечатались корни растенья.  
Как трут, она дышит. Он полон терпенья,  
чтоб высечь соцветий волшебный огонь.

Ножом расщепляя побег молодой,  
он надвое делит древесные ткани.  
И, выбранный плод прививая заране,  
две жизни стремится зажечь из одной.

И саженцы любят его всё нежней.  
Они как ребята из детского сада.  
Он их переносит туда, куда надо,  
он их бережет, словно малых детей.

Он мира живого творит уголок,  
ему вручена созиданья частица.  
Готова природа ему подчиниться,  
чтоб он насладиться плодом ее мог.

И встанут над садом, как сладостный дым,  
соцветия персиков, спутников лета,  
и крик петушиный из горла рассвета  
прорвется и грянет, ликуя, над ним.

Он дерево лепит, как лепят кувшин,  
он влагой его наполняет весенней.  
Мой славный соперник, он всё вдохновенней,  
он в деле своем достигает вершин.

А в небе уже догорает закат,  
и движутся тени под ветками сада,  
и бродит садовник в сиянье заката —  
полезных деревьев творец и собрат.

1940

### 30. БЕРЕГА

Солнце в воду вонзается косо;  
как топазы искрится река;  
в волнах по пояс, каменотесы  
укрепляют ее берега.

Еще трудно волнам, еще тесно.  
Но ведь скоро наступит пора, —  
словно чувства, внедренные в песню,  
шелестя, распрямится Кура.

Тополевой толпой окруженный,  
берег ярко горит ввечеру.  
И Тбилиси стоит, погруженный  
в солнце, в летописи и в Куру.

Ты поглубже взглядишь в эти воды,  
пылью влаги лицо освежи  
и прозрачную мудрость природы,  
как ребенка, с душою сдружи.

И стихи мои плещут, как птицы,  
бьет заря им в тугое крыло,  
где ударники нашей столицы  
прорубают столетьям русло.

Их приветствуют шумные листья  
тополей в водяном серебре.  
И в сказаниях тонет Тбилиси,  
в испареньях Куры и в заре.

1935

Ты выходишь на берег тбилисский,  
где балконы висят, как карниз.  
Стаи ласточек кружатся низко,  
ищут гнезд, где они родились.

Так завистливо смотришь один ты,  
как летают стрижи над рекой.  
Вот уж солнце по краю Мтацминды  
величаво идет на покой.

Тополя поднялись над Курою,  
как гонцы из прошедших веков,  
свежий шелест их родственен строю  
и напеву грузинских стихов.

Лишь Мтацминда прижмет на прощанье  
солнце к каменной груди своей,  
вновь умчат меня воспоминанья  
к Самегрело — отчизне моей:

вспомню буйвола в зарослях сонных  
и над кровлею — тополь седой,  
где обиженный кем-то ребенок  
плакал, спрятавшись в купе густой;

крики ворона в дымке небесной,  
соколиный полет на ветру,  
о Риони старинную песню  
и забытую детства игру.

Но там сушат болотные топи,  
здесь крепят этот берег крутой.  
Я хотел бы шуметь, словно тополь,  
и витать, словно мысль, над Курой.

Как корзинки, сплетенные плотно,  
сотней пепельниц у потолков  
гнезда лепятся. Ласточки сходны  
в этот день с мастерами стихов.

1935

## 32. ТБИЛИСИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Напоивши и землю и зелень,  
миллионом бубенчиков дождь  
прогремел. Лишь на дне у расселин  
влажный след его в полдень найдешь.

Капли рушатся с кровельки низкой.  
Разминаясь, шумит горячей  
величавый осокорь. И в брызги  
разлетается быстрый ручей.

И в Куру, словно скал славословье,  
низвергается пенный каскад.  
Кровли — словно омытые кровью,  
как щиты после боя, — блестят,

Глубже гул городской в последождье.  
Мягче окрик трамвайных звонков.  
А из лужиц, подернутых дрожью,  
блещут снегом клочки облаков.

Всюду капли остались на листьях,  
словно шумного пира следы.  
Подымаются, как альпинисты,  
на Мтацминду дома и сады.

В каплях стекла распахнутых окон,  
и в тени не просох еще двор,  
я люблю уноситься далеко —  
в освеженный грозою простор.

Тучкой, в скалах застрявшей, плененный,  
я люблю меж камней скользить  
быстрой ящерицею зеленой  
и одежду на солнце сушить.

Я пройду вдоль кварталов растущих, —  
тихой думой объаты они.  
Вновь Кура, словно радуга в тучах,  
предвещает погожие дни.

Воздух зябко дрожит, словно полный  
кокон, в сумрачных и голубых  
пропастях. И, подобием молний,  
горы врезаются в мой стих.

В облаках — ястребиных кочевьях —  
величаво пропеллер пропел.  
Вечереет, и вновь на деревьях  
клейкий сок, как кристалл, затвердел.

Уж на отдых к далекому дому  
солнце тихо сошло с высоты.  
Юный день ожидает парома  
на другом берегу темноты.

Я иду над Курою. Сверкает  
влажный камень в редящей мгле.  
И заря над горой возникает,  
день чеканящая на земле.

1935

### 33. ТВИЛИССКАЯ НОЧЬ

Я возвращаюсь.

Возвращаюсь мимо  
пяти мостов, что над Курой висят,  
и на меня собаки лают мирно,  
а иногда и лаять не хотят.

Спят памятники,

дремлет старый садик,  
и магазины в сон погружены,  
и на горах не видно старых ссадин —  
да мне и сами горы не видны.

Всё спит спокойно,

углубленно, строго,  
завидным сном —

рабочим крепким сном,  
и только неоконченные строфы  
не спят в квартире на столе моем.

Да вот идет навстречу сторож старый.  
«Который час?»

Да,

а который час?!

Высокий, величавый

и усталый,

идет он, сединой своей лучась.

И слышат сквозь дремоту скверы,  
парки  
и лавки под охраною замков  
спокойное постукиванье палки  
и поступь этих тяжких башмаков.  
Идет он.  
На плечах желтеют листья.  
Идет он  
как отец и как судья.  
И кажется мне, будто бы Тбилиси  
обходит этой ночью сам себя.  
И я ходить, как сторож, не устану,  
по переулкам дремлющим кружа.  
Я твой, Тбилиси,  
как твои платаны,  
твои мосты,  
базары,  
сторожа.  
Гляжу я на туманные строенья,  
не отвожу от них счастливых глаз...  
Который в мире час?  
Час вдохновенья.  
Горчайший час,  
сладчайший час...

1939, 1955

#### 34. ТБИЛИССКИЙ РЫБАК

Когда в Тбилиси ночь приходит  
и тянет холодком с Куры,  
он с рыбою живой обходит  
передрашветные дворы.

Блеснет ли где ночник из щели,  
он — с солнцем к окнам кладовой,  
как будто сверх речной форели  
торгует зорькой весовой.

Когда в подставленную кадку  
летит покупка, как в Куру,  
он вам поверит без задатка, —  
он не купец, а гость в пиру.



И вновь он шествует и шарит,  
не пьют ли с ночи где-нибудь.  
Найдет — и ястребом ударит,  
к столу прокладывая путь.

Шум, хохот, голос толумбаша,  
и весь на взводе, как курок,  
рыбак встает с заздравной чашей,  
подбросив шапку в потолок.

Пока он пьет, от чувств прилива,  
как рыба проданная, нем,  
она, как тост красноречивый,  
горит и ходит телом всем.

А уж лучи, как в полдень, жгучи,  
и, их не ставя ни во что,  
вздымает ветер пыли тучи,  
клубя их, как штаны кинто.

Валится с ног, вернувшись в хату,  
рыбак, недавней встречей пьян,  
и спит... и видит челн дощатый,  
речную зыбь, ночной туман.

1935

### 35. ПРИХОД РЫБАКА

Такие ночи сердце гложут,  
стихами замыслы шумят.  
То, притаившись, крылья сложат,  
то, вострепнувшись, распрямят.

За дверью майский дождь хлопочет,  
дыханье робости сырой.  
Он на землю ступить не хочет  
и виснет паром над Курой.

Как вдруг рыбак с ночным уловом, —  
огонь к окну его привлек.  
До рифм ли тут с крылатым словом?  
Всё заслонил его садок.

Вот под надежным кровом рыба.  
Но дом людской — не водоем.  
Она дрожит, как от ушиба  
или как окна под дождем.

Глубинных тайников жилища,  
она — не для житья вовне.  
А строчке дома не сидится,  
ей только жизнь на стороне.

А строчку дома не занежишь,  
и только выведешь рукой,  
ей слаще всех земных убежищ  
путь от души к душе другой.

Таких-то мыслей вихрь нахлынул  
нежданно на меня вчера,  
когда рыбак товар раскинул,  
собрал и вышел со двора.

Прощай, ночное посещение!  
Ступай, не сетуй на прием.  
Будь ветра встречное течение  
наградой на пути твоём.

Мы взобрались до небосвода,  
живем у рек, в степной дали,  
в народе, в веянье народа,  
в пьянящем веянье земли.

Мы лица трогаем ладонью,  
запоминаем навсегда,  
стихов закидываем тоню  
и тащим красок невода.

В них лик отца и облик вдовий,  
путь труженика, вешний сад,  
пыль книг, осевшая на брови,  
мегрельский тающий закат.

Всё это жизнь выносит к устьям,  
но в жизни день не сходен с днем.  
Бывает, рыбу и упустим,  
да после с лихвою вернем.

Когда ж нагрянувшая старость  
посеребрит нас, как рассвет,  
и ранняя уймется ярость,  
и зрелость сменит зелень лет,

тогда, как день на водной глади  
покоит рощи и луга,  
так чувства и у нас в тетради  
войдут и станут в берега.

1935

### 36. ОТАРА ОВЕЦ

Я работал всю ночь,  
а на раннем рассвете  
шум и свист за окном  
всполошили меня.  
Я увидел — отара течет в Триалети,  
ей откликнулась  
Мтквари, волною звеня.  
Площадь круглую всю запрудила отара,  
стих оборван,  
и больше не пишется мне.  
Вспомнил прошлое: алые вспышки пожара,  
вспомнил битвы в горах и отары в огне.  
Шелковичной ли пряжею  
площадь клубится?  
Или облаком? Слышится посвист вдали.  
Потянуло травой —  
чебрецом, медуницей, —  
это овцы дыханье полей  
принесли.  
В Триалети пастух направляется бодро.  
Саламури звенит, как напев ручейков.  
Он отару ведет  
и в ненастье и в вёдро,  
рассыпает в лугах,  
как гряду облаков.  
Окликает овец пастырь  
с посохом длинным,  
по росе Гареджийской горою кружит,  
поспешает на выгон с расшитым хурджином,  
и за ним неразумный ягненок бежит,

То потянутся тучки  
над нивой веселой,  
то колхозник пройдет  
по тропинке рябой.  
На пути пастуха гомонящие села,  
и в глазах его  
отсвет горы голубой.  
Ветер в бурку закутав,  
несет, как ягненка,  
на пути никому не желая отдать.  
И отара, как пива,  
колышется звонко —  
нашей мирной  
грузинской земли благодать.  
Если б шел я с отарой,  
мой голос певучий  
воспевал бы ее  
и течение дней.  
Проходили бы овцы  
зеленою кручей,  
саламури бы стала  
утехой моей.

1940

### 37. У ОЗЕРА

Над водой тростник склонился,  
Тень на озеро легла. . .  
Вдруг читателю на милость  
Станет песнь моя легка?

Буду прост и односложен,  
Всем доступен, скромн, тих,  
И любой прохожий сможет  
Отпереть ключом мой стих.

Буду славить горы, чащи,  
Мудрость мастера презрев.  
Что сказал бы мне мой пращур,  
Неожиданно прозрев?

Прошуршал камыш, и аист  
Взмыл по облачной тропе. . .  
Может быть, в былом покаясь,  
Так же просто мне пропеть?

Опечален и рассержен,  
Сам себе я стану мстить. . .  
Ну, а сердце? Разве сердце  
Мне в строку тогда вместить?

*1937  
За городом*

### 38. ПОСВЯЩЕНИЕ

Когда расстанусь,  
Кажется — растаю  
Всем сердцем  
в сердце маленьком твоём,

Из сердца твоего произрастаю,  
Одной звездой волнуемся вдвоем.

Тогда спешу, чтоб ты не откололась,  
Дарю тебе все отблески души.  
Я всё боюсь — не потерять бы голос,  
Твой голос —  
Колыбель в моей тиши.

Мне в самом деле кажется и мнится —  
Твое гнездовье в сердце у меня.  
Ты молодости первая зарница,  
И старость ты  
До рокового дня.

*Лето 1938*

### 39. СТАРИННЫЕ ЧАСЫ

Когда в комнате сон, и на улице тишь,  
и смолкают все звуки ушедшего дня,  
ходят только часы, осторожно, как мышь,  
окликают, зовут, будоражат меня.

Счет минутам ведут, или просто бегут,  
или целят стрелой в рассвет золотой,  
или цифрами время в осаду берут,  
или круг обегают, как рог налитой.

Мои думы сливаются с ходом часов,  
и минуты как четки — то нечет, то чет,  
я сливаюсь с мерцаньем ночных голосов,  
эта ночь, словно звездная песня, течет.

Ходом этих часов отмечались года,  
с ними детство текло и рождалась строка,  
и они, словно пульс, трепетали, когда  
у отца моего остывала рука.

Они меряли жизнь, как течение ручья,  
были радостям вехой и мерой забот.  
И мерцают они в тишине бытия,  
и с природой самой согласуют свой ход.

Словно искры, минуты взлетают, легки,  
и на струнах часов мирозданье поет,  
по-особому ночью кричат петухи,  
Млечный Путь надо мною густеет, как мед.

Эту ночь проведут они вместе со мной  
с глазу на глаз — их поступь легка и тиха —  
и, минуты похитив из бездны ночной,  
переплавят их в мерные строки стиха.

1938

#### 40. СНЕГ

У снегопада тоже почерк свой.  
Бубенчик славит санную дорогу,  
метель подходит к самому порогу, —  
я рад сегодня гостье снеговой.

Причудливо, задумчиво и тихо  
усталый дым чуть гнется на ветру.  
Порхают хлопья. И метель-франтиха,  
вся в белом, павой бродит по двору.

Как звезды, хлопья в воздухе повисли,  
пробрался снег ко мне за воротник.  
Как хлопья, кружат медленные мысли,  
и речь природы льется, как родник.

Что мне еще в такое утро надо!  
Ель, словно свечка, около окна.  
Ловлю руками клочья снегопада,  
на стеклах разбираю письма. . .

Как я мечтал — пушинку снеговую  
внести в твой дом, чтоб видела и ты  
во всей красе игру ее живую,  
холодный свет и трепет чистоты.

Хотелось мне, чтобы она, не тая,  
перед тобой сияла в доме, как  
январского простора мысль простая  
или как проседь на моих висках.

Но от прикосновения к ладони  
снег исчезает, словно от огня. . .

И я ни с чем пришел к тебе на склоне  
январского завьюженного дня. . .

Одна лишь нежность в сердце не растает,  
она надежней снежной кутерьмы,  
возьми ее — она перерастает  
в любовь, с которой неразлучны мы.

1938

#### 41. ОЖИДАНИЕ СНЕГА

Скоро снег рассыплет чистый пух,  
звездочками двор оденет скоро,  
ночью окна разошьет узором.  
Белый дед в ворота вступит вдруг,  
звон саней осеребрит просторы,  
поломает ветви снежный ворох,  
лес застонет от холодных выюг.

Ель, согнувшись под морозным даром,  
доброй гостьей к нам войдет сама,  
теплый островок найдет впотьмах,  
тихо встанет рядом с самоваром.  
Пусть взовьется на дворе зима, —  
ель недаром красит нам дома  
и с детьми беседует недаром.

Белоконных всадников лихих  
под ветвями встретят наши дети,  
и напомнит елка им о лете,  
будет много звонких игр у них,  
снова ляжет тишь на целом свете. . .  
Звон саней в просторах неприметен,  
шум дроздов над кровлями затих.

Лишь задремлет суета дневная —  
весь в лучах, степенный пестрый кот  
мимо ели медленно пройдет,  
человечий гомон презирая.  
Я же, утомленный от работ,  
выйду за дверь, гляну из ворот —  
в тишину оснеженного края.

1938



## 42. ВОСПОМИНАНИЕ О ДЕДЕ

День новогодний. На ели нарядной  
дед снеговой рядом с птичкою яркою.  
Весело детям, и деду отрадно, —  
прямо с мороза он — в комнату жаркую. . .

Кружатся дети вокруг еловых веток.  
Дедовой шубой белеет долина.  
Мнится мне: воспоминанье о летах  
детства присело со мной у камина.

Воспоминание мне рассказало  
сказку про деда: «А помнишь ли ты его?  
Разве не светит тебе, как бывало,  
белая лампа седой бороды его?»

. . . Детские думы мои, как ручей,  
мчались, играли среди наших полей. . .  
Дед мне сейчас как живой вспоминается;  
тропку к воротам в сугробах топча,  
он у дверей во весь рост подымается. . .  
И промелькнул предо мной как свеча.

Он величаво скакал по дороге,  
в зимнюю ночь потеплей укрывался  
и в ожидании смерти, в тревоге,  
в землю святую пойти собирался.

Ну, а пока — дичь с охоты он нашивал,  
Саба Сулхана по памяти знал.  
Миндией был он селения нашего  
и городов больших не видал.

Снежные ль бури в долине ревели,  
он тхиламури к подошвам привязывал.  
По вечерам же играл на свирели  
или же страшные сказки рассказывал.

. . . Помню: расширив глаза удивленные,  
темные, словно озера бездонные,  
передавал он нам, малышам,  
жуткую тайну: болотные лешие  
в ночь заплетают хвосты лошадям,  
лошади же становятся бешеными. . .

Вновь он на елке в родимом доме,  
смотрит на лампочек пестрых сверкание,  
дети рассказывают ему  
повесть о Чкалове и о Папанине.

Им Циклаури потом вспоминается,  
что над Казбеком сияет вдали.  
И Циклаури ведь тоже является  
дедом детей нашей доброй земли!

1937

43

Юность, молодость, зрелость. . .  
                  Лежит между вами граница —  
краткий миг передышки,  
                  смущенья и смутных забот,  
Чаша ядом священным  
                  еще не устала искриться,  
но всё явственней сокол  
                  усталую руку гнетет.

Этот миг наступил —  
                  и сомненье меня охватило:  
если пальцы мои  
                  обожжет догорающий трут,  
значит, пламя иссякло,  
                  остались одни лишь чернила, —  
но они без огня  
                  на странице строку не зажгут.

Если свойства души  
                  заключаются в пенье и плаче,  
чтоб вернее раскрыть  
                  эти свойства, подобно тому  
как весенние почки  
                  апрель раскрывает горячий,  
оробелые руки  
                  для исповеди подниму.

Руки робкие мастера!  
                  Вам довелось потрудиться.  
Как же вас подниму,  
                  если крыльями сокол не бьет?!

Юность, молодость, зрелость...  
    Лежит между вами граница —  
время тайных раскаяний,  
    смутных тревог и забот.

Это время пришло.  
    Снег валится всё гуще и гуще.  
Он растает еще.  
    Но сегодня долина бела.  
Я хочу, чтобы жизнь  
    уподобилась ниве цветущей,  
чтобы нивой в цвету,  
    а не сломанной веткой была.

Сети трудных раздумий  
    в житейское море закину:  
поздней ночью, в слезах,  
    я на милую землю пришел —  
и поэтому с песней  
    подняться хочу на вершину,  
как бы ни был мой путь  
    утомителен, долог, тяжел.

О родная страна!  
    Дай росую твоей окропиться.  
По распаханной ниве  
    твой сеятель с песней идет...  
Юность, молодость, зрелость...  
    Лежит между вами граница —  
краткий миг передышки,  
    смущенья и смутных забот.

1938

#### 44. ПЕСНЬ РУЧЬЯ

За самим собой в погоне,  
Пел ручей на горном склоне,  
Пылью радужною цвел,  
Разговор открыто вел:

«Не ищу я зыбких истин.  
Я — ручей. Я — бескорыстен.  
Я затем хочу бежать,  
Чтобы землю освежать.

Я бездомен. Я бродяга.  
Вечный путь — моя отвага,  
Мой недремлющий мотор...»  
Пел и скатывался с гор.

И задумывался: «Небо!  
Что-то дождь давненько не был,  
Я твой сын, я твой гонец,  
Силы мне прибавь, отец!

Я ручей, и я ручаюсь:  
Дашь дождя — я не отчаюсь,  
Буду прыгать по камням,  
Помогать родным полям...»

Синеву закрыла туча,  
Буркой землю нахлобуча,  
Славный, добрый дождь упал.  
«Я спасен!» — ручей кричал.

## 45. ПЕРВАЯ ПРИПИСКА К КНИГЕ

Вся рукопись, как россыпь лепестков,  
как рдеющие угли, не остыла.  
Я знаю мощь звенящей краски слов...  
Но по ночам, за росписью стихов,  
вдали я слышу пенье Автандила.

Как сладостно звучит оно в тиши  
иль пламенно, с какою яркой силой...  
Далекий друг поэта, подсажи,  
как мне запеть подобно Автандилу?

Хоть этой ночью новая тетрадь  
напевом налетевшим окропилась,  
с картиной звук не мог я сочетать,  
в единый строй она не заключилась.

Земли красою зримой я пленен,  
листочком в росе, яйцом в гнезде голубки.  
И как бывает сумрак оживлен,  
лишь огонек блеснет у деда в трубке!

А образ ищет голоса себе;  
янтарным житом ток не так сиял бы,  
когда б не пел, как бубен, в молотье  
и тружеников песней не звучал бы.

И вот когда ты на палитре слов  
смешаешь краски ярко и богато,  
ты голос молодой своих стихов  
проверь на слух читателя-собрата.

И если, щедрым сердцем порожденный,  
в сердцах сумеет отклик он найти,  
он будет жить, живыми повторенный,  
в потомстве и, как Млечный Путь, цвести.

1946

#### 46. ТЕНЬ ОТЦА

Я не сплю. Я во власти тревоги.  
Я послушен дождю за окном.  
Ветер в двери! Отец на пороге,  
В мокрой чохе он входит в мой дом.

Это сон. Это явь. Он в могиле.  
Он мерещится мне в забытьи.  
«Где ты был? Мы тебя не забыли.  
Как промокли одежды твой!»

Он стоит, не скрывая обиды,  
Опираясь на тот же костыль;  
И по дому под ветром Колхиды  
Дождевая проносится пыль.

Вот он кашляет глухо — он болен,  
Воду пьет и чуть слышно потом  
Говорит, что невесткой доволен,  
Что моим он доволен жильем.

Опускаются влажные веки,  
Растекаются капли дождя:  
«Если дочь потерял я навеки,  
Я измучусь, ее не найдя!»

«Погляди на меня, — я отвечу, —  
Я в слезах пред тобою стою.  
Думал я, ты готовишь ей встречу  
Там, в твоём безымянном краю.

Чоху высушим, в нарды сыграем,  
Отдохнешь у меня наконец.  
Ничего, мы ее повстречаем.  
Стол накрыть разреши мне, отец!»

Но отец мой уходит из дома,  
Слышен капель томительный звон —  
И меня покидает истома,  
Принесенный дождем полусон.

1940

## 47. МЕЧТЫ ОТЦА

Я песней утолю печаль свою.  
Отца я помню, наш очаг, беседы.  
Боялся он за нас:  
Обиды, беды  
Мерещились ему  
В чужом краю.

Он становился пепельным не раз,  
Хотя и слышал, кто они, студенты.  
Глаза то вниз глядят,  
То вверх воздеты, —  
Он всё мечтал, переживал за нас.

Он пел и говорил о том же самом.  
Как Диккенс, на рассказы был мастак.  
Была ему отчизна вечным храмом,  
Амвоном —  
Трудовой его верстак.

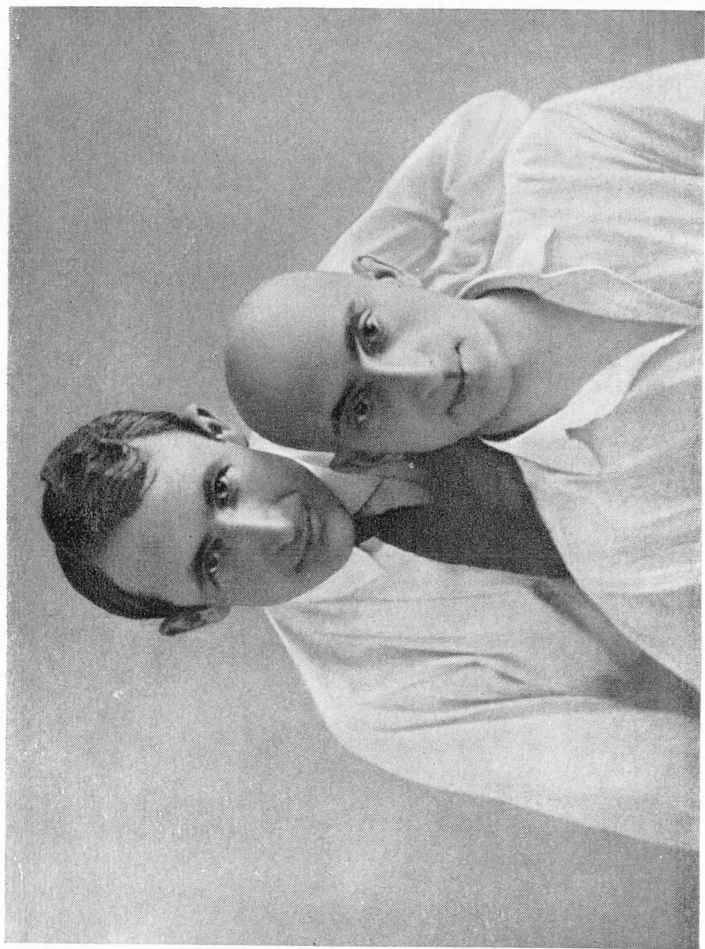
Студенчество он понял из молвы.  
Ему вокзалы виделись,  
Вокзалы,  
Мечты его, как бы мосты,  
связали

Селенье наше  
С берегом Невы.

В дорогу подбивая башмаки,  
Он думою о сыне жил тревожной,  
Тоской томился  
Железнодорожной,  
Вокзалы мнились, слышались звонки.

Пыль книжная запорошила белым  
Его густые брови.  
И с тех пор  
Он видел меня горным инженером,  
Проникшим в тайны белых наших гор.

Чтоб нищета ушла — ему хотелось,  
Чтоб я земные отыскал дары,  
А там, в горах, меня догонит зрелость  
И поведет меня в нутро горы.







Я был ошеломлен звучаньем встречным,  
Меня увлек  
Мир звуков и тревог.  
Мечта отца Путем осталась Млечным,  
Никак его осилить я не смог.

Ветрами всех материков обдутый,  
Нашел дорогу в горы, да не ту.  
И жизнь моя  
Любой своей минутой  
Так не похожа на его мечту.

И всё же — это он. Его заветы.  
Мой стих запомнил заповедь отца.  
Вставай скорей,  
Громи людские беды.  
Входи любовью в горы и сердца!

1940

#### 48. МОЯ МАТЬ

Молодой, молодой угасала она.  
Всё трудилась без сна, не щадила красы.  
Как вечерняя зорька, тиха и грустна,  
в нежном золоте незаплетенной косы.

Простояла над люлькой последние дни.  
И ушла. И черты потонули в тени.  
О, какие я должен затеплить огни,  
чтоб могильную тень разогнали они!

Мама, тени могильные злы и густы.  
Мне осталось в колодезь глядеть с высоты, —  
в эту воду, наверно, глядела и ты,  
на поверхности запечатлевши черты.

Может, пламя, что здесь в очаге занялось,  
это отсвет твоих золотистых волос?  
Может, дымка затейливо вьющихся лоз —  
это твой поясок. . . Я не вижу от слез.



Немая твердыня глядит с вышины,  
своей материнской любви не тая.  
Новыми песнями высушу я  
извечные слезы сурамской стены.

1935

## 50. ВТОРАЯ ПРИПИСКА К КНИГЕ

Я возвращаюсь  
в отчий край,  
домой,  
и, если спросит у меня попутчик,  
где мой очаг,  
где дом родимый мой,  
отвечу я, что возле гор могучих.

Скажу, что он стоит в тени чинар,  
что до Куры  
могу достать рукою,  
что здесь я жизнь когда-то начинал  
под сенью гор,  
над серою рекою.

Мне из окна открытого видна  
встающая далеко за горами  
безбрежной Волги ясная волна,  
и гомон Сожа  
слышен мне на Храми.

Я знаю —  
ограничивать нельзя  
свой кругозор условностью предела;  
хочу, чтоб вечно множились друзья,  
чтоб чувство дружбы бесконечно зрело.

Я сам, как Терек,  
не жалея сил,  
прошел ущельем по дороге длинной,  
свои глаза к простору приучил,  
к необозримой широте долинной.

Передо мной Казбек в голубизне  
красу возносит над природой всею.

Как надо жить,  
чтоб дотянуться мне  
и до Арагви и до Енисея!

Парит орел над снежной синевою,  
и, долгим взглядом провожая птицу,  
я безграничным  
край считаю свой,  
как всей советской родины частицу.

Меня простор волнует и зовет,  
мне дом любой  
открыт по праву дружбы,  
я слышу дома  
шум днепровских вод  
и на пути далеком  
вижу тень от Ушбы.

В душе звучит многоголосый хор —  
так дружно никогда еще не пели!  
И песня для пятнадцати сестер —  
в пятнадцати ладах моей свирели.

И ветер гор  
в порыве молодом  
вслед за Курой торопится к предгорьям,  
все двери настежь  
в мой просторный дом  
он распахнул перед Московским морем.

1940

51

Нет, одному невесело поется.  
Прошу я жизнь, чтоб друга мне дала.  
Мне песня в одиночку не дается.  
Мне для полета надо два крыла.

Дай мне крыло! От лести и нападок  
друг друга мы крылами защитим.  
Рабочее понятие «напарник»  
к высокому искусству приобщим,

Дай мне крыло! И от меня потребуй  
мое крыло. . . И — вместе в вышину!  
Пусть внук услышит наших крыльев трепет  
и боль двух песен, слившихся в одну!

52

Стихи начать — как жизнь построить снова,  
и не могу я разгадать черед  
живых приливов и отливов слова,  
хоть душу мне зародыш песни жжет.

Что стоит стих, с которым из гортани  
душа не хлынет? На его призыв  
не отзовется горных вод журчанье,  
цветок не вздрогнет, венчик приоткрыв.

Скажи мне, песня, что твоя основа?  
Отрада ближних, боль от ран моих,  
дождь — воспитатель хлеба золотого —  
или туман в морщинах гор седых?

Рябь на воде? Плоты на синей глади?  
Дыханье сена, сметанного в стог?  
Иль у моей единственной во взгляде  
за огоньком бегущий огонек?

Начать стихи не легче, чем сомненья  
стереть — сплошную ржавчину с души,  
в кустах найти кольцо, в одно мгновенье  
звезду избрать (все в небе хороши).

Нет во вселенной силы непреклонной  
мечты, возвращенной сердца глубиной.  
Стих — это ладан тлеет на ладони,  
стих — это юность спорит с сединой.

1957

### 53. РАБОТА

Настоящий поэт осторожен и скуп.  
Дверь к нему изнутри заперта.  
Он слететь не позволит безделице с губ,  
не откроет не вовремя рта.

Как блаженствует он, когда час молчалив!  
Как ему тишина дорога!  
Избалованной лиры прилив и отлив  
он умеет вводить в берега.

Я сдержать налетевшего чувства не мог,  
дал сорваться словам с языка,  
и, как вылитый в блюде яичный белок,  
торопливая строчка зыбка.

И, как раньше, в часы недовольства собой —  
образ Важа Пшавела при мне.  
Вот он сам, вот и дом, вот и крыша с трубой,  
вот и купы чинар в стороне.

И, как к старшему младший, застенчив и нем,  
подхожу я к его очагу  
и еще окончательнее, чем перед тем,  
должных слов подыскать не могу.

Я ишу их, однако, и шелест листа  
пробуждает под утро жену.  
Мы читаем сомнительные места.  
Завтра я их совсем зачеркну.

И начальная мысль не оставит следа,  
как бывало и раньше раз сто.  
Так проклятая рифма толкает всегда  
говорить совершенно не то.

1940

## 54. ГНЕЗДО ЛАСТОЧКИ

Под карнизом на моем балконе  
ласточка гнездо проворно вьет  
и, как свечку в выгибе ладони,  
жар яйца в укрытье бережет.

Ласточка искусней нижеет прутья,  
чем иглой работает швея.  
Это попеченье об уюте  
сказочнее пенья соловья.

Может быть, помочь мне мастерице?  
Я в окно ей кину свой дневник.  
Пусть без связи выхватит страницу  
и постелет, словно половик.

Даже лучше, что, оставшись втуне,  
мысль моя не попадет в печать.  
Пусть она у бойкой хлопотуньи  
не шутя научится летать.

И тогда в неузнанном обличье  
грусть, которой я не устерег,  
крыльями ударивши по-птичьи,  
ласточкою выпорхнет из строк.

Не летите прочь от нас, касатки!  
В Грузии вам ласка и почет,  
четверть века вскапывали грядки,  
почки набухают круглый год.

Грузия весь год на страже мая,  
в ней зима похожа на весну.  
Я вам звезд на гнезда наломаю,  
вас в стихи зимою заверну.

Режьте, режьте воздух беспредельный,  
быстрые, как ножниц остря!  
Вас, как детство, песней колыбельной  
обступила родина моя.



Что же ты шарахаешься, птаха?  
Не мечись, не бейся — погоди.  
Я у слова расстегну рубаху  
и птенца согрею на груди.

1940

## 55. НАЧАЛО

О стихи, я бы вас начинал,  
начиная любое движенье.  
Я бы с вами в ночи ночевал,  
я бы с вами вступал в пробужденье.  
Но когда лист бумаги так бел,  
так некстати уста молчаливы.  
Как я ваших приливов робел!  
Как оплакивал ваши отливы!  
Если был я присвонть вас рад,  
вы свою охраняли отдельность.  
Раз, затеяв пустой маскарад,  
вы моею любимой оделись.  
Были вы — то глухой водоем,  
то подснежник на клумбе ледовой,  
и болели вы в теле моем,  
и текли у меня из ладоней.  
Вас всегда уносили плоты,  
вы погоне моей не давались,  
и любовным плесканьем плотвы  
вы мелькали и в воду скрывались.  
Так, пока мой затылок сидел  
и любимой любовь угасала,  
я с пустыми руками сидел,  
ваших ласк не отведав нимало.  
Видно, так голубое лицо  
звездочет к небесам обращает,  
так девчонка теряет кольцо,  
что ее с женихом обручает.  
Вот уже завершается круг.  
Прежде сердце живее стучало.  
И перо выпадает из рук  
и опять предвкушает начало.

1940

## 56. ТРЕТЬЯ ПРИПИСКА

Когда на рассвете я рифмы искал —  
Мой край благодатный сверкал новизною,  
И стих отраженьем ее заблистал,  
И я прослезился внезапной слезою.

Сомненья мои далеко-далеко,  
Я предан своим убежденьям и узам.  
Но тайное чувство найти нелегко,  
Такое, что было б неведомо музам.

Я вновь начинаю с печалью писать,  
Гадаю, когда бы и чем вдохновиться.  
Мечта поднимает свои паруса  
И в поиски новых просторов стремится.

Лишь зрелые души слагают стихи,  
Лишь зрелое сердце искрится огнивом.  
О скалы Фазиса, вы так высоки,  
Но стих вас достигнет в стремленье ревнивом!

Его не упрячешь в уюты теплиц,  
Он жизнью замешен, а это не просто,  
Он сложен, как сложные линии лиц,  
Исполненных ясности и благородства.

А если у голоса нота одна,  
То правда стирается от повторенья.  
Поэзия! Ты в новизну влюблена,  
Ты вечно нова со времен сотворенья!

1940

### 57. ТЕЙМУРАЗ ОБОЗРЕВАЕТ ОСЕНЬ В КАХЕТИИ

Уже октябрь. Я брошен лозняками  
к развалинам. Над башенным углом  
сидит печальный Теймураз в былом,  
даль обводя угасшими глазами.

Поэт-властитель одряхлел как будто,  
разорена врагом его страна.  
Он жаждет разорвать Ирана пути.  
Надежда — в Имеретии видна.

Ворота Греми крыты черной тканью.  
Окно дворца раскрыл поэт седой,  
холмы, как временем, покрыты мглой,  
и лай собак как будто за веками.

И, вспугнутый, взметнувшись с ветки черной,  
сквозь три столетья голубь к нам летит.  
И Теймураз стиха трубой подзорной  
в грядущее Кахетии глядит.

«Там осень!» — шепчет, как бы сожалая.  
Айва желтеет, зреет виноград.  
Живет Кахетия, и вновь над нею  
и журавли и соколы летят.

Деревья тонут в щебете и звоне,  
с подойниками женщины идут.  
И листья ветру сыплются в ладони  
и крыльями павлиньими цветут.

И туча проплывает над долиной,  
раскроется листва в лесу густом,  
и сгрудит солнце огненным клинком  
цвета пунцовый, золотой и синий.

Янтарный, желтый, красный и зеленый  
цвета трепещут, блещет синь волны.  
И блеск листвы, и ясность небосклона  
у юношей в глазах отражены.

И в этот мир, живой и шумный, бросив  
в Ширазе выкованный горький стих,  
поэт сказал: «Тебя воспел я, осень,  
но задыхаюсь средь щедрот твоих.

Всё досказать хотел бы я, да поздно:  
жизнь замерла, как звук шагов вдали.  
О матери в слезах шумели сосны  
и мне печаль великую несли.

Себя и мать, казненную Аббасом,  
я в дань моей Кахетии принес.  
Я стал певцом, и был мне дан Ширазом  
строй песен и удел скорбей и слез.

Певца любви и доблести высокой,  
что озарил пергамент волшебством,  
я полюбил в дни юности далекой,  
но, полюбив, пошел своим путем.

Я вкусом винным, пеньем соловьиным  
любви дал имя — в стих оно легло.  
Но вороны меня терзали! Ими  
я сломан, как орлиное крыло.

Стал жить стихом и предал я забвенью  
Кахетии военную звезду.  
Чужбина обрекла меня мученью,  
я старых гнезд в отчизне не найду.

И каждый стих мой вырвали страданья,  
в грядущее мостом кладя его.  
Кахетия, каких созвучий гранью  
луч сохраню я солнца твоего?

А свежий ветер, вспенивая ветви,  
как девушка, в садах смеется нам.  
О судьбах Грузии свистящий ветер  
половицей летит по деревьям.

О новой родине, о счастье, о покое  
по Грузии пронесит он молву.  
И мне б свое гнездо свивать с тобою,  
и мне б там быть с тобою наяву!

Как я вмещу, Кахетия родная,  
твою природу в чуждый строй маджам?  
Хочу сказать, оленя догоняя,  
там, где стоял наш Алавердский храм,

где мой ретивый конь, раскинув гриву,  
летал стрелою, легок и могуч,  
я вижу: вновь сады страны счастливой  
насытил хрусталем полдневный луч.

Вот поле, где я в мяч играл когда-то.  
О, стать бы мне живым среди живых!  
Я пожелал бы с чашею подъятой,  
чтоб, как форель, метался каждый стих;

чтоб, радуя народ игрой всегдашней,  
сверкали строфы, как глаза, в веках!»

Умолк поэт. И день над кровлей башни  
склонился в холодеющих лучах:  
И смотрит на темнеющие пашни  
поэт в густых, как иней, сединах.

Поэт проснулся. С кровли голубь-вестник  
навстречу временам летит с письмом.  
Старик подзорною трубою песни  
следит за быстрым вестника крылом.

И из оконца, дряхлый, темнолицый,  
он вниз глядит, подобно сироте.  
Осенний день в деревне веселится,  
как грузный дядя средь гурьбы детей.

Довольством нашим добрый день утешен.  
Он сыплет зерна щедрою рукой,  
скользит лучом по белым азарпешам  
и листья, словно мысли, вводит в строй;

колеблет рощ багряные наряды  
и почву винным запахом поит,  
как искру, зажигает плод граната,  
сады полками яблок полонит.

Стол для крестьян в хоромах накрывает,  
не видно жалких хижин бедняков,  
отчизны голос с севера зовет,  
и Картли откликается на зов.

Храм Алавердский погрузился в холод,  
лишь он напоминал бы о былом. . .  
Из будущего возвратился голубь,  
и перышка бывшего нет на нем.

И у вина, наполнившего чаши,  
приятнее, чем прежде, вкус и цвет.  
Дол Алазанский осенью украшен,  
и новый почерк на страницах лет.

Везде веселье порождает песню.  
Плоды обильны, радостны труды,  
и невод солнца с высоты небесной,  
блистая, упадает на сады.

И мир не тот, каким он был когда-то,  
и век иной повсюду утверждён,  
здесь век семнадцатый на век двадцатый  
глядит — и он, старейший, поражен.

Седой поэт глядит на дол и горы,  
пьёт воду конь, волна шумит, свежа.  
Из чаши выбежал олень Важа,  
и встали в ряд на берегах Иори  
всей Грузии певцы, как сторожа.

И вот к нему стихи как стрелы мчатся —  
крестьянских песен вешняя гроза,  
гремит за нею следом Чавчавадзе,  
и эхом отзываются леса.

И позабыли все, что царь был в Греми,  
лишь песня над могилою цветет.  
О, Греми строфы оживляет время  
и, как мечи, потомкам отдаёт,

«Из тех, кто населяет склоны эти,  
властителя не вспомнит ни один.  
Мой дом исчез, а за чертой столетий  
поэзия царит — не властелин!»

Стих падает подзорною трубою  
из ослабевших старых рук. И вот  
он, прошумев сквозь годы над землею,  
в простом саду крестьянском упадет.

И со стиха обдует пыль крестьянин,  
потом посмотрит сквозь него на свет,  
и столь привычный воздух будет странен,  
совсем другим покажется сосед.

Крестьянин скажет: «Так в то время злое  
слагали песнь про горестную жизнь».  
Как сокола, погладит стих рукою  
и вновь научит подыматься ввысь.

И снова Теймураз невольно дрогнет,  
сражен своим же собственным стихом,  
задернет занавес, захлопнет окна  
в своем покое темном и глухом.

Ключ трижды повернет в двери тяжелой...  
И складками знамен совьются доли,  
века щитами башню заградят.  
Опять колхозники толпой веселой  
идут снимать созревший виноград.

1935

## 58. ВАРДЗИЙСКИЙ ЗОДЧИЙ

Позабытым в веках фоллиантом  
эти двери висят над горой.  
Всё здесь дышит умом и талантом,  
и долина блистает Курой.

Вечерело. На древние своды  
я смотрел, не смыкая очей.  
По уступам, как вешние воды,  
прокатилась громада камней.

Сотни глаз отворив молчаливо,  
надо мною зияла скала.  
Чудо чудное, дивное диво —  
всю округу она стерегла.

Я подумал: «Сколь надо усилий,  
чтоб построить подобную дверь!  
Как здесь имя твое возносили,  
славный мастер, забытый теперь!»

И тогда я представил, как в келье  
ты цедил из кувшина вино,  
как бродил с подмастерьем в ущелье,  
объясняя, сколь чудно оно.

Как измерил ты скалы и горы,  
вдохновенной мечтою томим,  
как скалистые эти просторы  
изукрасил твореньем своим.

Лоно скал укрепив колоннадой,  
ты чертоги воздвиг в глубине  
и четыреста глаз над громадой  
прорубил в каменной стене.

Может быть, и поныне, мечтая,  
посещаешь ты каменный зал.  
Сила духа твоя молодая  
здесь столкнулась с твердынею скал.

Я смотрю: как строка Руставели,  
блещет светлый вардзийский родник.  
Чую сердцем, как в каменном теле  
ты подобьем чертога возник.

Как вместилось столь дивное чудо  
в древний круг ограниченных дней?  
У кого появилась, откуда  
мысль, проникшая в тело камней?

И томит мое сердце утрата —  
позабывтое имя твое.  
Лишь Кура тебя знала когда-то,  
но безмолвно течение ее.



Не к лицу тебе, мастер, забвенье!  
Сквозь ушедшие в вечность года  
не тебя ли мое поколенье  
призывает в столетье труда?

Именованный в книге поэта,  
Руставели бессмертен теперь.  
Но твердыня беспмятна эта,  
и безмолвна вардзийская дверь.

Неужели тебя загубили,  
благодетеля нашей земли,  
колыбель топором изрубили,  
руку, полную сил, отсекли?

Уничтожили дух Возрожденья,  
тот, которым ты скалы сдвигал  
и, достигнув вершины творенья,  
обвенчался с величием скал?

То искусство, с каким напоследок  
ты устроил вардзийский родник?  
Встань из гроба, неведомый предок,  
разорви покрывало на миг!

Не к лицу тебе, мастер, забвенье!  
Сквозь ушедшие в вечность года  
не тебя ли мое поколенье  
призывает в столетье труда?

Ты — наш мастер, ты — наша отрада,  
мы гордимся твоим мастерством,  
и недаром твоя колоннада  
нам твердит о величье твоём.

Мертвый камень мечтами своими  
оживил ты в великой борьбе,  
и коль ты потерял свое имя —  
будет Вардзиа имя тебе!

1936

## 59. ОЗЕРО ЦУПДА

Такая здесь повсюду тишина,  
что кажется, едва взлетит пушинка,  
разбудит нам окрестности она  
и зашумит вардзийская тропинка.

Так думал я, скитаясь меж холмов,  
но озеро, прозрачнее лазури,  
пронзив меня стрелой тростников,  
запело вдруг, воркуя, как чонгури.

Клочком письма тоскующей Нестан  
оно застряло в скалах отдаленных,  
откуда птиц умчался караван,  
где ни лесов, ни зарослей зеленых.

Лишь тростники, как тысяча ресниц,  
колеблются над сонною водою.  
Как грустно без деревьев и без птиц  
качаться им, беседуя с горою!

Но стаи уток, шеи приподняв,  
как барельефы древнего картвела,  
сидят в воде, и стебли тонких трав  
дрожат над ними, наклоняя тело.

Быть может, здесь и ты чинил тростник,  
и на пере, как капельки, висели  
то Веспер, то Меркурий, и на миг  
красавец тигр мелькал среди ущелий.

Быть может, ты, рыдая возле скал,  
здесь озеро оставил, вдохновенный,  
когда слова для песен высекал,  
Хертвисской башней встав перед вселенной.

И озеро теперь — лишь только твой  
застывший вопль, раскрывшееся око  
природы величавой и немой,  
что возле Тмогви блещет одиноко.

И дремлют в нем высокие мечты,  
твои былые мысли и страданья,  
сокровища труда и красоты,  
первоначальных дней воспоминанья.

Приветствуя случайный наш приход,  
шумит тростник над берегом пустынным,  
и ждет тебя, и медленно поет...  
Иль это песнь о гении старинном?

И слов твоих мне слышится прибой,  
как будто ты проходишь над водою  
и, мысль народа чуя за собой,  
как верный лук, сгибаешь стих рукою.

И учишь нас ты словом управлять,  
чтоб наша песнь звенела, как чонгури,  
Чтоб снизошла на воды благодать  
и в скалах Тмогви не стонали бури.

И сладко нам, и стрелы тростников,  
терзаемых в столетии угрюмом,  
встречают солнце на заре веков,  
осыпав нас передрагсветным шумом.

1936

#### 60. МАСТЕРА-ПЕРЕПИСЧИКИ «ВЕПХИСТКАОСАНИ»

На ветхом списке «Вепхисткаосани»  
цветная тушь и пурпур не померкли:  
вот вся земля в полуденном сиянье,  
вот опрокинут тополь в водном зеркале...

Как будто только что монашек истовый  
воскликнул: «Кшш!» —

и пташка заметалась.

Потом он долго книгу перелистывал,  
но гостя в ней пернатая осталась.

Ее художник на листе привесил,  
ей перышки вздувает ветерок.  
А рядом — всё родное поднебесье  
плывет, плывет, синяя между строк.

Не сгинет пташка под охраной львиной  
у башен руставелевских шаири.  
Не сгинет семь столетий с половиной,  
вскормленная родимой яркой ширью.

Зеленый мир по-прежнему теснится  
пред витязем, сидящим у реки.  
И тигры обступили ту страницу  
и лапами касаются строки.

И вспомнил витязь о «Висрамиани»,  
о повести,

похожей на печаль его.

Лицо любимой видит он в тумане,  
в воде и в чаще — розовое зарево.

А там второй в пустыне одичалой  
со звездами родными говорит.  
И только слово песни прозвучало,  
небесный свод сочувствием горит.

Так переписчик и художник рядом,  
усердствуют в товарищеском рвенье,  
и дивным облакается нарядом  
страница в миг ее возникновенья.

И в ней сквозят Иран и Византия  
дымками благовоний, пестрой пряжей.  
Синеет даль, синеют льды седые,  
синеют пропасти родимых кряжей.

Художник — тоже витязь, полный  
доблестным  
восторгом и любовью беззаветной,  
как бы в ночи разбужен ранним проблеском  
иль пеньем петуха передрассветным.

Не целовал он древо крестной муки,  
не кланялся языческим божкам.  
Сжимали кисть его сухие руки,  
и покорялись формы тем рукам.

Как Таризла Автандил, бывало,  
художника вел переписчик грамотный.  
И дружба их народу отдавала  
богатство этой были незапамятной.

Был слышен переклик дозоров башенных  
из Тмогви,  
Вардзии,  
Бостан-калаки



В саркофаге полководец дышит,  
слышен звон меча из-под земли.

И мое, как след резца на камне,  
уцелело в бурях бытие:  
Мцхета нежной матерью была мне,  
да святится сок лозы ее!

Нет реки на белом свете слаще  
отчих рек, обетованных мне.  
Я — олень, их верный друг, трубящий  
с высоты Армази по весне.

1943

2

**РАЗДУМЬЯ О СЕРАФИТЕ**

Как вникал я в твоё многолетие, Мцхета.  
Прислонившись к тебе, ощущал я плечом  
Мышцы трав и камней, пульсы звука и цвета,  
Вздых стены, затруднённый огромным плющом.

Я хотел приобщить себя к чуждому ритму  
Всех старений, столетий, страстей и смертей.  
Но не сведущий в этом, я звал Серафиту,  
Умудрённую возрастом звезд и детей.

Я сказал ей: «Тебе всё равно, Серафита:  
Умерла, и воскресла, и вечно жива.  
Так явись мне воочью, как эта ракета,  
Как Армази, созвездия и дерева.

Не явилась воочью. Невнятной беседой  
Искушал я напрасно твою немоту.  
Ты — лишь бедный ребенок, случайно бессмертный,  
Но изведавший смерть, пустоту и тщету.

«Всё тщета! — я подумал. — Богатые камни  
Неусыпных надгробий — лишь прах, нищета.  
Всё тщета! — повторил я. И вздрогнул: — А Картли?  
Как же Картли? Неужто и Картли — тщета?»

Ничего я не ведал. Но острая влага  
Округлила зрачок мой, сложилась в слезу.

Вспомнил я — только ель, ежевику и благо,  
Снизшедшее в этом году на лозу.

И пока мои веки печаль серебрила  
И пугал меня истины сладостный риск,  
Продолжала во веки веков Серафита  
Красоты и бессмертия детский каприз.

Как тебе удалось — над убитой боями  
И воскресшей землею, на все времена  
Утвердить независимый свет обаянья  
Золотого и прочного, словно луна?

Разве может быть свет без источника света?  
Или тень без предмета? Что делаешь ты!  
Но тебе ль разделять здравомыслие это  
В роковом заблужденье твоей красоты!

Что тебе до других? Умирать притерпелись,  
Не умеют без этого жить и стареть.  
Ты в себе не вольна — неизбывная прелесть  
Не кончается, длится, не даст умереть.

Так прощай или здравствуй! Покуда не в тягость  
Небесам над Армази большая звезда —  
Всем дано претерпеть эту муку и благодать,  
Ничему не дано миновать без следа.

1941

3

### ХВАЛА СЕРАФИТЕ

Ветвь Армази несравненная,  
Мцхеты дар благословенный,  
Снится ли тебе вселенная  
Или снишься ты вселенной?

Кем ты названа по имени?  
Где ты, где ты, Серафита?  
Серафита, посети меня,  
Прилети, плющом повита.

Красота твоя не сгнула,  
Ты, меловых гор жилица,  
Пламень свой из гроба вынула —  
Пусть хоть пепел возвратится.

Голоса ли прежней силою  
(Иль за гробом света мало?)  
Ты свою девятикрылую  
Душу в склепе удержала?

Древний путь затерян в памяти —  
Встань, дитя, на перевале,  
Подари нас хлебом памяти,  
Спой, как мы с тобой певали.

Серафита, будь попутчицей —  
Сапурцлия или Мцхеты, —  
О как ждет, как песней мучится,  
Как томится сердце это!

Тень, в гробу запечатленная,  
Песня на холодном камне,  
Не озябни, сокровенная, —  
Ты как сон, как явь нужна мне.

Шелк твой веет над долиною.  
Встань, как встарь, необычайна.  
Кто ты, Грузия старинная,  
Ревность ты моя и тайна?

1941

4

**ЗОВУ СЕРАФИТУ**

Не умерла, не предана земле.  
Ты — на земле живешь, как все.  
Но разве,  
Заметив боль в пораненном крыле,  
Не над тобою плакал твой Армази?

О, как давно последние дары  
Тебе живая суeta дарила!  
С тех пор я жду на берегах Куры  
И засухой опалена долина,



Не умерла.  
И так была умна,  
Что в спешке доброты и нетерпенья  
Достиг твой шелест моего гумна:  
Вздых тишины и слабый выдох пеня.

Что делаешь? Идешь?  
Или пока  
Тяжелым гребнем волосы неволишь?  
Не торопись.  
Я жду тебя — века.  
Не более того.  
Века всего лишь.

Еще помедли, но приди. Свежа  
И не трудна твоя дорога в Мцхету.  
Души моей приветная свеча  
Уже взошла и предается свету.

Уж собраны и ждут тебя плоды  
И лакомства, стесненные корзиной.  
Как милосердно быть такой, как ты:  
Сюда идущей и такой красивой.

В молчании твой голос виноват.  
Воспой глубоким горлом лебединым  
И виноградаря, и виноград,  
И виноградники в краю родимом.

Младенческой песней умудрен,  
Я разгадаю древние затей  
И вызволю из тесноты времен  
Отцов и дедов доблестные тени.

Бессмертное не может быть мертво.  
Но знает ли о том земля сырая,  
Ошибку ожиданья моего  
Оплакивая и благословляя?

Как твой удел серьезен и высок:  
В мгновенных измененьях мирозданья  
Всё бодрствует великий голосок  
Бессмертного блаженства и страданья.

1941

ГРАНАТОВОЕ ДЕРЕВО  
У ГРОБНИЦЫ СЕРАФИТЫ

И встретились:  
Бессмертья твоего  
Прекрасная и мертвая громада  
И маленькое дерево граната,  
Возникшее во мгле из ничего.

Ум дерева не ведает иной  
Премудрости:  
Лишь детское хотенье  
И впредь расти, осуществлять цветенье  
И алчно брать у щедрости земной.

Не брезгуя глубокой тьмой земли,  
В блаженном бессознании умнейшем,  
Деревья обращаются к умершим  
И рыщут пользы в прахе и пыли.

Но что имел в виду живой росток,  
Перерастая должные границы,  
Когда проник он в замкнутость гробницы  
И в ней сплоченность мрамора расторг?

Влекло его твое небытие  
Пройти сквозь твердь плиты непроходимой,  
Чтобы припасть к твоей руке родимой,  
Удостоверясь в тонкости ее.

С великим милосердием дерев  
Разнял он узкий холодок браслета  
И горевал, что ты была бессмертна  
Лишь вечно, лишь потом, лишь умерев.

Гранат внушал запястью твоему  
Всё то, что знал об алых пульсах крови  
В больших плодах, не умещенных в кроне  
И по ночам слетающих во тьму.

Он звал тебя узнать про шум ветвей  
С наивностью, присущею растениям, —  
Истерзанный тяжелым тяготеньем,  
Кровотеченьем спелости своей.

Какая же корысть владела им,  
Вела его в таинственные своды  
Явить великодушие природы —  
В последний раз! — твоим рукам немым?

Не Грузии ли древней тишина  
Велит очнуться песенке туманной:  
«Зачем так блещут слезы, мой желанный?  
Зачем мне эта легкость тяжела?»

Не Грузии ли древней колдовство  
Велит гранату караулить плиты  
И слабое дыханье Серафиты  
Не упускать из сердца своего?

#### 66. НИКОЛОЗУ БАРАТАШВИЛИ

Смывая след полуденного жара,  
о камни бьется в сумраке Кура.  
Склонилась над водой твоя чинара,  
поникли ветви в брызгах серебра.

Я шел к тебе. И ночь стихом дохнула,  
и тень твоя покрыла берега.  
Твоя строфа в струях Куры мелькнула,  
как девичья блестящая серьга.

Здесь на Мтацминде ты встречал закаты,  
вправляя в стих, как изумруд в кольцо,  
и одиночество, и боль утраты,  
и Кетеваны тонкое лицо.

В твоем стихе печальный звук чонгури,  
и ропот рек, и горечь дум слились,  
и крыльев шум, подобный шуму бури,  
коня Мерани, скачущего ввысь.

Быть может, голос древнего героя  
позвал тебя из глубины веков,  
из мглы времен, разбуженных тобою,  
и сердце вздрогнуло, почуя зов.

О сердце, сердце! Пепел дней бесплодных...  
Не для того ль от тайного огня  
сгорала жизнь, чтоб в тьме ночей холодных  
ты видел взлет крылатого коня?

И Грузия твой голос полюбила,  
и за тобою шла Кура как тень,  
и звезды провожали Автандила,  
пока с востока не забрезжил день.

И Автандил спешил тебе навстречу,  
в движенье звезд угадывая путь,  
чтоб исцелить израненные плечи,  
отвагу рыцаря в тебя вдохнуть.

Кровь воина в тебе заговорила.  
Неукротимый! Ты воспел простор...  
Теперь земля Мтацминды приютила  
певца и странника под сенью гор.

И вот ты спишь. Пришла пора покоя.  
Ты отдохнешь в тени чинар густых.  
Свет мудрости плывет над головою,  
а вещей голос навсегда затих.

Ты спишь. Но нет. Не может быть!

Послушай!

Не может тот, кто мчался на коне,  
отдать могиле солнечную душу  
и шум Арагви позабыть во сне.

Твой стих пронесся по горам в тумане,  
вставая перед жизнью на дыбы.  
Я слышу свист и шелест крыл Мерани,  
гул вечности, дыхание судьбы.

Не умер ты, твой стих не умирает.  
И вижу я: Мерани вновь летит.  
Кура тревожным всплеском повторяет  
с Мтацминды долетевший звон копыт.

Теперь поэта ждет судьба иная, —  
взлети по кручам в отсветах зари  
и, стих заздравной чашей поднимая,  
о Грузии свободной говори.

Умолк давно твой ворон, вестник скорбный.  
Взгляни вокруг! Преград полету нет!  
Цветет земля. Промчись тропею горной,  
и на Мтацминде встретит нас рассвет.

1938

#### 67. У КАМИНА ВАЖА ПШАВЕЛА

Как келья отшельника дом твой в Чаргали,  
и буки чернеют, как сажа в печах, —  
весь путь они в изморозь рядом шагали,  
так вот твой хваленый когда-то очаг!

Ты сам его выложил в виде камина,  
чтоб в доме живое иметь существо.  
Ты в комнате этой, немного пустынной,  
поставил и глиной обмазал его.

Ты клал кирпичи по натянутой нитке  
и вывел под звезды кривой дымоход,  
чтоб с искрами вместе души пережитки  
кружащимся вихрем несло в небосвод.

Увидев, что в жизнь воплотилась затея  
и в обществе с нею — уже не один,  
ты в творческой жадности, как Прометей,  
к простенку в углу приковал свой камин.

Когда ты приделал железные дверцы  
и выюшку для тяги пред топкой прожег,  
в счет будущей неги ты пламенем сердца  
каминное устье ссудил под залог.

И вот началось бушеванье растопки.  
Посыпались искры, послышался гул,  
как будто свой голос и опыт неробкий  
ты ветру поведал и в уголь вдохнул.

Как обе Арагви на водоразделе  
текут, не сливая воды двух цветов,  
так жизнь твоя знаменовала в ущелье  
границу людских поселений и льдов.

Шел дождь, словно сыпали на пол пшеницу,  
от струй поднимался светящийся пар,  
и, видя, что солнце за тучей садится,  
спускался орел на одну из чинар.

Сушилась развешанная одежда,  
шипя, закипала вода в котелке,  
и были на музыку горы похожи,  
безмолвные после дождя, вдалеке.

Здесь зимние ночи, не ведая лени,  
писал ты без устали, неутомим.  
Ты весь был как пламя — порыв и горенье  
и, с пламенем рядом, соперничал с ним.

Я — отпрыск творений твоих и героев,  
и книг твоих отзвук, и мыслей двойник,  
и, душу на лад твой посмертный настроив,  
по шелесту леса в Чаргали проник.

И вот я в Чаргали. Шумит непогода.  
Растапливаю. Запылала смола.  
И первое, что я встречаю у входа, —  
простертого вширь над камином орла.

Смотря на меня с нескрываемой злобой,  
он, как самозванца, встречает меня,  
как будто я с мыслью какой-то особой,  
тебя унижая, сижу у огня.

Орел свирепеет от огненных знаков.  
Он в отсветах пламени весь, как в крови.  
Всю ночь я борюсь с ним, как праотец Яков,  
и утром прошу его: «Благослови».

Мудрец, загадавший полночью зимней  
вот этот рассвет и вот эту мечту,  
будь тоже поддержкою мне, помоги мне,  
шум рощ помоги понимать на лету.

1940

### 68. ГАМАРДЖВЕБА

Муж, полный сил, дитя, старик седой  
под солнцем и луной родного неба,  
когда в дороге встретятся с тобой,  
блеснув очами, скажут: «Гамарджвеба!»

В години бед, в нужде и на пирах  
нас это слово мужеству учило,  
и знал грузин — врагов развеет в прах  
родной земли невянущая сила!

Мы помним предков дивные дела  
и дальний зов старинной славы слышим...  
Мы ныне станем твердо как скала  
и «гамарджвеба» на мечях напишем.

Благословенна храброго рука!  
Нам прадеды желали славной доли.  
Как молния, сверканье клинка  
пусть озаряет грозной битвы поле!

Стояла стража в древних крепостях,  
и пахарь пел, спокоен под защитой, —  
его хранил грузинской рати стяг,  
зовущий к битвам, славою повитый.

И «гамарджвеба» — слово давних лет —  
осталось нам... И слиты в этом слове  
долин зеленых сладостный привет,  
тьнь синих гор и строгий голос крови...

Так пусть теперь наш пыл горит вдвойне!  
Всех к полю брани, родина, потребуй!  
Все встанем в строй, все будем на войне, —  
руке отчизны — войску — гамарджвеба!

Благословен победы нашей путь,  
все, как один, в победу верим свято!  
Грузинский воин, мужественным будь,  
ждет роковая недруга расплата.

Позор и смерть врагу! Победа — нам!  
Бойцам и полководцам — гамарджвеба!  
Несокрушимой армии бойцам —  
от мала до велика — гамарджвеба!

Единой волей воодушевлен,  
народ исполнен праведного гнева,  
врага испепелять клянется он!  
Отечеству родному — гамарджвеба!

1942

69

Перевяжите рану.  
Под голову — седло.  
Обманывать не стану —  
я ранен тяжело.

Олень от раны плачет,  
упавши у ручья,  
и слез своих не прячет,  
но не заплачу я.

Себя я не жалею —  
жалею только вас.  
Был ранен тяжелее  
я в жизни столько раз!

Я замерзал в метели  
и от жестоких слов,  
и спал я на постели,  
постели из шипов.

Вы не берите сбрую,  
седло и кобуру...  
Ведь, если и умру я,  
я всё же не умру!

143



Себя я не отчислю.  
Останусь я в строю.  
Ты жизнь взяла, отчизна, —  
прими и смерть мою!

Снесите на вершину  
меня —  
я так хочу.  
Сосновую лучину  
зажгите, как свечу.

Меня на белом свете  
когда-нибудь весной  
колхидский вспомнит ветер  
и конь мой вороной.

Когда утихнет битва —  
у каменной скалы  
в груди, где сердце было,  
гнездо совьют орлы. . .

1942

## 70. ПОДСОЛНУХИ

Ворон каркает — горя глашатай.  
Кукурузных корней волоконца  
истлевают, и нивы не сжаты,  
и подсолнух не смотрит на солнце,

умирает, согнувшись от боли.  
Стали травы бесцветны и длинны.  
Не шуршит утомленное поле.  
И трепещут от взрывов осины.

Где же пахари? К пажити черной  
наклонилась чинара, тоскуя.  
Уронили подсолнухи зерна  
на полоску землицы сухую.

Спят поля, словно умерших души,  
всё же солнце нашел я за тучей.  
Это солнце никто не затушит  
у преддверия славы грядущей.

Цвет подсолнухов серо-свинцовый.  
Танк топтал их простертые тени.  
Где-то пес завывает дворовый,  
и подсолнухи словно в смятенье.

Ждут и знают, что жизнь на пороге!  
Сгинет враг, и герои вернуться,  
станут снова цветы у дороги  
петь о солнце и к солнцу тянуться.

1942

## 71. СКАЗАННОЕ ВО ВРЕМЯ БОМБЕЖКИ

В той давности, в том времени условном  
что был я прежде? Облако? Звезда?  
Не пробужденный колдовством любовным  
алгетский камень, чистый как вода?

Ценой любви у вечности откуплен,  
я был изъят из тьмы, я был рожден.  
Я — человек. Я — как поющий купол,  
округло и таинственно сложен.

Познавший мудрость, сведущий в искусствах,  
в тот день я крикнул:  
«О земля моя!  
Даруй мне тень!  
Пошли хоть малый кустик —  
простить меня и защитить меня.

Я по колено в гибели! По пояс!  
Я вязну в ней! Тесно дышать груди!  
О школьник обезумевший! Опомнись!  
Губительной прямой не проводи!

Я человек! И драгоценен пламень  
в душе моей!  
Но нет, я не хочу  
сиять замстно!  
Я — алгетский камень!  
О господи, задуй во мне свечу!»

И отдалился грохот равномерный.  
И куст дышал. И я дышал под ним.

Немилосердный ангел современный  
побрезговал ничтожеством моим.

И в этот мир, где пахло, где белело,  
смеркалось, пело, силилось сверкнуть,  
я нежно вынес собственного тела  
родимую и жалостную суть.

Заплакал я, всему живому близкий,  
вдыхающий, трепещущий, живой.  
О высота моей молитвы низкой,  
я подтверждаю бедный лепет твой.

Я видел одинокое, большое  
свое лицо. Из этого огня  
себя я вынес, как дитя чужое,  
слегка напоминавшее меня.

Не за свое молился долговечье  
в тот год, в тот час, в той темной тишине —  
за чье-то золотое, человечье,  
случайно обитавшее во мне.

И выжило оно. И над водою  
стоял я долго. Я устал тогда.  
Мне стать хотелось облаком, звездой,  
алгетским камнем, чистым как вода.

1947

## 72. ОСКОЛКИ ГЛИНЯНОЙ ЧАШИ

Некогда Амрани, рассердившись,  
разбил вдребезги глиняную чашу,  
но осколки ее, желая соединиться,  
с шумом и звоном улетели в небо.

*Из народного сказания*

..И ныне помню этот самолет  
И смею молвить: нет, я не был смелым,  
Я не владел своим лицом и телом,  
Бежал я долго, но устал и лег,

Нет, не имел я твердости колен,  
Чтоб снова встать. Пустой и одинокий,  
Я всё лежал, покуда взрыв высокий  
Землей чернел и пламенем алел.

Во мне скрестились холод и жара.  
Свистел пропеллер смерти одичавшей.  
И стал я грубой, маленькою чашей,  
Исполненной жизни и добра.

Как он желал свести меня на нет,  
Разбить меня, как глиняную цельность,  
Своим смертельным острием прицелясь  
В непрочный и таинственный предмет.

И вспомнил я: в былые времена,  
Глупец, мудрец, я счастлив был так часто.  
А вот теперь я — лишь пустяк, лишь чаша.  
И хрупкость чаши стала мне смешна.

Что оставалось делать мне? Вот-вот  
Я золотыми дребезгами гряну,  
Предамся я вселенскому туману,  
На искру увеличив небосвод.

Пусть так и будет. Ночью как-нибудь  
Мелькну звездой возле созвездья Девы...  
Печальные меня проводят девы  
В мой Млечный и уже последний Путь.

Разрозненность сиротская моя  
Воспрянет вдруг, в зарю соединяясь.  
И может быть, я всё ж вернусь, как аист,  
На милый зов родимого жилья.

Земля моя, всегда меня хранит  
Твоя любовь. И все-таки — ответствуй:  
Кто выручит меня из мглы отвесной  
И отсветы души соединит?

1944  
*У Азовского моря*

### 73. СМЕРТЬ ЛЕШКАШЕЛИ

Смертельно раненный, без сил,  
приплыл с той стороны Баксана.  
Он многим жизнь укоротил  
из неприятельского стана.

И вот, защитник и боец,  
в дыму пылающей долины  
встречал он в муках свой конец,  
подкошенный осколком мины.

Он простонал: «В глазах круги, —  
как бы ища во мне опоры, —  
я умираю. Помогите!» —  
и в высоте увидел горы.

Как лучезарны небеса  
за поясами снеговыми!  
Их выступы как паруса,  
и Грузия моя за ними!

«Смочи мне лоб!» — шепнул он вдруг  
и задышал всё учащенной,  
но испустил внезапно дух,  
пока я воду нес в ладони.

Я стал, не в силах отойти  
от места роковой развязки,  
с водой ненужною в горсти,  
с живой водой из детской сказки.

Я думал: «Уходи, вода,  
назад в подпочвенную жилу.  
Мы с ним из одного гнезда,  
нас буря с домом разлучила.

Мы на краю родной земли  
в одном окопе с ним сидели  
и выход к югу стерегли  
по эту сторону ущелья.

И этот смертный оборот —  
лишь кажущаяся утрата.

Я в живости своих забот  
нашел нечаянного брата».

Был снег нагорный ярко-бел,  
и небо сине за горою,  
и куст смородины горел  
свечою в головах героя.

1942

#### 74. СОН

В Черкессии,  
в черкесской стороне  
лежу в огне от незакрытой раны.  
Мои виденья медленны и странны,  
река в ущелье  
плачет обо мне.

И причитает надо мной гора,  
и всё лютей,  
на самом солнцепеке,  
глубоко провалившиеся щеки  
пылают,  
как дубовая кора.

Над раной пар восходит тяжело,  
на ниве сохнет колос переспелый,  
Черкессии суровые пределы  
туманной пеленой обволокло.  
Обыскивая доли и луга,  
жена страдает в нестерпимом зное,  
и в низком небе  
облачко лепное  
похоже на орнамент очага.

И солонее  
материнских слез  
точащиеся капли  
жгучей крови,  
и не шумит листвою в изголовье  
платан тенистый,  
под которым рос.

В теснине раскаляется гранит,  
из горловины  
пышет,  
как из домны.

И на моей руке орел огромный,  
как на суку надломленном, сидит.

Он рану не когтит и не клюет,  
он восседает на руке  
державно  
и крыльями помахивает плавно,  
как будто собирается в полет.

И от движенья крыльев  
надо мной  
редет зной и ширится прохлада,  
а ране только этого и надо —  
и облачко мне кажется женой.

Оно  
от человеческих забот  
слезами истекает над долиной,  
но я заботой окружен  
орлиной, —  
орел мне пищу в клюве подает.

Одним крылом  
он песню заслонил,  
другим крылом высушивает рану,  
и верю я,  
что исцелюсь и встану, —  
и устремлюсь в дорогу, полон сил.

И вот уже дорога та видна,  
над нею крылья распростерла птица,  
Тяжелый сон  
в Черкессии мне снится,  
Светает. Продолжается война.

1943

## 75. МЫ В МОРЕ ЗАПЛЫЛИ

Опасною ночью мы в море ушли,  
Блестящее небо светилось во взорах.  
Но что же мне делать вдали от земли —  
Тобою дышать или думать о звездах?

О, как бы ты вздрогнула, вдруг увидав  
Наш катер, окутанный тьмой и волнами.  
Я воин, а ты виноградник, я прав,  
Оставив тебя далеко за горами.

Но как ты решилась меня отпустить,  
Неужто не дрогнуло сердце от горя?  
Рискует, но всё же пытается плыть  
Наш катер-смельчак, обезумевший в море.

Но с робостью, видимо, я не знаком,  
Рука не дрожит при крутых поворотах,  
Готов я вплотную схватиться с врагом  
На всех девяти безымянных дорогах.

Пусть мина стоит на одной из дорог —  
Я на берег выброшен буду волною.  
Ты к берегу выйди на желтый песок  
И щедрые слезы пролей надо мною.

Нет, я не исчезну, не кану на дно,  
Не рухну, как буйвол, мыча бессловесно,  
Лишь сердце останется рассечено  
И две половины тебе вернет бездна.

Родимому краю одну подари,  
Согрей на груди половину другую.  
Пусть сердце мое неустанно горит,  
Тебя утешая в минуту такую!

А катер без усталости крутит винтом,  
В туманах скрываются волн караваны.  
Ты так далеко за высоким хребтом...  
Мечтать о тебе ли, смотреть ли в туманы?



Не страшно по морю пустынному плыть.  
От близости пуль мое сердце не плачет.  
Упрямой волне меня в море не смыть,  
Любовь и надежда в тумане маячат.

1943

## 76. ДЕТСКИЙ ПЛАЧ

Деревню разбомбили самолеты,  
Облили землю ливнем из металла.  
Я был в землянке, а неподалеку  
Испуганная девочка лежала.

Объятые землей, огнем и прахом,  
Мы замерли в землянке, как в могиле,  
Ее глаза, наполненные страхом,  
«О, помогите мне!» — меня молили.

Снаряд ударил в реку, поднял брызги,  
Осколки с грязью по земле хлестнули,  
И петушиный крик раздался близко  
И тут же замер в грохоте и в гуле.

Ребенок плакал: «Помогите, дядя!»  
Он трепетал, как слабое растенье,  
И, в детские глаза-озера глядя,  
Я ниоткуда не видал спасенья.

Ребенок плакал: «Дядя, помогите!»  
А чем помочь, когда в землянке душной,  
Как погребенный заживо в могиле,  
Лежишь распластанный и безоружный?

И я подумал: расскажу ей сказку,  
Которая кончается счастливо,  
Но всё забыл — начало и развязку,  
Когда снаряд обрушился на иву.

Вокруг стояли крики и стенанья,  
А мы полузарыты, как в могиле...  
О, это неизбывное страданье  
И детский шепот: «Дядя, помогите!»

Под ливнем пуль, под грохотом бомбежки  
Я был не в силах к сказке возвратиться...  
Прошли года. Все стежки и дорожки  
Позаросли,  
А этот плач всё длится.

Где б ни был я — в горах или в долине,  
Брожу в полях, ромашки обрываю,  
Но этот плач в моих ушах поныне,  
Я этот плач нигде не забываю.

Фиалки расцветают на Мтацминде,  
Сползает снег с усталого нагорья.  
А я всё слышу: «Дядя, помогите!»  
И раны открываются от горя.

### 77. КТО СКАЗАЛ...

Кто сказал, что будто бы мала  
моя отчизна, Қартли дорогая,  
что словно малый диск она легла?  
Кто выдумал: мала земля родная?

А ну, поставь-ка скалы сверху скал.  
В их серебре, в туманной пене,  
орлиных крыльев у виска  
послушай-ка и трубный крик оленей.

И крепостей на всех вершинах мощь  
измерь-ка мастера глазами,  
все собери ты краски наших роц,  
их в тьме времен уже сиявший пламень.

Измерь-ка крылья ураганов гор,  
ущельями зажатых и ревущих,  
измерь-ка рек клокочущий костер,  
льды купола, вонзившиеся в тучи.

Рукою, что в бою закалена,  
коснись ворот Дербентских, взятых в сече,  
тогда откроется она —  
моей отчизны бесконечность!

Кто сказал, что будто бы мала  
моя отчизна, Қартли дорогая,  
что словно малый диск она легла?  
Кто выдумал: мала земля родная?

1944

## 78. У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ

Таает утренней дымки завеса  
и лучи простирает восток  
там, где волны в теснине ЗАГЭСа  
создают электрический ток.

Мцхет Арагвой обвит и Курою...  
Где б я ни был, рассветной порою,  
лишь глаза на мгновенье закрою,  
вижу — Ленин стоит над Курой.

Вижу — Ленин стоит над волнами,  
озирая земли торжество,  
и листва Зедазени, как знамя,  
за плечами шумит у него.

Смотрит пристально он с пьедестала,  
как цветут берега над водой  
там, где прежде волна клокотала,  
в белой кипени, в пене седой.

Пробудились деревья во Мцхете  
в чистом цвете живого луча,  
и сверкнул этот луч на рассвете,  
словно мысль над челом Ильича.

И красую увенчаны строгой  
гордых скал вековые верхи,  
где Военно-Грузинской дорогой  
Пушкин шел, сочиняя стихи.

Где ветра возносили впервые  
над снегами нагорий седых  
сочиненный поэтом России  
воспевающий Грузию стих.

И прекрасен рассветной порою  
гор Кавказа незыблемый строй.  
Там, где Ленин стоит над Курою,  
загорается свет над Курой.

Этот свет величав и нетленен  
в нашей жизни, в трудах и в бою.  
И меж всеми народами Ленин  
делит светлую мудрость свою.

1947

### 79. МАТЬ ГРУЗИИ

Бывает, мнится, что из мглы времен  
Я выехал однажды на коне.  
Был долгим путь. Но потрудился он,  
Чтоб современность стала ясной мне.

Глядят в меня прошедшие века,  
Чтоб наши дни узнать сквозь сумрак злой...  
Ковш держит материнская рука,  
Наполненный слезами и землей.

Весь лик ее морщинами пробит.  
Кахетию оплакивает мать.  
О Гванце безутешная скорбит,  
Ресницы разучившись подымать.

Но над Казбеком рассвело уже.  
К его вершинам рвусь я издали.  
И слезы материнские в ковше,  
Как розы, вострепнувшись, зацвели.

Тех слез горячих ножевая боль  
Доспехи накаляла добела,  
Земле грузинской сохранила соль,  
Под плиты к мертвым ветер принесла...

Смотри же, мать! Счастливую звезду  
Твой сын любимый держит над судьбой.  
Ты счастлива. Светло в твоём саду.  
Позволь на землю пасть мне пред тобой!

Сними лечаки траур с головы.  
Остались беды за спиной в ночи.  
Пусть седина под платом синевы  
Трепещет, как рассветные лучи.

Не нахожу достойных слов любви.  
Твои следы целую я в пути.  
О мать моя! Народ благослови!  
Грядущие дороги освети!

Чтоб свет твоих неувядавших роз  
За рубежи струился. И еще —  
Чтоб сердце, не страшась гроз,  
Во все века стучало горячо.

1940

## 80. ПОРА СЕНОКОСА

Пора сенокоса — и косу я правлю,  
зарей серебрю и подругу зову,  
зову тебя, жизнь, заклинаю и славлю —  
приди! Для тебя расстилаю траву.

Дай силы на труд до соленого пота,  
с корзинами, полными туты, приди,  
со мной поделись повседневной заботой  
и сон подари у тебя на груди.

А помнишь — мне засуха кости крушила,  
но всё ж целину подымал я весной?  
С шестой пятилеткой души легкокрылой,  
как с песней, теперь возвращаюсь домой.

Мой долг — эту сталь заострить на точиле  
мечты и до блеска зари довести.  
О, только б теснее меня обхватили  
объятья твои! Подойди! Обхвати!

И если я в поле прилягу на камни,  
окликни меня, разбуди, не жалея,  
молю: будь и в старости ясно видна мне,  
как в пору зари отгоревшей моей.

Влюбленное сердце безумно и жадно, —  
возьми его, милая, не прекословь,  
сожми; пусть прольется, как сок виноградный,  
на нивы грузинские жаркая кровь.

1956



## 82. ДЕВЯТЬ ДУБОВ

Мне снился сон — и что мне было делать?  
Мне снился сон — я наблюдал его.  
Как точен был расчет — их было девять:  
дубов и дэвов. Только и всего.

Да, девять дэвов, девять капель яда  
на черных листьях, сникших тяжело.  
Мой сон исчез, как всякий сон. Но я-то,  
я не забыл то древнее число.

Вот девять гор, сужающихся кверху,  
как бы сосуды на моем пути.  
И девять пчел слетаются на квеври,  
и квеври тех — не больше девяти.

Я шел, надежду тайную лелея  
узнать дубы среди других лесов.  
Мне чудится — они поют «Лилео».  
О, это пенье в девять голосов!

Я шел и шел за девятью морями.  
Число их подтверждали неспроста  
девять ворот, и девять плит Марабды,  
и девяти колодцев чистота.

Вдруг я увидел: посреди тумана  
стоят деревья. Их черты добры.  
И выбегает босиком Тамара  
и девять раз целует те дубы.

Я исходил все девять гор. Колени  
я укрепил ходьбою. По утрам  
я просыпался радостный. Олени,  
когда я звал, сбегали по горам.

В глаза чудес, исполненные света,  
всю жизнь смотрел я, не устав смотреть.  
О, девять раз изведавшему это  
не боязно однажды умереть.

Мои дубы помогут мне. Упрямо  
я к их корням приикну. Довезти  
меня возьмется буйволов упряжка.  
И снова я сочту до девяти.

1959





### 84. ПЕСНЯ

Я — путник, я шел по ущелью,  
Спешил в Трналет из Атени,  
И, как шелковичные черви,  
Отары в горах шелестели.

Орешник стелил предо мною  
Свои беззаботные тени.  
Деревья шумели листвою,  
А по небу птицы летели.

Догнал я мальчишку и деда,  
Которые шли спозаранку.  
Овечьи отары к рассвету  
Спускались с горы на стоянку.

Дед вел мальчугана за руку,  
Мы вместе дошли до селенья.  
И старец подобен был внуку  
В ребяческом увеселенье.

Орешник стелил предо мною  
Свои беззаботные тени.  
Деревья шумели листвою,  
А по небу птицы летели.

1948

### 85. СТАРИК ИЗ АТЕНИ

В кувшин подземный для вина  
забрался дед с большой скребницей,  
на небо смотрит он со дна,  
бормочет, булькает водницей.

Потратил он немало сил  
на виноградниках Атени,  
но, как колхозный старожил,  
хлопочет вновь, не зная лени.

Внизу прохладно и темно.  
О чем поет он там, как дома?  
И я взглянул к нему, на дно,  
как бы сквозь горло водоема.

Задравши голову, старик  
внизу, как облако, клубился.  
Он тер кувшин и каждый миг  
из тьмы на солнышко дивился.

Он распростился с ясным днем  
и, как положено от века,  
вину готовил чистый дом,  
подобный дому человека.

Он бормотал, жужжал пчелой,  
он тряс короткую бородку  
и, уж в земле одной ногой,  
как молодой, впивался в щетку.

И я подумал: «Вот так дед!  
Упорен он, как корень дуба!  
Ему без дела жизни нет  
и потому работать любо.

Немолод он, но не сдает  
живое сердце и поныне.  
Настанет срок, и запоет  
янтарный сок в его кувшине!»

1947

## 86. БЫКИ

Что за рога украсили быка!  
Я видел что-то чистое, рябое,  
как будто не быки, а облака  
там шли, обремененные арбою,

Поправились мне красные быки.  
Их одурманил запах урожая.  
Угрюмо-напряженные белки  
смотрели добро, мне не угрожая.

О, их рога меня с ума свели!  
Они стояли прямо и навесно.  
Они сияли, словно две свечи,  
и свечи те зажгла моя невеста.

Я шел с арбой. И пахло всё сильнее  
чем-то осенним, праздничным и сытым.  
О виноградник юности моей,  
опять я янтарем твоим осыпан.

Смотрю сквозь эти добрые рога  
и вижу то, что видывал когда-то:  
расставленные на лугу стога,  
гумно и надвижение заката.

Мне помнится — здесь девочка была,  
в тени ореха засыпать любила.  
О женщина, ведущая быка,  
сестра моя! Давно ли это было?

Прими меня в моих местах родных  
и одари теплом и тишиною!  
Пусть светлые рога быков твоих  
как месяцы восходят надо мною.

1948

## 87. АНАНИЯ

Люблю я старинные эти старания:  
Сбор винограда в ущелье Атени.  
Волов погоняет колхозник Анания,  
По ягодам туты ступают их тени.

Пылает оранжевым шея вола!  
Рогам золотым его — честь и хвала!  
Сквозь них мне безмерная осень видна,  
Уже виноград претерпел умиранье.

Но он воскресает с рождением вина,  
В младенчестве влаги, что зрела века.  
Ведь эта дорога и прежде вела  
Туда, где хранит свои тайны марани.

Ах, осени этой труды и сияния!  
А вон и ореха обширная крона, —  
Как часто под ней засыпал ты, Анашня,  
И было лицо твое славно и кротко.

Меж тем вечереет, и в новой длине  
Все тени бредут в неживой вышине,  
Как луны, мерцают волы при луне,  
И столько добра и усталости в теле.

Как часто всё это припомнится мне:  
Тяжелые скрипы арбы в тишине,  
И, в мирном и медленном лунном огне,  
Анания, и волы, и Атени. . .

1949

### 38. ОЛЕНИ НА ГУМНЕ

Я молод был Я чужд был лени.  
Хлеб молотил я на гумне.  
Я их упрашивал:  
«Олени!  
Олени, помогите мне!»

Они послушались. И славно  
работали мы дотемна.  
О, как смеялись мы, как сладко  
дышали запахом зерна!

Нас солнце красное касалось  
и отражалось в их рогах.  
Рога я трогал — и казалось,  
что солнце я держу в руках.

Дома виднелись. Их фасаду  
закат заглядывал в лицо.  
И вдруг, подобная фазану,  
невеста вышла на крыльцо.

Я ей сказал:  
«О, совпадение!  
Ты тоже здесь? Ты — наяву?  
Но будь со мной, как сновиденье,  
когда засну, упав в траву.

Ты мне привидишься босая,  
босая на краю гумна.  
Но, косы за плечи бросая,  
ты выйдешь за пределы сна.

И я скажу тебе:  
„Оденем  
оленям на рога цветы.  
Напьемся молоком оленьим  
иль буйвольим — как хочешь ты“».

Меж тем смеркается, и вилы  
крестьянин прислонил к стене,  
и возникает запах винный,  
и пар клубится на столе.

Присесть за столик земледельца,  
и, в сладком предвкушенье сна,  
в глаза оленье заглядеться,  
и выпить доброго вина...

1948

### 89. У ИСТОКОВ ЛИАХВИ

Лиахви — мощь,  
Безумная Лиахви.  
Река у древней Картли на груди.  
А ну в ворота гор  
С размаху ахни,  
Все дремлющие горы разбуди!

Иди ко мне  
И удостой удара,  
Чтобы мне сердце вал твой оплескал.  
Ты исполинов нянчила педаром.  
Кто ты —  
Рыданье замков?  
Слезы скал?



### 90. ДИОСКУРИЯ

Гудело море и гудело —  
непобедимый нелюдим.  
То неожиданно седело,  
то становилось молодым.

И всадник с бурею во взоре  
на склоне пасмурного дня  
его увидел, это море,  
сошедши с красного коня.

Вдыхал он гул прибоя мерный.  
Сверкала сабля на боку,  
и след решительный и нервный  
чертила шпора по песку.

В лицо с размаху море било.  
Он в плен, как музыкой, был взят...  
Когда, когда всё это было?  
Две тыщи лет тому назад.

Другие дни, года другие,  
другие на песке следы...  
Но я прошу, Диоскурия,  
дай мне своей живой воды!

Воспоминания в смятенье  
бегут, бегут ко мне на зов,  
как голубые эти тени  
от белоснежных парусов.

Как волны бурные игристы!  
Над ними песни, шепот, смех...  
Абхазцы, лазы и эгрисцы —  
хватило моря нам на всех!



И, как когда-то всадник первый,  
счастливый, к морю я бегу,  
дышу серебряною пеной  
и надышаться не могу.

И капли на щеках морские,  
и долго-долго я стою,  
и я пою Диоскурию,  
пою, как молодость свою!

1950

### 91. МОРЯКИ И ЛЕТЧИКИ

У моря, загорелы и крепки,  
сидели летчики и моряки.

Война их опалила и прожгла.  
И вот они столпились вокруг стола.

И тени их лежали на волне,  
как облака в полдневной вышине.

В соленых брызгах, в пене облаков  
шел праздник летчиков и моряков.

И глаз их зорких светлая лазурь  
еще темнела от недавних бурь.

Над ними туча грозная плыла.  
Но дума их была уже светла,

как отблеск звезд, как отсвет голубой  
прибрежной гальки, брошенной в прибой.

Они играли мирно в домино.  
Их дружество в боях закалено.

Но вот качнулись тени на волне,  
как облака в полдневной вышине.

И от стола, отважны и крепки,  
вставали летчики и моряки.

Их бескозырок и фуражек цвет  
сверкал над синим морем, как рассвет.

Встают они, стройны как на подбор,  
идут, смеясь, как дети мирных гор.

В глазах их отражаются заря,  
и снежный кряж, и синие моря.

1950

## 92. ЭВКАЛИПТЫ

Сколько белых стволов белокорых,  
сколько белых гигантов подряд.  
И заманчивый зелени шорох...  
Эвкалипты над морем шумят.

Стая чаек кружит над волнами  
и пред скалами падает ниц.  
Устремленными в небо ветвями  
эвкалипты похожи на птиц.

То стоят они, словно олени,  
и на море глядят с вышины.  
Издалика пришло приглашение:  
«Эвкалипты, скорей, вы нужны!»

Воздух сильным дыханьем очистив,  
там, где зной и томителен труд,  
вечной музыкой трепетных листьев  
эвкалипты прохладу несут.

Осушая болота в осоке,  
корневища раскинув везде,  
в сапогах своих белых высоких  
эвкалипты идут по воде.

1949

## 93. НА ОЗЕРЕ РИЦА

Что это? Утро над берегом Рицы  
или твои шевельнулись ресницы?

Может быть, собраны чашею скал,  
это лишь слезы твои предо мною?

Светится озеро влагой ночью.  
Выйди ко мне на лесной перевал!

Буком и ясенем заняты скаты.  
Здесь неуместен столетиям счет.  
И не состаришься здесь никогда ты,  
если приляжешь у берега вод.

Срезал тростник я, и вновь у постелл  
буду я петь для тебя на свирели.

Озеро так же поет, как и я.  
Где ты, моя быстрокрылая птица?  
Око природы и мысль бытия —  
ждет тебя в скалах прозрачная Рица.

В сердце она уместилась моем  
и твоему уподобилась взгляду.  
В ней мы сегодня опять узнаем  
нашей отчизны красу и отраду.

Небо — лазурно, вода — изумруд.  
Слава Абхазии, милому краю!  
Около Рицы тебя ожидаю,  
все ее тайны откроются тут.

Пухом ланит твоих, бархатом кожи  
влага подернута, словно с небес  
ринулось в грудь мою, полную дрожи,  
лучшее чудо из наших чудес.

Тени сгустились на озере Рица.  
Щеки твои побледнели, но я  
лишь о тебе продолжаю томиться,  
нежная горная птица моя!

Здесь возле буков и ясеней ночи  
вечная молодость смотрит в волну.  
Дай же и мне заглянуть в твои очи —  
в Рицу мою и ее глубину!

1953

#### 94. ПАСЕЧНИК

Слышишь, липы шумят?  
Старый пасечник трогает соты.  
Вдоль Бичвинтской дороги  
зеленая плещет листва.  
Над Бичвинтской дорогой  
небес голубые высоты.  
Жарким шумом листвы  
я окутаю эти слова.

Слышишь, липы шумят?  
Я присел у забора на камне.  
Посредине двора  
блеклым золотом сохнет табак.  
Вьются пчелы в листве.  
Принеси же скорее, пчела, мне  
Каплю светлого меда,  
чтобы зной ошутить на губах.

Слышишь, липы шумят,  
на душном ветру зацветая?  
В желтоватых цветах  
предо мною они, как в меду.  
Заслони же от зноя,  
цветущая ветка густая,  
и на пасеку я,  
словно в маленький город, войду.

Слышишь, липы шумят?  
«Здравствуй, пасечник, друг мой  
старинный,  
я с тобой по душам  
толковать дни и ночи могу.  
Ты ревниво хранишь  
этот маленький город пчелиный,  
другу — сладостный мед,  
и колючее жало — врагу.

Слышишь, липы шумят?  
Мы толкуем с тобой не впервые,  
ты и сам, как пчела,  
жгучей жаждой труда обуян,

и навстречу тебе  
дышат медом цветы полевые,  
дует ветер с полей,  
возвращаются пчелы с полян.

Слышишь, липы шумят?  
Зноем полдня наполнены соты,  
не растаял еще  
под листвою холодок теневой,  
но горит ярче солнца  
высокое пламя работы,  
и сияньем труда  
городок озаряется твой.

Слышишь, липы шумят?  
Пробудилась трава под ногами,  
и на пестрых цветах,  
как на росном лугу косари,  
ходят пчелы, гудя,  
и над пасекой выются кругами.  
Все пчелиные улья  
скорей, пчеловод, отвори!

Слышишь, липы шумят?  
Наша пасека солнцу открыта.  
Яркий солнечный луч  
на пчелином играет крыле,  
ключевая вода  
в деревянное льется корыто.  
Будет праздник в селе,  
будет мед на колхозном столе.

Напитай меня сладостью  
родины нашей зеленой,  
пусть поющая тень,  
как мечта, прикоснется ко мне.  
Что задумался ты,  
старый труженик неугомонный?  
Слышишь, липы шумят?  
Слышишь, липы шумят в вышине?!»

1950

## 95. УКРОЩЕННОЕ МОРЕ

Темнеет в тихом море полоса  
перед встречей с ливнем, перед самой сечей.  
Луна зажгла рыбацьи паруса,  
и, кажется, горят средь моря свечи.

О чем-то море шепчет в тишине —  
не о каких-то ль сожаленьях поздних?  
Сомнений волны пенятся во мне...  
Да море ль это? Или небо в звездах?

Отправились рыбацьи лодки вдаль,  
молчит вода, покуда не коснется  
ее заря, и, неба высший дар,  
вплывет в рассвет корабль огромный —  
солнце.

Волной отхлыну — поплывет за мной  
соленый запах, принесенный бездной,  
над морем, над округлостью земной,  
над целым миром облака исчезнут.

И корабли я подыму со дна,  
и днища их от раковин отмою...  
И лапой укрощенного слона —  
волной своей — меня коснется море.

1947

## 96. ТОПОЛЬ

Прозрачный тополь на морском побережье  
напоминает шелестом волну  
или, застыв, горит свечою нежной  
и задевает ветками луну.

Он замирает, слившись с темнотою,  
прислушиваясь к морю, чуть дыша.  
Я у окна. Я тоже жду прибоя,  
и шумом веток полнится душа.

Взметенный тополь, мой знакомец давний,  
ты с морем — два подобных существа!

Волна, как тополь, шелестит о камни,  
и, как волна, вверху шуршит листва.

Кто повелел на страже стать деревьям,  
пасти хлеба, свершать бессонный труд?  
Они закату служат опереньем,  
восходу колыбельную поют.

Мне тополь возвращает юность, ниву,  
рионский берег, листьев серебро.  
Там, где-то в детстве, в юности счастливой,  
стан тополя впечатан, как тавро.

Высокий тополь, юности свидетель,  
стучится в двери дома моего.  
Я слышу шорох. Шапку не надеть ли  
и не пройти ли около него?

Волна лепечет сказки мне у пляжа.  
О чем-то шепчет темная листва.  
Здесь — тополя, полей цветущих стража,  
а дальше море — глубь и синева.

1951

### 97. БУЙВОЛЫ

Буйволы — как изваянья.  
Буйволы — как валуны.  
Щурятся и изнывают  
Посреди речной волны.

Снятся им стога, дороги,  
Скрип, тяжелая арба.  
Снятся беды и тревоги,  
Потому что жизнь — борьба.

Вспоминают, как, бывало,  
Богатырским батогом  
Наводнение их сбивало,  
Бычий рев стоял кругом.

Но на это не в обиде  
Буйволы-богатыри.

Снятся рощи Чаладиди,  
Снятся россыпи зари.

Лист как в обмороке замер,  
В ульях сон медовых сот.  
Тишина свое сказанье  
В бычьей памяти несет.

Буйволы в речной прохладе  
Млеют, нежатся, жуют.  
Находившиеся за день,  
Ноги стонут и поют!

98

Балахвани, Сапичхия и Орпири —  
вы у целого света меня отбили!  
Как растили меня,  
как меня баловали

вы,

Орпири,

Сапичхия

и Балахвани!

Я хочу возвратить с нетерпением, с жадностью  
расстояние меж юностью и возмужалостью.

Я хочу возвратить всё минувшее,

канувшее,

возвратить запоздало и виновато.

Я хочу возвратить

ну хотя бы те камушки,

о которые я спотыкался когда-то...

Я протягиваю к вам руки,

птицы —

ласточки и пестрогрудки,

к вам, косматые пчелы сытые,

к вам, цветы золотые и синие!

Кем вы,

кем вы из жизни похищены,

на стога похожие хижины,

фаэтоны высокие, черные,

появленьем авто удрученные?!

Снова слышу я

сверстников речи,



снова сети у речки плету  
и с тобой ожидаю встречи,  
как тогда,  
на Белом мосту...  
О, безмолвные узкие улочки!  
О, родные мои места!  
Здесь раздумья мои,  
как удочки,  
до сих пор стоят у моста.  
Я пришел сюда гостем желанным.  
Я за всё,  
в чем ошибся,  
прошен.  
Я обвит,  
как Риони, туманом  
и, как храм Баграта,  
плющом.  
Я хожу,  
улыбаясь,  
волнуясь,  
вновь поверил я в красоту —  
и свою уж далекую юность  
догоняю на Белом мосту!

1957

## 99. ДУМА О РИОНИ

### 1

Бывало,  
на корнях могучих дуба  
сушу одежду, глядя с высоты,  
как мчатся мимо,  
связанные грубо,  
твои, Риони, зыбкие плоты.

Бывало,  
ты когтишь меня волнами.  
А я плыву,  
плыву,  
плыву,  
плыву.

На берег выйду  
и за валунами  
валюсь в твою колючую траву.

Казалось мне,  
что ты и в самом деле  
передо мной покачивал слегка  
лежащие в зеленой колыбели  
поля,  
туманы,  
горы,  
облака.

Что на меня смотрел отцовским оком  
и надо мной, расщедрившись, зажег  
в грузинском небе,  
ясном и высоком,  
рассвета петушиный гребешок.

В рассветный час поры моей весенней  
ты сеть любви  
закинул в грудь мою  
и окружил ветвями сновидений,  
по милости которых я пою.

Моя любовь с твоей волною схожа:  
порывами восторга и тоски  
ворвалась в жизнь,  
ломаю и корежа,  
удобный мост разрушив на куски.

Как на скрижалях,  
на мосту разбитом  
я ревность вырезал,  
судьбу кляня.  
Но юношеским бедам и обидам  
ты не позволил победить меня.

Ты одарил влюбленных гордой силой,  
ткемалей снег  
рассыпал на пути.  
И камешки свои, как слезы милой,  
помог собрать мне  
в бережной горсти.



У каждой песни есть исток и устье,  
из Рачи песня вылилась твоя,  
неразделимость радости и грусти  
в рождественской мелодии тая.

И снится мне,  
что я сегодня снова  
на берегу оставил след босой,  
дышал парами молока парного  
и душу окропил твоей росой.

Но признаюсь, что этого мне мало, —  
я захотел,  
чтобы твоя волна  
в теснине скалы грозные взломала,  
чтоб новым светом  
вспыхнула она.

Пробив дорогу в каменной громаде  
мешавших твоему движенью скал,  
в моей душе,  
как в небе над Гумати,  
ты увеличил световой накал.

И снятся мне  
твой паводок бурливый,  
клубящаяся полая вода,  
заплаканная тень плакучей ивы,  
Гуматигэс косые провода.

Идут года.  
Всё дальше мы уходим  
от невозвратной юности былой.  
Клуби мои раздумья половодьем  
и сердце рань  
закатною стрелой.

Не дай отстать.  
Не опечаль разлукой.  
А если я устану —  
подожди  
и для меня в ущельях убаюкай  
прозрачные апрельские дожди.

1957

## 100. СВЕТЛЯЧОК

В Гегути ночь еще не побледнела,  
когда во мраке теплом и густом  
стыдливый светлячок-цицинатела  
над придорожным вспыхнула кустом.

Не устремляйся к небу понапрасну, —  
твой свет холодный звездам не родня.  
Погаснешь, а вослед и я погасну,  
цицинатела! Пожалей меня.

Не улетай, не делай жизнь короче!  
О, сколько взглядов за тобой следят!  
Ты — молодая рана этой ночи —  
то Нина, то Натэла, то Асмат.

Возникни снова из ночного дыма,  
останови бесцельный свой полет,  
когда о том, что ты неуловима,  
тростник свирельный плачет и поет.

Твой жгучий след искать не перестану:  
я ранен был на раннем утре дня, —  
так уврачуй же ночью эту рану,  
огнем холодным опали меня.

Его испепеляющую стужу,  
цицинатела, в жизнь мою внедри.  
А если ревность в сердце обнаружу —  
не улетай до утренней зари.

Ночным цветком гори в грузинских селах,  
над Грузией стыдливо расцветай,  
светись во мраке кос ее тяжелых.  
Моя свеча! Не тай! Не улетай!

1957

## 101. СТАРАЯ ЧИНАРА

Как же так, чинара! Почему  
постарела ты, скажи на милость!  
Словно в сердце что-то надломилось,  
словно свет убавился в дому.

Тень твоя состарилась заметно,  
обветшал наряд.  
Раньше листья грохотали медно,  
а теперь, как жечь, они бренчат.

Есть закон, придуманный не мною:  
годы клонят долу всё земное,  
отцветает буйная весна  
и мелькают пестро дни за днями, —  
но твоими властными корнями  
молодость моя оплетена.

1957

### 102. ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ

*Памяти Леси Украинки*

Корнями оплетенная тропинка  
бежит и пропадает вдаль,  
и бронзовая Леся Украинка  
стоит на пьедестале в сосняке.  
Она лечилась тут...  
Вставала раю  
и шла по этой самой же тропе.  
Лежала, легче горного тумана,  
под этою сосною на траве.  
И, натянув на лире корни дуба,  
она в Сураме пела о Днепре —  
и струнами озвученная дума  
звучала над горами на заре.  
Она в природу Грузии внедрила  
украинский задумчивый напев.  
В ней, маленькой,  
жила такая сила,  
что отступал недуг, оторопев.  
Она бежала,  
шишкой в белку метясь,  
как девочка неловка, но быстра.  
И тихо плыл  
грузинский узкий месяц  
в ее глазах,  
как в капельках Днепра.  
И ветерки сурамские стихали,  
когда под сенью хвойного плаща  
лежала Леся,  
звучными стихами  
измученное горло полоща.





Я тебе уготовил супружеский дом.  
Стих, как колокол, стонет и бьется.  
Размышления взвешены в сердце твоём,  
очи черные — глубже колодца.

Ты — грузинской поэзии свет и любовь,  
навсегда ты свободна отныне.  
Твой платок развернулся по ветру,  
и вновь  
я зову тебя — на Украине!

1954

#### 104. СЕВАНСКОЕ ОЗЕРО

Не окропив себя водой Севана,  
в родимый край вернуться не могу.  
Я с перевала опустил рано,  
и тени гор лежат на берегу.

Снимают скалы тусклую кольчугу,  
туман по склонам движется, скользая.  
И мы опять глядим в глаза друг другу —  
Севан и я,  
как старые друзья.

И мнится мне,  
когда иду, считая  
окрестных гор литые купола,  
что охрой голова моя седая  
от зноя покрываться начала.

Двенадцать лет назад  
кольцо Севана  
мне довелось найти меж этих скал —  
всё тот же свет Севана  
неустанно  
с тех пор в глазах любимой я искал.

Я ласку волн севанских взял с собою  
и обронил мечту на берегу,  
и удочку  
над гладью голубою  
увидел, словно тонкую серьгу.

Сегодня вновь к Севану я вернулся  
и ощутил, как сердцу он знаком,  
когда на корни прошлого наткнулся,  
к Севану вновь приблизившись пешком.

Я вижу волн бегущих эстафету,  
рыбачьи лодки,  
крылья парусов.  
За светом братства  
я иду по свету,  
на зов друзей, на дружественный зов.

Опять Севан раскинулся широко,  
косыми парусами осенен.  
Армении задумчивое око,  
в себе так много  
отражает он.

Мы грудь в горах  
отрадой наполняем,  
волну в сердца вселяем, как птенца.  
Севан под солнцем  
обернулся маем,  
и нет ему ни края, ни конца.

Армяне в ясном отсвете озерном  
внедрением весны увлечены.  
Пылает солнце раскаленным горном,  
и на форелях —  
крапинки луны.

За светом братства  
следую по свету;  
но, если сердцем всем не запою  
на берегу Севана песню эту,  
как мне вернуться в Грузию мою?

1953

## 105. ПИСЬМО ДРУЗЬЯМ

Он дошел до меня, этот голос нестрогий,  
как доходит жужжанье далекой пчелы:  
«Почему ты не пишешь мне писем

с дороги?  
Или сделались, может быть, сутки малы?»

Я плечами пожал и помедлил с ответом.  
Что скажу, если в сердце моем навсегда  
поселились друзья и негаснущим светом  
осветили дорогу мою сквозь года.

Если думой о них, словно пчелами улей,  
где б я ни был, всегда мое сердце полно.  
Мы друг другу в глаза не напрасно  
взглянули,  
распахнули сердца, словно в доме окно.

Да и сам я из сердца друзей не исчезну, —  
не они ли когда-то в горах для меня  
в час беды перекинули мост через бездну,  
помогали мне выбраться из-под огня.

У походных костров на коротком привале  
мы навек побратались в просторах земли,  
Волго-Дону дорогу в степях пробивали  
и к Тбилиси порскую воду вели.

И на гребень днепровской плотины взошли мы  
и слышали гулкое эхо шагов.  
О друзья! Ваши помыслы неразделимы —  
вы стоите, как тополи у берегов.

Словно стройные тополи, путь урагану  
преграждаете вы ради ясного дня,  
с вами я против ветра идти не устану,  
в одиночестве враг не застанет меня.

Даже удочку в реку без вас не забросить  
мне, вовеки не знавшему с вами тоски.  
У меня в волосах появляется проседь —  
ваше мужество снегом легло на виски.

Каждый миг мой от вашего мига зависим —  
в этом сила и вечная юность моя.

Но не хватит чернил и бумаги для писем,  
если всем вам ответить попробую я.

Я хочу, чтобы сердце взволнованно билось,  
чтобы море клубилось, вздымая прибой.  
Здравствуй, жизнь! Мне движение твое  
полюбилось,  
я повсюду ищу столкновений с тобой.

Неизменно на труд и на подвиг готовы,  
отрешившие робость, неверье и страх,  
о друзья неразлучные, кто же вы, кто вы, —  
пастухи! Вы стоите, как туры в горах.

Девять гор перешел я и девять ущелий,  
вновь сегодня к равнинам привыкнет мой  
взгляд,  
и друзья, с кем шагал сквозь дожди и метели,  
новой песней в дороге меня окрылят.

1953

#### 106. В СТОРОНУ СЕЛА ШОПЕНА

На польской равнине, в чужой стороне  
мы ищем село Фредерика Шопена.  
Сказанье о чанги мерещится мне,  
и я вспоминаю его постепенно.

Мелькнут в отдаленье развалины стен,  
высокие липы метнутся к машиннам.  
Ударь же по струнам, волшебник Шопен,  
и слезы вчерашней поры осуши нам.

Я знаю, растают снега по весне,  
сотрутся отметины тяжкого плена.  
И пахарь по мирной пройдет целине. . .  
Всё ближе село Фредерика Шопена.

Сосульки, примерзшие к прутьям ветвей,  
за кисть винограда я принял сначала,  
я вспомнил о Грузии милой своей,  
грузинская песня в душе зазвучала.

Отец мой певучий мне вспомнился вдруг.  
Как пел он красиво, легко и степенно.  
Мне жалко, что сын не наследовал слух...  
Всё ближе село Фредерика Шопена.

Мечты, словно искры с огнива, летят,  
хочу, чтоб от песни душа раскололась,  
хочу, чтобы с песней народной в лад  
звучал, по примеру Шопена, мой голос.

Но слух мой неточен. Как сделаюсь я  
наследником песни великой Шопена?  
И стелется по снегу песня моя,  
приветствуя дом Фредерика Шопена.

1952

#### 107. ДОМ ЛЕНИНА В ПОРОНИНО

В пути на Татры, возле поворота,  
за перелеском, на исходе дня  
кликнул дом бревенчатый меня,  
и я вошел в открытые ворота.

Здесь Ленин жил,  
и вести из России  
под этот кров сквозь тысячи преград  
с конспиративной почтой приносили  
подпольщики,  
и Ленин был им рад.

Он у окна просматривал газеты.  
Вершины Татр сияли невдали.  
Дыханьем революции согреты,  
здесь до рассвета совещанья шли.

Здесь на стекле запечатлелись взоры  
глядящего в просторы Ильича.  
И эхо слов хранят ревниво горы,  
и слышен голос горного ключа.

И ленинскими мыслями до края,  
как книжный том, наполнен этот дом;  
здесь на меня, горя и не сгорая,  
зарницы мыслей падают дождем.

Здесь даже дверь — как родины частица,  
открыта для грядущего она,  
и слышу я, как о порог стучится  
истории тяжелая волна.

Когда весной, прохладной и недолгой,  
манили Татры Горного Орла,  
скалистыми ущельями с двустволкой  
его тропа охотничья вела.

Он затевал с крестьянами беседы  
и слушал здесь пастушеский рожок.  
Он сеял искры. Он зарю победы  
под кровлей дома этого зажег.

Густые тучи шли по окоему,  
клубилась мгла над соснами внизу,  
и Ленин в Татрах радовался грому,  
подставив грудь под вешнюю грозу.

Подобен Волге,  
гневно и упорно  
сражающейся с засухой земли,  
здесь Ленин сеял  
мудрых мыслей зерна —  
и нивы Польши дружно расцвели.

Ее земля просторна и богата,  
ее судьба крылата и светла.  
И через двор, где Ленин шел когда-то,  
теперь дорога мира пролегла.

В дверь домика история стучится,  
и домик этот видится тебе,  
как в летописи Истины  
страница  
о ленинской работе и борьбе.

И не однажды я припомню снова  
то, что запомнил сердцем и душой:  
в пути на Татры домик небольшой —  
свободной Польши прочная основа!

1952

## 108. ПИСЬМО ИЗ ТАТР

Мне в Татрах тень какой-то горной птицы  
случайно тень напомнила твою.

Моя любовь  
в разлуке не двоится,  
я жалких клятв любимой не даю.

В такой дали,  
в такой далекой дали,  
туманной пеленой разделены,  
мы друг у друга мысли отгадали,  
одни и те же увидали сны.

На склонах гор  
лежат заката тени,  
дрожат сполохи гаснущего дня.  
И голос твой,  
как теплый дождь весенний,  
меня настиг, лаская и маня.

Мне вспомнилось,  
как маленьким ягненком  
когда-то любовалась ты в горах,  
и с думой о тебе  
в тумане тонком  
набрел я в Татрах на речной овраг.

Донес до слуха ветер хлопотливый  
стук мельницы  
и гул речной струи,  
и, в думах о тебе,  
с апрельской нивой  
я сравниваю волосы твои.

Внизу гремит  
мятежная стремнина.  
Я слышу голос властный и живой,  
в нем два призыва слиты воедино —  
призыв любимой родины  
и твой.

Мы по горам  
бродить любили вместе,  
но в Татрах я один,

и мне нужны,  
мне здесь твои необходимы вести,  
летающие из дальней стороны.

Тебе на зов я песнею отвечу,  
пошлю ее дорогою прямой,  
чтоб голосу любимому навстречу,  
как дождь, спешил  
влюбленный голос мой.

1952

### 109. ВТОРОЕ ПИСЬМО

Без тебя эти горы  
казались бесцветными мне.  
По лесистому склону  
я вверх поднимался устало.  
Но твоими глазами  
гора на меня в вышине  
неотрывно глядела  
и сердце мое окрыляла.

Обещала мне встречу  
вершина скалистая та,  
потому и представился  
путь каменистый короче.  
Полюбились мне в юности  
радуги нежной цвета.  
И твои полюбились  
глубокие ясные очи.

Мне на этой горе  
вспоминается дальний Хахмат,  
кисловатые воды  
и в зелени шумной дорога.  
Два подъема я взял.  
Облака надо мною летят,  
я, наверное, в Татрах  
похож на хевсура немного.

Вспоминается полдень,  
пронизанный солнцем насквозь.  
Ропот горной реки  
и навьюченный мул над водою.



Сколько утренних зорь  
с той поры над горами зажглось,  
сколько утренних звезд  
закатилось за горной грядой.

Нам с тобой довелось  
через грозные бури пройти —  
я клянусь, что сегодня  
о прожитом не сожалею.  
Очень хочется верить,  
что я не состарюсь в пути,  
что подъемы возьму  
и препятствия преодолею.

Мне известно давно,  
что дорога в горах тяжела,  
но на ней укрепляются  
мускулы сердца и сила.  
Ты глазами своими  
мне радугу в небе зажгла,  
ты вторую весну  
подарила и жизнь озарила.

Предвечерняя тень,  
удлиняясь, лежит на земле,  
угасающий день  
безвозвратно уходит в былое.  
Эти строки письма  
я писал не пером на столе,  
а на дикой скале  
заходящего солнца стрелою.

1952

#### 110. НАРОДНАЯ ПЛЯСКА

Всё гуще сумрак дальних горных гряд.  
Красавица и юноша парят

в круженье вихревом. И на лету  
разглядывают яркую звезду.

Он — словно ветер. А она, скользя  
пред ним, — как виноградная лоза.

И танец их — похож на сказку он,  
на темный лес, на струн скрипичных звон.

Трепещут розы в капельках росы.  
И горный кряж невиданной красы

их обступил. Вдали рога поют.  
И в быстрой пляске горный воздух пьют

тот юноша и девушка-дитя,  
с крутых стремнин в грядущее летя.

Как плеск волны, как дальней бури гул,  
мне шелест платья сердце полоснул. . .

1952

#### 111. У МОГИЛЫ ГЁТЕ

Над могилою Гёте  
безмолвные липы застыли,  
ожидают кого-то  
живые цветы на могиле.

И упал теневой  
саван легкий на камень тяжелый,  
и гудят над листвою  
в кронах лип золотистые пчелы.

А за сетью ветвей  
очертанья казармы угрюмой,  
там в берлоге своей  
бредил Гитлер кровавою думой.

Мне почудилось вдруг,  
что калина колыхается алая,  
смокли пчелы вокруг,  
и стоит тишина небывалая.

Речка рядышком где-то  
поворачивать жернов не ленится,  
и с могилой поэта  
беседует старая мельница.

Здесь хлопочет она,  
чтоб над Веймаром песня звучала  
и прикладом война  
в двери Веймара не постучала.

У поэта с чела  
исчезают морщины печали,  
хочет он, чтоб трудилась пчела,  
чтобы воды в каналах журчали,  
чтобы по целине  
жизнь за плугом стальным проходила,

Вся в цвстах, как в броне,  
возле Веймара дремлет могила.  
Здесь ни жизни, ни сил  
не жалел мой собрат в наступленье  
и цветок посадил,  
пред могилою встав на колени.

Этот стройный цветок —  
сын горячего волжского лета —  
пчелам отдал свой сок  
и украсил могилу поэта.

Не изгладится след,  
что оставил под Веймаром воин, —  
зерна будущих лет  
с Волги в сумке принес полевой он.

Эти зерна взошли —  
и обильные росы покрыли  
нивы здешней земли,  
листья лип и цветы на могиле.

В изголовье певца  
мне мерещатся горы в тумане,  
и в руках у жнеца  
острый серп излучает сиянье.

Ветви лип над могилой  
прохладную тень расстилают,  
розы Грузии милой  
на каменных плитах пылают.

И врачуют они  
нанесенные войнами раны,  
и в прохладной тени  
тихо шествует вечер туманный.

Для поэта природа —  
чаша, полная звуков и песен,  
но певец без народа  
безгласен, бескрыл, бессловесен.

Зерна в почве живут,  
жить без почвы они не смогли бы.  
К новой жизни зовут  
над могилой склоненные липы.

Не увял, не поблек,  
не склонился под ветром крылатым  
ответ Волги —  
цветок,  
что посажен советским солдатом.

1952

#### 112. КАРНАВАЛ МИРА В ВЕЙМАРЕ

Кончался «Фауст» на веймарской сцене,  
когда в театр донеслись извне  
какие-то возгласы, шум, смятенье...  
Я вышел, и стало понятно мне,

что это юность поет, вздымая  
к беззвездному небу знамен леса,  
что связан недаром с девятым мая  
день, когда Гёте у них родился.

И вот я иду по главной аллее,  
по старому парку на дальний зов.  
Чем глубже в парк, тем ночь светлее,  
тем больше юных вокруг голосов.

Проходят мимо гуськом и попарно,  
и факелы их раздвигают мрак.  
Мерцают искры в ночи легендарной,  
подобно рождению светил в мирах.

Всё небо в снопах победного света!  
Свобода и мир царят на земле.  
И скрылись проклятые годы где-то  
в отравленной и безвозвратной мгле.

«О молодость! Ты на дороге верной!» —  
я крикнул, войдя в дружелюбный сонм.  
Всё глубже в парк мы движемся мерно  
и славное имя Гёте несем.

На старой улочке у поворота  
притихла молодость наших дней:  
«Когда-то жила здесь фрейлейн Шарлотта...»  
И липы тепло шелестят о ней.

Откройте же настезь дом поэта!  
Весь парк осветили думы его.  
И старый Веймар, и шествие это  
справляют мирных дней торжество.

Пусть клятва, что юность нынче давала,  
поможет людям бороться с тьмой,  
пускай на всех парусах карнавала  
вернется Гёте к себе домой!

И я молодежь всю ночь провожаю,  
хотя на висках моих седина,  
и радость ее для меня не чужая,  
и правда моя для нее нужна.

К цветущим липам, в звезды одетым,  
Германия шлет своих сыновей.  
А я расскажу о празднике этом,  
когда возвращусь, отчизне своей.

1952

### 113. ТБИЛИССКИЙ ОРНАМЕНТ

Люблю твои балконы и мосты. . .  
Но иногда представляю вдруг, что ты  
со мной повздоришь, —  
и вцеплюсь в корни  
твоих чинар, толпящихся в саду,  
и твой туман над крышами пряду,  
траву в горах кошу еще упорней.

На мне с рожденья тень твоя и свет,  
и на рубашке сердца  
виден след  
твоей иглы и твоего наперстка.  
Я — современник твой и ветеран,  
в душе не гаснет боль крцанисских ран,  
геройски бьется арагвинцев горстка.

Я жил твоей победой и бедой,  
смывал обиду серною водой  
и волю не давал  
страстям угрюмым.  
И в дни моей усталости тайком  
ты подносил мне чашу с молоком  
и потчевал меня своим изюмом.

Сияньями Мтацминды просветлен,  
я постигать учился ход времен, —  
твою мечту от сердца не отрину.  
Шаги, не подчиненные судьбе,  
я соразмерил  
с думой о тебе  
и замесил твою крутую глину.

К закату дня ты озарил мой путь,  
помог в горах лавины оттолкнуть,  
поднять в долинах целину и залежь.  
В награду за орнамент на стене  
ты радугу подаришь завтра мне,  
как подарил зарю свою вчера лишь.

1957

#### 114. МАЙСКИЙ ДОЖДЬ

Ни слова пока о дожде.  
Всё после о нём уяснится.  
То просо мешают в воде,  
то с веток летит шелковица.

То в капанье слышится треск  
расправленных крыльев павлиньих,  
то их переливчатый блеск  
мерещится в молниях синих.

К дождю обратим все мечты.  
Прижмемся на улице к зданьям.  
Средь давки откроем зонты,  
в толпе под платанами станем.

Дождь шлепает по мостовой  
и брызжет струями с балкона,  
дождь хлопает над головой  
забытою рамой оконной.

Я сам становлюсь бестолков.  
Мне слышится в плеске капли  
твой шаг, стук твоих каблуков  
по каменным плитам панели.

Мы встретимся чуть погода,  
душой освеженной воспрянув.  
Ведь только лишь после дождя  
приходят развязки романов.

Ни слова пока о дожде.  
Сначала увериться надо,  
что не пострадали нигде  
зеленые всходы от града.

Но ярко блестя зелена,  
и свет отражается в лицах,  
и капли, пленяя меня,  
дрожат у тебя на ресницах.

1953

#### 115. ПРЕКРАТИМ ЭТИ РЕЧИ НА МИГ...

Прекратим эти речи на миг,  
пусть и дождь свое слово промолвит  
и среди тутовых веток немых  
очи дремлющей птицы промоет.

Где-то рядом, у глаз и у щек,  
драгоценный узор уже соткан —  
шелкопряды мотают свой шелк  
на запястья верийским красоткам.

Вся дрожит золотая блесна,  
и по милости этой погоды  
так далекая юность близка,  
так свежо ощущение свободы.

О, ходить, как я хаживал, впредь  
и твердить, что пора, что пора ведь  
в твои очи сквозь слезы смотреть  
и шиповником пальцы поранить.

Так спяй своим детским лицом!  
Знаешь, нравится мне в этих грозах,  
как стоят над жемчужным яйцом  
анстихи в затопленных гнездах.

Как миндаль облетел и памок!  
Дождь дорогу марает и моет —  
это он подает мне намек,  
что не столько я стар, сколько молод.

Слышишь? — в тутовых ветках немых  
голос птицы свежее и резче.  
Прекратим эти речи на миг,  
лишь на миг прекратим эти речи.

1953



## 116. ДВА КРЫЛА

По всем путям со мной ходила ты.  
Двадцатилетний путь прошла со мною.  
И пройденные годы, как хребты,  
стоят и застывают за спиною.

Над нами мелкий дождик моросил.  
Смывал обиды, сплетни, небылицы.  
И все-таки тебя я сохранил,  
сберег, как сокола на рукавице.

У нас один очаг и два крыла.  
В твоих глазах горит заря рассвета.  
А голова моя белым-бела,  
бела от нарастаявшего снега.

А время за спиною у меня,  
но мы уходим от его погони.  
Так оседлай, в который раз, коня,  
я вылечу, как птица из ладони!

Я предлагаю старости — уйти!  
Я не унижусь. И не успокоюсь.  
Не покорюсь. Пускай к концу пути  
такой же снег твои виски покроет.

Ты отправляешь письма.  
Ты мой сон  
послеобеденный оберегаешь.  
Кура к нам вечерами на балкон  
приходит в гости — ты ее встречаешь.

Настолько неразлучны ты и я —  
в одной горсти сумеем уместиться...  
Твое дыханье, словно шум ручья,  
я слышу по ночам, когда не спится.

Я мог бы дров в ущелье нарубить  
и затравить оленя или тура,  
расплавить лед,  
и кровь и пот пролить,  
и ждать тебя, пока не вспыхнет утро.



Я ставлю их в сердце, как в вазу,  
цветами уставив весь стол.  
Для них я бродил по Кавказу  
и родину всю обошел.

Я шел и не видел покоя,  
в пути головы не терял,  
я думал о ближних с тоскою,  
я жатву для братьев собирал.

Теперь, вдохновленный цветами,  
трублю я по-прежнему в рог.  
Я выкинул юности знамя,  
я пламя усердья разжег.

1955

#### 118. СНЕЖОК

Ты в меня запустила снежком.  
Я давно человек уже зрелый.  
Как при возрасте этом моем  
шутишь ты так развязно и смело?

Снег забился мне за воротник,  
и вода затекает за шею.  
Снег мне, кажется, в душу проник,  
и от холода я молодею.

Что мы смотрим на снежную гладь?  
Мы ее, чего доброго, сглазим.  
Не могу своих мыслей собрать.  
Ты снежком своим сбила их наземь.

Седины моей белой кудель  
ты засыпала белой порошей.  
Ты попала без промаха в цель  
и в восторге забила в ладоши.

Что мне возраст и вид пожилой?  
Он мне только страданье усилит,  
я дрожащей любовной стрелой  
ранен в бедное сердце навывлет.

Ты добилась опять своего,  
лишний раз доказав свою силу  
в миг, когда ни с того ни с сего  
снежным комом в меня угодила.

1957

#### 119. ТБИЛСКИЙ СНЕГ

Проходят люди, оступаются —  
глаза слепит им белизной,  
как будто с неба осыпаются  
цветы, посеянные мной.

Во мне весь город с гамом, гомоном —  
звонки трамваев, стук подков.  
Как облака, парю над городом.  
Иду, как снег из облаков.

Тбилиси, всё не сразу скажется,  
ты — моя совесть, ты — мой суд.  
А снег твой снегом только кажется —  
ткемали белые цветут!

Всё, что я думаю и делаю, —  
во славу свежести твоей,  
кровь моя влита в хлопья белые,  
но стали хлопья лишь белей.

Я кровь свою с твоею смешивал,  
и на весах твоих мостов  
я столько раз все мысли взвешивал,  
и снова взвесить их готов!

В лицо твой каждый домик помню я,  
я по Метехи колесил,  
бокалы, сумерками полные,  
к губам в Исани подносил.

Тбилиси, дай побольше трудности.  
Наполни мне еще полней  
дорожным провиантом юности  
корзину зрелости моей.

Да, я — труба родного города,  
и быть иным не приучусь;  
живой — я твое горло гордое,  
умру — в твой корень превращусь.

1956

## 120. В ТЕПИ ПЛАТАНОВ

По обсаженной улице этой  
я ходил молодую порой.  
Под платанами два силуэта.  
Это — мой, а второй — это твой.

Ты проходишь под ними, не глядя,  
Ты идешь, не смотря на листву.  
Очувившись опять в их прохладе,  
я бывшее обратно зову.

Под стволами воронки в панели.  
Камнем выложены их края.  
Наши тени близ них уцелели —  
вот моя, а вот эта — твоя.

Листья осенью прыщут, увянув,  
облетает, лежит большинство.  
Если срубят один из платанов,  
в яму стану я вместо него.

Не платаны уходят, а время,  
а платаны глядят ему вслед.  
Я стою здесь с деревьями всеми  
и тебе посылаю привет.

Я шаги твои раньше узнаю,  
чем платаны начнут шелестеть.  
Ты меня на панели у края,  
как бывало, по-прежнему встретить.

1956

## 121. НА НАБЕРЕЖНОЙ

Я в семь часов иду — так повелось —  
по набережной, в направленье дома,  
и продавец лукавый папирос  
мне смотрит вслед задумчиво и долго.

С лотком своим он на углу стоит,  
уставится в меня и не мигает.  
Будь он неладен, взбалмошный старик!  
Что знает он, на что он намекает?..

О, неужели ведомо ему,  
что, человек почтенный и семейный,  
в своем дому, в своем пустом дому,  
томлюсь я от чудачеств и сомнений?

Я чиркну спичкой — огонек сырой  
возникнет. Я смотрю на это тленье,  
и думы мои бродят над Курой,  
как бы стада, что ищут утоленья.

Те ясени, что посадил Важа,  
я перенес в глубокую долину,  
и нежность моя в корни их вошла  
и щедро их цветеньем одарила.

Я сердце свое в тонэ закалил,  
и сердце стало вспыльчивым и буйным.  
И всё ж порою из последних сил  
тянул я лямку — одинокий буйвол.

О старость, приговор твой отмени  
и детского не обмани доверья.  
Не трогай палисадники мои,  
кизилые не побей деревья.

Позволь, я закатаю рукава.  
От молодости я изнемогаю —  
пока живу, пока растет трава,  
пока люблю, пока стихи слагаю.

1956

## 122. ПОЕЗДКА ЗА СОЛЮ

Я в Агзеван за солью еду.  
Сижу в раздумье на арбе  
и сам с собой веду беседу  
и о тебе и о себе.

Вол тянет изо всех силенок,  
а впереди туман,

туман...

Мне хватит слез твоих соленых!  
К чему мне ехать в Агзеван!

Печалью полон я огромной,  
себя сомненьями казню.  
Тягучий скрип оси аробной  
мне клонит голову ко сну.

Сейчас бы сладко и устало  
над мирно дремлющей рекой  
лизнуть соленые кристаллы,  
кусоч скалы отбив киркой!

Я только с сахаром был в ссоре.  
Всегда я с солью дружен был.  
Чтобы не так горчило горе,  
его, как черный хлеб, солил!

Я столько знал и бед и боли.  
Меня мотало — лишь держись!  
Так много в жизни нужно соли!  
Ей-богу —  
с нею слаще жизнь!

1956

## 123. ТАБАК

Верным спутником был мне табак.  
Не смогу я расстаться с куреньем,  
Спичка гонит души моей мрак,  
Стройность звезд придает размышленьям.

За работою дым табака  
Самый лучший мой друг и советчик.

Струйки тянутся в высь потолка  
Через серые звенья колечек.

Точно ладан окутал алтарь,  
Или дым в курене, как в берлоге,  
Или в рощу врезается гарь  
Паровоза с железной дороги.

День дождливый. Ущелье Чечни.  
Скрип арбы. Туч несущихся клочья.  
Электрических станций огни  
Где-нибудь в глубине среди ночи.

К огорчению близких, табак  
Стал курить я особенно крепкий.  
Чтоб удачно писать, как-никак  
Я нуждаюсь в хорошей зацепке.

Я не брошу курить и, куря,  
Как бы вижу в дыму папиросы  
Склон, поросший травой. С пустыря  
Я спускаюсь к речному откосу.

На ладони спиральный узор  
Недокуренного никотина, —  
Точно вид затуманенных гор  
Застилает мне дали картину.

1955

#### 124. МЕТЕХИ

Над Метехи я звезды считал,  
Письменам их священным дивился,  
В небесах, как на древних щитах,  
Я разгадывал знаки девиза.

Мне всегда объясняла одно  
Эта клинопись с отсветом синим —  
Будто бы не теперь, а давно,  
О Метехи, я был твоим сыном.

Ты меня создавал из ребра,  
Из камней твоих сокровенных,



И наказывал мне серебра  
Не жалеть для нарядов военных.

Пораженный монгольской стрелой,  
Я дышал так прощально и слабо  
Под твоей крепостною стеной,  
Где навек успокоился Або.

За Махатской горой много дней  
Ты меня окунал во туманы,  
Колдовской паутиной твоей  
Врачевал мои бедные раны.

И, когда-то спасенный тобой,  
Я пришел к тебе снова, Метехи.  
Ворожи над моей головой,  
Обнови золотые доспехи.

Одари же, как прежде, меня  
Йорским облаком и небесами,  
Подведи под уздцы мне коня,  
Чтоб скакать над холмами Исани.

А когда доскажу все слова  
И вздохну так прощально и слабо,  
Пусть коснется моя голова  
Головы опечаленной Або.

1958

125

Две округлых улыбки — Телети и Цхнети,  
И Кумиси и Лиси — два чистых зрачка.  
О, назвать их опять! И названия эти  
Затрудняют гортань, как избыток глотка.

Подставляю ладонь под щекотную каплю,  
Что усиьем всех мышц высекает гора,  
Не пора ль мне прибегнуть к алгетскому камню,  
Высечь точную мысль красоты и добра?

Тих и женственен мир этих сумерек слабых,  
Но Кура не вполне обновила волну

208





И, как дуб затвердев, помнит вспыльчивость  
сабель,  
Топот конских копыт, означавший войну.

Этот древний туман так неполон — в нем стрелы  
Многих луков пробили глубокий просвет.  
Он и я — мы лишь известь, скрепившая стены  
Вкруг картлийской столицы на тысячу лет.

С кем сражусь на восходе и с кем на закате,  
Чтоб хранить равновесье двух разных огней:  
Солнце там, на Мтацминде, луна на Махате,  
Совмещенные в небе любовью моей.

Отпиваю мацони, слезу за лесами,  
Небесамн и за посветлевшей водой.  
Уж с Гомборской горы упадает в Исани  
Первый луч — неумелый, совсем молодой.

Сколько в этих горах я камней пересилил!  
И тесал их и мучил, как слово лепил.  
Превозмог и освоил цвет белый и синий.  
Теплый воздух и иней равно я любил.

И еще что я выдумал: ветку оливы  
Я жестоко и нежно привил к миндалю,  
Поместил ее точно под солнце и ливни.  
И все выдумки эти Тбилиси дарю.

1958

#### 126. НОЧИ ППРОСМАНИ

Ты кистями и красками спящих будил,  
делал розы возлюбленной ярче и краше,  
по гористым, кривым переулкам бродил  
и домой возвращался с тарелкою хаши.

И пока ворота на засове, пока  
не уснет в Ортачале красotka, ты снова  
шел к Майдану, и мчал фаэтон седока,  
заводилу грузинского пира честного.

Вот гуляют кутилы, и пляшет кинто,  
и шашлык на шампуре, и зелень на блюде...

Где же ночь? Или вправду не видел никто,  
как ты шел под хмельком в предрассветном  
безлюдье?

Сколько лестниц и каменных стен украшал,  
сколько красок извел за ничтожную плату, —  
вот девчоночка держит на привязи шар,  
вот пшено на гумне исклевали цыплята...

Рядом горы. И бедный художник в ночи  
приглашает их запросто в знак пониманья.  
И трубят, словно лопнуть хотят, зурначи.  
Горы входят, как гости: «Привет, Пиросмани!»

Ты окинул глазами плоты на Куре,  
и стога на полях, и туманные выси  
и поставил на стол их на ранней заре,  
стал столом твоим весь разноцветный Тбилиси.

Эта сытость тебе и без денег далась.  
Эти вина и кушанья кисть создавала.  
Только черная сажа мелькает у глаз.  
Только лестница рушится в темень подвала...

А почем у людей огурец иль чеснок,  
сколько стоит кусок неразменного быта —  
разве это касается сбитого с ног?  
. . . И лягнуло тебя между ребер копыто.

И отброшена кисть. И на выпуклость век  
синеватые тени положены густо.  
И неведомо, где погребен человек.  
И конец.  
И навек остается искусство.

1959

## 127. ОТ ЭТОГО ПОРОГА... —

От этого порога до того  
работы переделал я немало.  
Чинары я сажал — в честь твоего  
лица, что мне увидеть предстояло,

Пока я отыскал твои следы  
и шел за ними, призванный тобою,  
состарился я. Волосы седые.  
Ступни мои изнурены ходьбою.

И всё ж от этой улицы до той  
я собирал оброненные листья,  
и наблюдали пристально за мной  
прохожих озадаченные лица.

То солнце жгло, то дождик лил — всего  
не перескажешь. Так длинна дорога  
от этого порога до того  
и от того до этого порога.

И все-таки в том стареньком доме  
всё нашими населено следами,  
и где-то там, на чердаке, в дыму,  
лежит платок с забытыми слезами.

От этого и до того огня  
ты шила мне мешок для провианта.  
Ты звездную одела на меня  
рубашу. Ты мешок мой проверяла.

От этого порога до того  
я шел один среди жары и стужи,  
к бокам коней прикладывал тавро  
и воду пил, толлок я воду в ступе.

Я плыл по рекам и не знал — куда,  
и там, пока плыла моя пирога,  
я слышал, как глаголила Кура —  
от этого и до того порога.

1959

128

Я прокричал «ваша!»  
строителям Ваке.  
Гора обратно  
эхо мне вернула.

211

Мой голос  
затерялся вдалеке  
среди городского грохота и гула.

Что делать,  
голос мой погас в движенье уличном,  
и эхо мне возвращено горой.  
Повешу месяц  
на крючок рыбацкой удочки  
и, словно чашу,  
ночь поставлю над Курой.

Благодарю судьбу свою счастливую —  
укор и ласку,  
спору и покой.  
Ты подари, Тбилиси,  
ветку сливовую,  
туманами полночными покрой.

Тбилиси мой,  
твоею тенью стану я.  
Ты моя гордость,  
мужество и честь.  
Мне подари  
скамейку постоянную,  
но не давай мне времени  
присесть.

Я как река,  
тобою освещенная,  
с твоими фонарями в глубине.  
Пусть эхо,  
мне горою возвращенное,  
как голос твой,  
всегда звучит во мне.

Устрой, Тбилиси,  
тайную вечерю  
в ущелье,  
возле призрачной тропы,  
исполненную синего свечения  
и шелеста платанов и травы.

А если ложь в стихи мои проникнет  
и полонит меня  
бесстрастный шум,  
разрушь меня, Тбилиси,  
и воздвигни,  
как зданье, полное  
твоих бессонных дум.

Тбилиси,  
я твои дома и листья,  
ты — это я,  
а я, Тбилиси, — ты.  
И вечно петъ мне  
о тебе, Тбилиси,  
о Грузии,  
вколоченной в хребты!

1960

#### 129. ТБИЛИСИ ПОЧЬЮ

Тбилиси, гнездо моей мысли,  
Мтацминда, оплот мой надежный,  
Прижми меня к каменной выси, —  
Расстаться с тобой невозможно.

Мосты над Курой изогнулись,  
Семь раз натянув тетивы.  
В гористых расселинах улиц  
Так смутен налет синевы.

Обвенчаны с башней Метехи,  
С теченьем Куры перевиты  
Грузинской истории вежи,  
Победы ее и обиды.

Пусть гроздь винограда укроет  
От стужи меня в феврале,  
Пусть факел в лесах новостроек  
Приветливо пляшет во мгле.

Не спать до рассвета легко нам,  
В листве этой липы укрыться,  
Завиться плющом по балконам,  
В Тбилиси ночном раствориться.





Как видно, навеки завещано мне  
на улицах шумных твоих спотыкаться,  
бродить до рассвета, подобно луне,  
пока она будет в Куру опускаться.

В горах не пропели еще петухи.  
Кура убегает. Я блекну и вяну.  
Прозрачного света ручьи потекли,  
и я в забытии прислонился к платану.

Куда мне пойти и куда повернуть?  
На улицах бойких где будет мне отдых?  
На правый, на левый ли берег взглянуть  
и вдруг заблудиться в предутренних звездах?

Из темных расщелин сочится туман.  
Метехская крепость парит над Курою.  
А я красотой твоей обуян.  
А ты — моей песней. Мы квиты с тобою.

Вот там полыхает твоя новизна.  
Вот здесь старина не спеша догорает.  
Куда бы ни шел я — повсюду меня  
твои переулки в пути догоняют.

Ты будешь всегда утешеньем в судьбе,  
и благословляю я каждую встречу  
в Исани твоём и в твоём Дидубе,  
где душу свою запалил я, как свечку.

А ты уберег, сохранил ту свечу.  
И я, благодарный, к тебе не остыну,  
я о красоте твоей не промолчу,  
но вскрикну — и грудь рассеку, как теснину.

1959

### 132. ОСЕНЬ В КАХЕТИИ

Природа Кахетии празднует ртвели,  
Желтеющий полдень горит не сгорая,  
Уже виноградные гроздья созрели  
И яблони стонут, ветвями качая.

На солнце горят серебристые склоны,  
А ветер мелодию тянет устало,  
И тыквы лежат тяжелы и огромны,  
Как лебедей обезглавленных стая.

Природа достигла плодоношенья  
И вспыхнула новым, неведомым светом,  
И желтое с красным, вступая в сраженье,  
На склонах курчавых трепещет под ветром.

О, что я увидел! Выходит невеста,  
Окликнула юношу горца с балкона.  
Ее красота — как ранение сердца...  
А листья струятся дождем с небосклона.

О брат мой! Наполни кувшин до отказа,  
Скажи мне свое благородное имя.  
Под тенью прохладной широкого вяза  
Мне чудится кевври, а рядом давилъня.

А жизнь всё течет и течет неустанно,  
И я прислоняюсь к высокому дубу  
И слышу: зовет небеса Дагестана  
Краса, что навеки ниспослана в душу.

Повсюду разлито шафранное пламя,  
Как будто другие оттенки иссякли,  
И светится воздух, дрожа и пылая,  
И сыплются листья, как желтые капли.



### 134. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ГОМБОРН

В три пополудни, по тропе оленьей,  
по горной тропке пробирались мы  
и забрели в гомборский лес осенний,  
в столпотворенье хрупких светотеней,  
слепащих красок и крошечной тьмы.

Сперва в гомборской чаще было тихо,  
потом издалека, с отвесных скал,  
оленья окликала олениха,  
и лес ветвями небо рассекал.

Казалось нам, что он в работу втянут;  
янтарных листьев осыпался зной,  
и было слышно, как шафраны вянут  
на травянистой просеке лесной.

Мы постепенно углублялись в осень,  
был горный лес приземист и поджар.  
Со звоном шишка ударялась оземь,  
шиповник ноги под себя поджал.

Гудели глухо суходолов улы,  
и плющ капризно задевал плечо,  
и, как в жаровне тлеющие угли,  
потрескивали кроны горячо.

Хотелось гладить ствол ребристый  
граба,  
с листвою в чащобах затевать  
возню,  
чтоб наши пальцы трепетали слабо,  
как от прикосновения к огню.

Переливались яркие подвески  
зажженных люстр, и лесу  
не спалось,  
и свет струился нестерпимо резкий,  
кустарники пронизывая вкось.

Гомборский бор готовился  
к молебну,  
чего-то ждали ветви и стволы.



## 136. НА СИГНАХСКОЙ ГОРЕ

На качелях сначала туда  
Я взлетаю — и тут же обратно.  
А в лесу красота, пестрота. . .  
Липы. . . Солнце. . . Дрожащие пятна. . .

Я качаюсь, как спутник горы,  
Выполняя ее приказанье,  
И смотрю, как природы дары  
Принимает внизу Алазани.

Я вкусил здесь от древа добра,  
Почерпнул вдохновение в ртвели,  
И мне кажется эта страна  
Легендарной землей Руставели.

Лес в веснушках, а в небе орлы,  
Дым колышется над очагами,  
И колышутся склоны горы,  
И качели играют с тенями.

Кто же там, не жалея вина,  
Разливает его в полумраке?  
Это гимн красоте? Тишина?  
Бормотанье струящейся влаги?

Мне бы горы окликнуть, да так  
Молодецки, чтоб эхо взлетело!  
Кто тревожит листву на дубах  
И осины дрожащее тело?

Жажда жизни со мной до сих пор,  
Туч не вижу я на небосклоне,  
Только слышу, как дышит простор,  
А Кахетия — как на ладони!

Да орлы продолжают свой круг,  
Да янтарь осыпается с ели. . .  
И колышутся горы вокруг. . .  
Или это всего лишь качели?

### 137. ЗАКАТ

Излука моря, горы и предгорье,  
И на откосах чайные кусты.  
Мне волноваться впору бы, как море,  
Но я молчу: я в круге красоты.

Стою в тени — платан среди платанов —  
И жду волны вечерней. Вот когда,  
Как дикий хор кудрявых великанов,  
Нисходит к морю горная гряда.

Кувшину сердца суждено пролиться,  
Мой жар остудят ветер и листва.  
О, жизнь моя! Еще одна страница,  
Как парус в море, брезжит мне едва.

Уходит день — хевсур светлородый,  
Из сумерек я вглядываюсь в даль:  
Мне люб закат, воспламенивший воды,  
И дней осенних светлая печаль.

### 138. ГОРЫ ПОЮТ

Предгорий нежных вырез красноватый.  
Заката пламенеющий веноч.  
Молитвенные горы ввысь подъяты,  
И, как мольба, — морская гладь у ног.

По берегу орнамент тенью вышит,  
И жесть листвы роняет лавр с ветвей.  
Блажен, кто зов отчества услышит  
Над мутноводной Чорохой своей.



Кем пролито маджари на вершины?  
Кем без границ простерта синева?  
Аджарских гор поет мне хор единый  
О мудрости негромкие слова.

### 139. ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

Мне осень улыбнулась на просторе.  
Небесная безбрежна синева.  
Вечерний час ведет меня от моря,  
Как песня друга, слышная едва.

Иду навстречу веянью платанов,  
Минуя мальчуганов у воды.  
Уносит поезд, в дым вечерний канув,  
Безмолвное предчувствие беды.

Иду на лепет апельсинной кроны, —  
В листве заботы пристальной печать  
И давний след в траве темно-зеленой —  
Шаг юности — хочу я отыскать.

Вернуться к догорающему пиру,  
Пригубить вновь заздравных чаш янтарь  
И странником опять пройти по миру,  
Пылая жаждой, верной мне, как встарь.

Родник я отыщу по вдохновенью.  
Далек мой путь и что ни день трудней.  
Как странник, покидающий селенье,  
Иду под сенью множества теней.

А берег мой, увенчанный шафраном,  
Мне издали последний шлет привет,  
И я прощаюсь с журавлиным станом,  
Как с драгоценным даром зрелых лет.

#### 140. РАДОСТЬ

Уже созрели гроздь будешури,  
Лоза стволы деревьев обвила.  
Иду к горам. Ты ластишься к лазурн,  
Аджария, как в юности светла.

Мне б долю сил твоих необычайных —  
Я славить бы тебя не уставал.  
Красавицы твои на грядках чайных  
Неудержимы, как девятый вал.

А кажется, что золото считают. . .  
В их пиалах — горячий аромат.  
Дрожа, чуть слышно листья причитают,  
Но это воды моря шелестят.

Труд расправляет крылья по-соколы,  
И пальцы по зеленому руну  
Летают. Осень с морем на приволье  
Сошлись. Мне грудью встретить бы волну.

А вечером питомцы садового  
Прильнут ко мне, узнав себя в стихах.  
В мои ворота входит жизнь народа.  
Мои надежды — на его весах.

Еще усталость не вошла мне в жилы,  
Еще я помню юношеский пыл,  
Забот не меньше у меня, чем было  
В те времена, когда я молод был.

#### 141. МЕЧТА

Край родины, друг моря, берег милый,  
Я пред тобой стою на склоне дня.  
Верни мне снова молодые силы,  
Аджария, благослови меня!

Мечта моя тобою не забыта,  
Пусть я порой споткнусь о камень твой, —  
Служитель рифм похож на златобита,  
И ты несешь мне полдень золотой.

Цветы и лозы на твоём пороге,  
И в море паруса твои ушли.  
Один мой стих ты бросишь на дороге,  
Другой подынешь бережно с земли.

Меня встречают здесь воспоминанья,  
Соломенные шляпы приподняв.  
К тебе пришел я в годы увяданья.  
Дай мне лучи среди листвы и трав.

Пустыми не оставь мои кувшины  
И чудо исцеленья соверши:  
В реке бессмертья лишь глоток единый  
Был уготован для моей души.

Она пылает купиною рдяной.  
Дай от моих ворот мне отойти,  
Я Миндией в горах аджарских стану,  
Добро посею на твоём пути.

Корнями я тянусь к холмам кудрявым,  
Где чайные раскинулись кусты,  
Ласкаюсь к волнам и пахучим травам,  
Безмолвствую в жилище красоты. . .

#### 142. НА ВЗМОРЬЕ

Со мной наш милый Ника. Мы томимы  
Одной тревогой, и одна у нас  
Надежда: мы Тбилиси свой любимый  
У моря вспоминаем что ни час.

Роня листья, дни летят. Обоим  
Что делать нам в гостиничной тиши?  
От моря тянет солью и покоем,  
И тайным горем дышат две души.

Лучи над морем жгучи до озноба,  
Мы под зонтом сидим и вдаль глядим, —  
Своей бедой не делимся мы оба  
Ни с морем сонным, ни один с другим.

Скрывая мысли, говорим не споря.  
Тревога в гальке шелестит вокруг.  
А ты сейчас на севере у моря  
И, может быть, глядишь в бинокль на юг.

Под вечер волны вырастут в тумане,  
И мы уйдем от потемневших вод,  
И груз твоих заботливых мечтаний,  
Как дар сладчайший, Ника понесет.

#### 143. В ДУШЕ РАЗБУШЕВАЛАСЬ ЛИСТВА

В моей душе листва разбушевдалась —  
Неотвратимый близится полет.  
Я тороплюсь, мне остается малость, —  
С вершины долу жизнь моя идет.

Я листья эти гладил в час рассвета.  
Увял цветок, и меда нет в цветке.  
Хватаюсь за соломинку, а это  
Пшеничный колос у меня в руке.

Еще в полях — я сеятель достойный,  
На склонах гор — я сборщик миндаля,  
Не утолил я жажды беспокойной,  
И вот — встречаю осень, как земля.

Промчался дождь, и высохла дорога,  
В суме довольно снеди у меня.  
Оставь меня, тревога, и не трогай  
Моей души янтарного огня.

Глоток вина, еще немного сыра  
Да хлеба кус — и побреду опять:  
И если ночь крылом коснулась мира,  
А сон нейдет, так для чего мне спать?

В душе и впрямь, быть может, гаснут свечи,  
Не плачу я и не твержу молитв.  
Мне снова горе падает на плечи,  
И снова рана старая болит.

## 144. ЛИСТОПАД И ОЗИМЫЙ СЕВ

Этот мир быстротечный,  
Ход мгновенный времен. . .

*Важа Пшавела*

На седину не поскупилось время  
И спело песню сумерек. Иду,  
А за спиною — старость, ровень с теми  
Платанами, чьи листья как в бреду.

Я здесь косил, да сено ветром сдуло.  
О пиримзе, где нежный венчик твой?  
Редея, кроны клонятся сутуло,  
И в дол схожу я узкою тропой.

И как Шопен мне листьев шум, похожий  
На приглушенный, горестный напев.  
Мир быстротечен, как всегда, но всё же  
Под этот шум идет озимый сев

И память копит избранные думы,  
Как золото запасов семенных.  
А листья — как червонцы толстосума:  
И ночь придет — и обесценит их.

Вгляжусь в туман: где моря блеск вчерашний?  
Древесный корень мне связал ступни,  
Мне лучший плод не сладок, а на пашне  
Я сеятель еще и в эти дни.

Поет мне вечер жизни или года —  
Души моей и боль и благодать.  
Хочу я ради отчего народа  
До поздней ночи внуку передать

Умение земли родимой раны  
Любовью врачевать. . .

Но листопад —  
Что значит он? Что говорят платаны?  
Зачем, как листья, волны шелестят?

Мне не спится до рассвета  
И стиху не спится тоже,  
Потому что книга эта  
На приданое похожа.

Эту книгу оставляю,  
Лик души и сердца муку:  
Вырви лист ее — по краю  
Тут же кровь окрасит руку.

Я тянул ярмо по взгорью —  
Над землей, под небосводом.  
Ну, а что писалось кровью,  
То питалось горным медом.

В доме трута не осталось,  
Я поддерживал горенье.  
То ль на мельнице, то ль старость,  
Но во мне — земли вращенье.

Мельник слова, словно душу,  
Воду я запряг в запруду;  
Мысль негромкую послушай,  
Говорить я тихо буду.

Боли в книге не скрываю —  
Я товарищей теряю.  
Как Важа, пронизан мглою,  
Звезды славлю над дорогой.  
Стань травой молодою,  
Протяну еще немного.

Улечу с тропы высокой,  
Небо синей сетью станст;  
Если я взлечу, как сокол,  
Пропаду один в тумане.

Я пленяюсь, мельник слова,  
Сединой твоею милой;  
О, внимай молитве снова,  
Согрешу — меня помилуй.

В предстоящие мне миги  
Стань лозой, пустившей почки.  
Если я хозяин в книге,  
Ты — в ней нянька каждой строчки.

146

И сорвалась звезда. Ночной дорогой  
Как из пращи несется вниз, сюда:  
Кому, успел подумать я с тревогой,  
Еще сверкнет падучая звезда?

За склон Мтацминды, может, заглянула  
И раскололась о скалу звезда;  
А может, в море пала, утонула,  
В пучине вод затихла навсегда.

Как мне найти, как повстречаться с нею?  
Не будь моею, я б искать не стал:  
Моя звезда сестры своей нежнее,  
Сверкнувшей раз над головой Нестан.

Моя звезда подвижнее погони,  
Преследовавшей всадника не раз, —  
Горячая звезда! Ее бессонниц  
Я неусыпный молчаливый страж.

Не скрылась бы вдали, за облаками;  
Я думы в узел не стянул, иду:  
В закате иль за девятью горами  
Я должен отыскать свою звезду,

И я на плиты наступил ногой,  
 Где церковь так задумчива сегодня.  
 Большой платан шумит над головой,  
 Он мне дороже, чем приют господень.

Не рассказать о язве скрытой мне,  
 Не отдохнуть в тени от башни с вами;  
 Да не удушат родину во сне,  
 Дуб в Грузии не срубят топорами.

Любимой туфля на песке Куры  
 В лоскут души навеки завернулась;  
 И в пестроте житейской мишуры  
 Я постарел, когда настала юность.

Худой, по узким улицам ношусь,  
 И мотыльки кружат над головою;  
 Я, как платан, один; и я молюсь;  
 И церковь соревнуется со мною.

В стопу горы я плоть замуровал,  
 Я думы поднял высоко, на горы;  
 Я след ступни твоей поцеловал,  
 О Кетеван, я не потупил взоры.

Так язва успокоилась моя;  
 Люблю Тбилиси каменные крепь,  
 Запели третьи петухи, и я  
 Отверг сегодня господа на небе.

Я бегаю; я всюду одинок;  
 Бег времени я снегом называю;  
 Никто дубиной сбить меня не смог,  
 И милости просить я не желаю.

А если бег состарил и меня,  
 Сейчас в тени платана отдыхаю;  
 Да не оставят тисового пня,  
 Дуб в Грузии не срубят, повторяю.



Слушай, как можно без слов бесноваться  
И не метаться при этом по дому;  
В юности старцем уставшим казаться, —  
Слушай, зачем не смеешься смешному?

Так говорят, как кувшин телнани  
Ставят на голову мне, но устало  
Я не усну на скале, что в Исани,  
И в закоулках верийских кварталов.

Я не стоял под скорбящей звездой,  
Брел я; был вечер похож на смятенье.  
Тень моя, мраку была ты сестрою,  
Душу спаси, дай ночам объясненье!

Мнится, что греза подводит порою.  
Как кому мнится, не знаю. В Тбилиси  
Ветви чинары ласкаю рукою,  
Низкие бани, балконные выси.

Зов колокольный согреть бы, прохладу  
Дуба бугристого гладить ладонью,  
Лучшую долю отдать бы собрату,  
Выбрать на кладбище общую долю.

Шума боязни не ведало ухо;  
Листья чинары, зачем облетели?  
Нежится месяц на облаке пуха,  
Чтобы затем воцариться в Бетлеми.

Я не бахваюсь; я в памяти запер  
Думы мои, я беседую с ними:  
Там, на Махатской вершине, мой факел,  
Факел мой там, на Гомборской вершине.

Как за днем ночь идет, так и смерть  
Бродит загнанной тенью за мною.  
Смерть, зачем отравляешь мне свет  
Этой черной бредовой тоскою?

Ранен я и, по правде сказать,  
Стать землей не спешу. В горсти эти  
Ты мне проса насыпь; я внимать  
Не хочу наступлению смерти.

Навестит меня скорбно жена,  
Увлажнятся, просохнут ресницы;  
И ровесница-осень должна  
Мне с корзиною полной явиться.

Наклонившись, жена охладит  
Поцелуем чело мне. Не дайте  
Ахов-охов услышать; как в скит,  
Тихо тело с душой провожайте.

Кости с глиной оставьте; свои  
Слезы в плаче молитвенном лейте,  
Чтобы жили останки мои,  
Как два князя святых из Аргвети.

Ни врагов, ни друзей я не жду,  
Приникаю к подушке щекою;  
В мыслях берегом жизни иду,  
Внук кричит мне и машет рукою.

Сердцу больно от мыслей опять,  
Как в тюрьме я: бессонница в сердце;  
Звезды дальние вроде цыплят  
Золотистых, что видел я в детстве.

Было время, вставая чуть свет,  
Я кормил их. . . Вернется ль всё это?  
Ночь когда еще сменит рассвет,  
Как еще далеко до рассвета.

150

Верно, узка моя комната. В зале  
Больше простора, он стоит дороже.  
Тут для улыбки твоей тесновато,  
Тень твоя тут не поместится тоже.

Всё же войди, ее свод поднимая, —  
Взорам лучистым неведома старость.

Очень узка моя комната, знаю,  
Только о зале мне и не мечталось.

Стелется дым табака надо мною,  
Годы мои мимолетными стали.  
Комнату благослови всей душою,  
Словно летучую мышь средь развалин.

Если к луне ночью гость появился,  
Надо поднять потолок, как бывало.  
Знаю, цена человеку — огромна,  
Всё же не больше, чем комнате малой.

Будь же, улыбка души моей, проще,  
Вместе согреем дыханием стены.  
Стану сокольничим этою ночью,  
Я приручу тебя, ястреб мой белый.

#### 151. НА ГОРЫ ВЗБЕГАЕШЬ ТЫ...

На горы взбегаешь, не старишься ты;  
Метнут изумруд в тебя йорские волны,  
А всё же мне мало такой красоты,  
Тропинкой взбираюсь на горные склоны.

Подъемом ударь в мою грудь иль в ночи  
Мне спуск облегчи твоей лестницей прочной,  
На Мтквари вначале мне мысль обточи,  
Потом покажи бирюзовую ночь мне.

Одень меня в шелест чинары, устрой  
В ущелье вечерю, а можно — над склоном.  
А хочешь: разрушь меня или построй,  
Ну, скажем, как дом, что раздумьями полон.

Взнуздай мою душу иль дух мой волнуй,  
Я слушаю молча твои разговоры, —  
Мне тысячу сказок сложи и одну  
О Грузии, что замурована в горы.

Писать стихи я выучился поздно,  
Хоть пел давно о жизненном пути.  
Зовусь я — мастер радости, мне можно  
В твой тихий дом с улыбкою войти.

О, как прекрасно молодость и силу  
Иметь и мудрость старца постигать,  
Чтоб сердце, как орешка сердцевину,  
Однажды братьям девяти раздать —

Всё до конца! И только строчки чутко  
Я для любимой в сердце сберегу;  
Ее в строфу воркующей голубкой  
Я посажу и дам ей рифм серьгу.

Писать стихи я выучился поздно,  
Хоть много чувств истрачено в пути.  
Зовусь я — мастер радости, мне можно  
И странником пустыню перейти.

Я девушкой пленяюсь рыжекосой  
И Картли богородицей пленен.  
В камин подброшу стих, из жизни прошлой  
Гонца не жду, огнями озарен.

О богородица, явившаяся втуне,  
Как ранний снег, так седина моя.  
Я схож с камином, что дымит, и всеу  
Молюсь душой задымленную я.

### 153. ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТБИЛИСИ

Стой, грузовик! Подхожу, подошел;  
С гордостью в узкую будку влезаю.  
Мне улыбнулся смущенно шофер,  
Ночью в Тбилиси летим, уезжаю.

В буках колышется тьма, вдоль моста  
Мягко фиалки луна набросала.  
Дума в дороге, а в небе звезда,  
Вижу, как утро, уже замерцала.

Спать мне не даст расстоянье; шофер  
Крепче схватился за руль, подобрался.  
Тоже частицею дремлющих гор  
В горные сны я, как в сети, попался.

Внемлю шоферу, веду разговор,  
Тучу дождя я с сомнением взвесил.  
Кто-то зовет меня голосом гор —  
Так поезжай между высью и весью!

От бездорожья и мне дай устать,  
Должен к собрату и ты торопиться.  
Должен на плечи я груз поднимать,  
В смелости с горной водою сравниться.

Наш грузовик нужен родине так,  
Как золотая пчела. Ты послушай  
Вот что, шофер: покури мой табак,  
Он твоего табака ведь получше.

Лучше «Победы» и твой грузовик,  
Вольным набегам ущелье внимает;  
Брат, это ведь на дорогах твоих  
Чистый твой пот, проливаясь, сверкает.

В облаке ложе твое, среди звезд;  
Буки ветвятся во мгле небосвода;  
Не подломился в ущелье бы мост,  
Брат, мои мысли не вывали в воду.

Горечь мою не развей и уважь:  
Утром туман проруби; через выси  
Добрые замыслы — весь наш багаж —  
Мы привезем дорогому Тбилиси.

154

Снится мне: сию в кувшине  
И петуха кукареканье слышу.  
Онемел иль ранен, ныне  
Я тишины, как мне кажется, тише.

В чури я иль пал в канаву,  
Волосом конским мне спутало ноги.

Рис мне нынче не по нраву,  
Дайте горячего хлеба немного.

Пули свист — в ушах звенит ли,  
Не различаю рассветы и ночи.  
Грезу-жажду утолит ли  
Облако, схожее с буйволом тощим?

Ртвели или чури вижу,  
Глину попробовал дед до работы.  
Лай собачий где-то слышу,  
Чу, у калитки зовет меня кто-то.

Веко вдруг затрепетало,  
Шрам остается на ветке дубовой.  
Надо мною тень чинары,  
Словно прохлада струи родниковой.

Острый нож хирурга светел,  
С голубоватым холодным отливом.  
То ль шумит нездешний ветер,  
То ли зовут виноградник и нива.

#### 155. МАРИКЕ

Вместе мы были, все дни и все годы, всё время,  
Это не басня, поверьте, а правда сама.  
Словно когда-то хотели вдвоем у камина  
Щепку, еще одну, сдвоенной жизни зажечь.  
Если бы диким, пещерным я был человеком,  
Был бы я рад, словно первому дыму, тебе.  
Словно кольцо золотое я выковал, юный,  
Взгляд твой искал, чтобы золотом окольцевать.  
Год наступает четырнадцатый, год военный,  
Год наступает дождливый, семнадцатый год.  
Где ты? — я звал, а ведь ты не откликнулась даже,  
Маленького облегчения мне не дала.  
То черепахой к тебе, то бегом я стремился,  
Грез уголок — так в душе я тебя называл;  
Двадцать седьмой и сентябрь тридцать третьего,  
бедность,  
Комнатка в парном паденье уютных секунд.

Всё это было и в узел любовь завязало.  
Звезд было две — это взор твой меня украшал.  
После — безгорестной истинной жизни заботы, —  
Всё это хрупким теплом называю сейчас.  
Годы тридцатые. . . год сорок первый тревожный,  
Сколько случайностей гнули надежду мою.  
Ветер порывистый, воспоминанье и горечь —  
Всё это вместе и вправду отчизной зовем.  
Встанешь, поправишь в ночи одеяло ребенку,  
Страх за него и молитва о счастье его —  
Всё это в узел тугой мы вдвоем завязали,  
Две золотистых звезды мы зажгли на столе.  
Вместе мы были, все дни и все годы, всё время,  
Это не басня, поверьте, а правда сама.  
В плущ крепостной мы закутаемся, а не в лавры,  
В день нашей смерти мы ляжем в могилу одну.

156

*Миколе Бажану*

Мы многим дорогам обязаны многим,  
А значит, сроднились с тобой не вчера;  
Нас нежность пиримзе встречала у Тмогви,  
Калины краса нам цвела у Днепра.

Нам общее горе, я знал, было личным,  
По-братски сидели, веселье любя;  
И притчу святую, о дружестве притчу,  
Я помню, народ твой узнал от тебя.

Снега моей памяти борются с сердцем,  
Снега и дожди оставляю горам.  
Дай руку мне, дай мне сейчас опереться,  
Спокойно пройти по висячим мостам.

Горят пред глазами днепровские ивы,  
Я сполохи вижу в вечерней тиши;  
Я празднику внемлю твоей Украины,  
Но кто успокоит мне язву души?

Ведь если от боли страдал я когда-то,  
Ты тут же с надеждой ко мне приходил.

О, снова зовешь меня голосом брата,  
Как рану мне скрыть, если боли не скрыл?

Одна только боль во мне борется с сердцем,  
Да вижу: пиримзе исходит слезой.  
Дай братскую руку мне, дай опереться,  
Чтоб вместе пройти по дороге ночной.

157

Когда топтал песок у Мтквари, дома  
Бумаги лист исписанный лежал.  
Что в смене дней тебя увижу снова,  
Что встречу — нет, не думал, не гадал.

Как мог подумать, что не постареешь,  
Очарованье, смелость сохранишь;  
Дождем старинных слез, которым веришь,  
Тебя обнимут юг, ночная тишь.

Как мог подумать, что под чуждой сенью  
Душой не оскудеешь, что без нас,  
Бестенные, быть может, наши тени  
Там, в Сагареджо, ходят и сейчас.

Легли следы на берег в дымке мгlistой,  
Их соль волны не стерла, может быть;  
Твой голос, может, и сейчас в Манглиси,  
Где сердце я хотел тебе открыть.

Не думал, нет, что вспомнишь нас, что в доме,  
У Мтквари, запылаю, как тогда:  
Как будто мчатся экипаж и кони,  
Зовешь меня с Верийского моста.

Не станут дни и чувства золотыми,  
Хотела б нежность сохранить, а мне  
Как приласкать, взглянуть, промолвить имя;  
Мы отдохнуть не можем на земле.

Года ушли, куда ушли — не знаю,  
Как паруса летят — я остаюсь;  
Зарю на Черном море вспоминаю  
И вновь воспоминаньям отдаюсь.



Пока на Верийском мосту я стоял,  
 В груди моей юности нота звучала.  
 На горы глядел и богаче я стал,  
 В день дважды на мост приходил я, бывало.

Бывало, беспомощный, там я стоял,  
 Мне жизнь открывалась иной стороною.  
 «Постой, не спеши, — так я жизни сказал, —  
 Не рухнул бы свод голубой надо мною.

Не рухнул бы мост подо мной», — я сказал.  
 Но были опоры тверды: не опасно  
 Темнело; я стол на мосту накрывал,  
 Я пил, и не стал я врага опасаться.

С корзиной ты шла. Земляника твоя  
 Созревшей красой освещала картину.  
 Но к берегу Мтквари спустился и я,  
 Сверкнувшие звезды насыпал в корзину.

Груз лет был на мне; я боялся тогда,  
 Что саван и тьму принесут мне метели.  
 Но снова считаю недели, года:  
 У жизни не смог я украсть дни апреля.

На свод и на мост я гляжу из окна:  
 Вон путник проходит тропую нелегкой,  
 Трамвай не грохочет, вдали тишина  
 Плывет золотистою звездною лодкой.

Мы ищем былые шаги; как звезда,  
 Нам Мтквари сияет всё ближе и чище;  
 В нас радость волной перельется, когда  
 Следы на мосту, вот на этом, отыщем.

Вечереет; с горы я спускаюсь тропую;  
 Дети бегают, вижу, в квартале своем.  
 Как Толстой, я с отпущенною бородою;  
 Прохожу я и пальцем играю ремнем.

Я присяду на пень у подножья; там ветер  
Шепчет горным чинарам об этом, о том;  
И чинары подходят ко мне в этот вечер,  
А незримыми станут, конечно, потом.

Больше мучиться здесь, на тропе, не желаю,  
Не желаю к себе небеса призывать.  
Больше ночь на Мтацминде встречать не встречаю,  
Так хочу: буду в вечер мой камни кидать.

Путь мой прям как струна; я засохшие ветви  
Для тебя близ огромных камней отсекал.  
Я встречал тебя в грезе, в нахлынувшем свете  
И в Тбилиси на улицах узких встречал.

Пусть начало ночей меня встретит в ущелье.  
Почему эта засуха ходит за мной?  
Всё молчанье мое, всё терпенье, мученье  
Не учел календарь, обошел стороной —  
И в святые меня не зачислит святой!

Мне в душе твоей строгой остаться хотелось,  
Мне в Тбилиси не видится церкви другой.  
Тратил чувства, как деньги, как звонкую мелочь,  
Огорчения сеял я щедрой рукой.

Где же брат мой — соратник души; неужели  
Там, в тени у платана, нет равного мне?  
Я с горы ухожу, как Толстой, но в молельне  
Мне дверей не откроют в глухой тишине.

Всё ж грущу; не сверкай надо мною слезами, —  
Сердце так же пустеет легко, как поднос.  
Цвета сумерек мир между гор, между нами,  
Он не станет светлей от улыбки и слез.

Дай сердечные капли; приди; стань опорой, —  
Может, ночь растопчу. Среди белого дня  
Для чего затеваю то речи, то споры,  
Если Грузия завтра забудет меня?

Сжег я ладан души над Курой; над скалой  
 Дыма вижу курящийся столб.  
 Я гляжу; я верблюду вечно жаждущий твой,  
 Посадить тебя должен на острый свой горб,  
 Мчатся в густо заросшие горы.

Моя греза: мегрельская пацха, луна,  
 Легкий ужин с тобой у огня.  
 Если станет мне жарко в горах, ты должна  
 Серебристой косынкой овеять меня,  
 Родником из кувшина обрызгать.

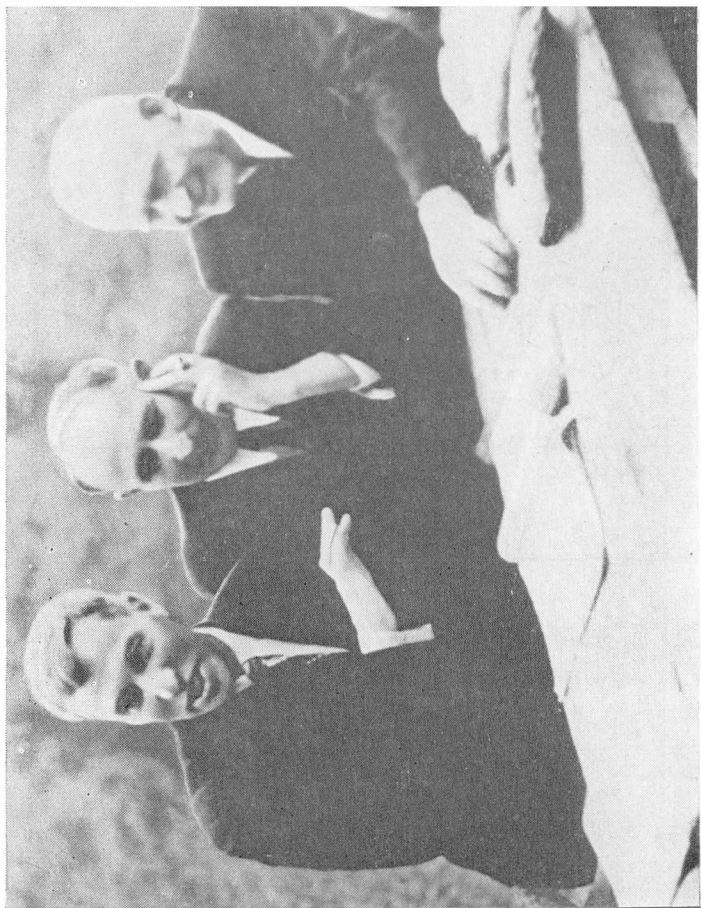
Но зачем меня станом пугливым манить  
 И во сне моем так красоваться?  
 Не желать на худого верблюда вскочить,  
 С этим знойным Тбилиси расстаться?

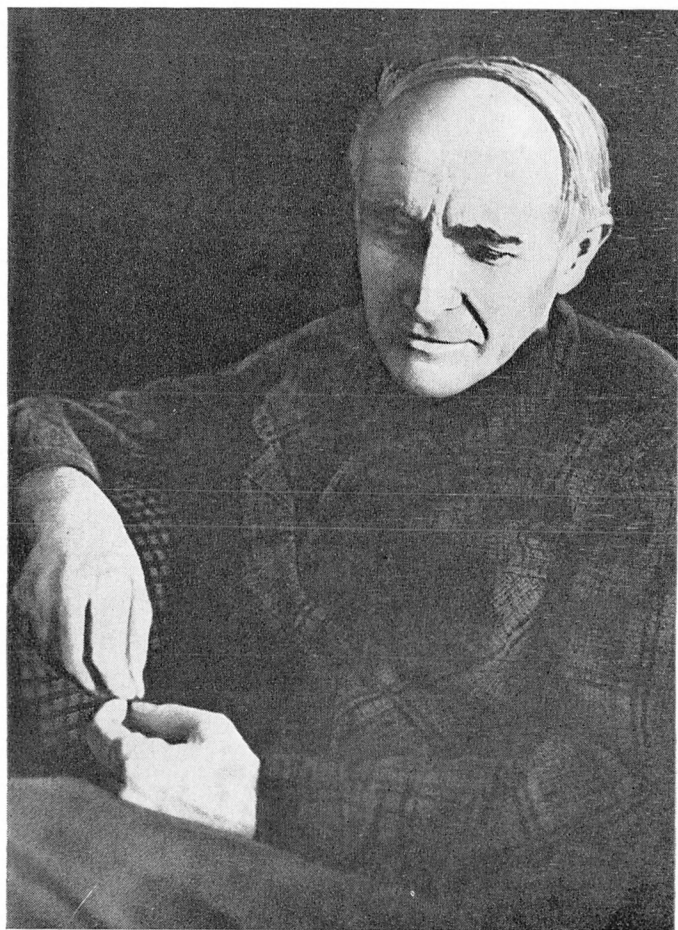
О, как плавно идешь, о, как ноги болят,  
 Как воды из колодца приносишь;  
 Раны сердца касаешься ногтем опять,  
 Безобидно и ласково смотришь.

Сеть паучья во взглядах твоих; что ни день —  
 Невод рыщет вдали, на просторе;  
 Плотность облака там и расщелины тень,  
 Журавлиные стаи до моря.

Кто чинару срубил? Мое сердце болит —  
 Излечи и вдохни в меня силы!  
 Над тобой позлащенное небо горит,  
 Звездным золотом небо мостили.

Я на след твой гляжу, на сияющий свод;  
 Млечный Путь, вот где коши отныне!  
 Посадить тебя должен на острый мой горб  
 И умчатся в родные пустыни,





Я маленький цветущий сад разбил,  
 Деревья-грезы там плодоносили.  
 В вечерний час навеки уходил —  
 Я не сумел отведать сочной сливы.

У тени сада я скорбя стоял;  
 И тень, как гроб, раскинулась широко.  
 Слезами оросил я слез квартал  
 И свой аршин отмерил по дороге.

Что кроме строк останется? Я жил,  
 Я много раз бывал владыкой жизни;  
 Святое сердце я стихом кормил,  
 И вился сокол в небесах отчизны.

Мне кажется, клинком себя пронжу,  
 Мне собственная грубость — как мученье.  
 Одни страданья я переношу  
 И в сердце посадил лишь утешенье.

Пришел и ушел я так рано из Рима,  
 Что взгляд не успел дотянуться до края.  
 Хочу я на камне сидеть молчаливо,  
 Летящие годы мои догоняя.

Ужели бегут меня тайные мысли?  
 В сомненье сердечном я веру предвижу,  
 На мне сожаленья ночные повисли,  
 Мне кажется — я Микеланджело вижу.

Иду; забываю вокзала ступени,  
 Я глыбы обтесанные вспоминаю;  
 Хочу подтвержденья ревнивицы-тени —  
 Я римского утра дождусь, полагаю.

Тоска меня давит; дышать тяжелее;  
 След-коготь на мне: так судьба прикасалась.  
 Поблескивая и мерцая, темнеет  
 Ночь. Ранена ночь! В твердый камешек сжалась,

Я с камнями римскими грусть сопоставил.  
Голубка, дичась, на вершину взлетает.  
Иду; Капитолия купол оставил,  
Я слышу, что всадник меня догоняет.

Кто ранил ночь Рима? Мне, греясь на камне,  
Смыкать бы до утра дремотные очи.  
Ты с лошадыю спрыгни и голос подай мне,  
Отдай, уступи мне боль раненой ночи!

Пришел и ушел я под вечер из Рима,  
Душа беспокойна; слова исчезают;  
Бежать, улететь я хочу нестерпимо —  
Так быстро, как годы мои пролетают.

### 163. МАМЕЛЮКИ

Там бледная мгла, Средиземное море,  
Прибой бирюзой закипает.  
В душе ли моей иль в огромном просторе  
Лучина Колхиды пылает?

Мне чудится, словно чинары лепечут  
И шепчет листва о разлуке;  
Где море исходит, там тени трепещут,  
И ждут меня там мамелюки.

На скалах огонь высекают подковы,  
Рогов мне послышались звуки;  
Без родины трудно и всюду сурово,  
И кличут меня мамелюки.

У них, что на тквирических росли кобылицах,  
Как взгляд изменился в чужбине!  
И в знойной долине с покорностью в лицах  
Пристанища ищут отныне.

Их гнали, как ланей. Теперь вспоминают  
Глаза, материнские руки;  
Арабских теперь жеребят объезжают  
И «челу» поют мамелюки.

А помнят ли проса поля, деревушки,  
Заборчики, хаты-плетушки?  
В страну, в ее долю, я тоже врезаюсь,  
О берег душой ударяюсь.

Неужто из гроба сюда, в переулки,  
Теней простираются руки?  
Там черные кони, там черные бурки,  
Мерещатся мне мамелюки.

164

Сорвались слезы с глаз твоих; скорбя,  
Я подобрал и в дом отнес их. Тьмою  
Ночь страшная настигнет ли тебя,  
На тихий зов предстану пред тобою.

Пересчитаю звезды и отдам,  
Чтоб ночь в ущелье ярко освещалась,  
Чтоб ты по нашим золотым следам  
До уголков души моей добралась.

Скажу: бери, я звезды обернул  
Сухой соломой; в доме выбрал место;  
Их у меня и ветер не задул,  
Просил их дед на семена, но тщетно.

То — искры, что похожи на глаза,  
Они, сверкая, говорят как будто;  
Бесчисленными каплями роса,  
С твоих ресниц свисающая утром.

Всех досчитался; среди ночей моих  
Мхом не покрылись; звездные иголки  
Пронизывают, чуть касаюсь их,  
Они остры, как жемчуга осколки.

Ты звезды наделила красотой,  
Пушком легчайшим, персиковым цветом,  
Каштановой колючей кожурой  
И звонким заливающимся смехом.

243



Я — старый поседевший звездочет,  
А ты — с весны по золотую осень —  
Лучащийся, румяный небосвод  
Или гумно, где тысячи колосьев.

Я те колосья ночью накосил;  
Их во дворе вплету в плетень недвижимый,  
Чтоб путнику, что выбился из сил,  
Путь освещали на закате жизни.

## 165

Это родник мой, он мал, но запомни:  
Он и тебя напоит у плетня.  
Ныне, о друг, ты «спасибо» промолви,  
Власти отведай — и вспомни меня.

Сядь под орехами, влажной ладонью  
Лоб охлади; отдохни; помолчи.  
Я ведь один у тебя, кто — с тобою,  
Горло твоё пересохло — смочи.

Груз облегчи, не устало бы тело  
От трудового кипучего дня;  
Грезу твою обвивает омела,  
Власти отведай — и вспомни меня.

В прошлом году ты скрываться б не стала,  
Этой воды подала б из горсти.  
Если иссякнет родник этот малый  
В засуху, грех мой забудь и прости!

## 166. ЖИЗНЬ-МГНОВЕНИЕ

Твой чистый пот, он льется зря сейчас,  
Коль мучаешься мукой многолетней.  
И что ты в этой жизни, суетясь,  
Копаясь, выскивая сплетни?

Ведь если жизнь — мгновенье, твой расчет  
С тобой и рассчитается невольно:  
Сперва ружье кремневое рванет,  
А после сеть раскинется привольно.

Есть мед в минутах утренних, горчат  
Они под вечер; небеса темнеют;  
И только жизни чувства, коих пять,  
На рубеже зимы зазеленеют.

Мне б освятить родник; до дна рассвет  
Хочу увидеть — для того родился!  
Минута-жизнь, кизилковый твой цвет,  
Кому он цветом сумерек приснился?

Кто пот не любит золотой, любя  
Веселье слов и мудрости молчанье?  
Мгновенье-жизнь, мы гости у тебя —  
В гостях не стало б горьким пребыванье.

Лучина мне указывала путь,  
Бывало, силы в теле не хватало;  
Минуту жизни трудно протянуть,  
Но груз судьбы тянуть не трудно стало.

Звезда ли пала с неба — велика  
Печаль сестры, что причитает где-то;  
Бессмертия коснулась ли рука —  
Кому, зачем бессмертье нужно это?

Закат во мне; люблю на склоне лет  
Тропою подниматься к небосклону;  
Не вечер выбираю, а рассвет  
И ночь без сна, а не дневную дрему.

167

Голос твой Кура заглушит на миг,  
Видишь слезы, — я плачу открыто,  
Я жаждой томимый, старый старик,  
Ты — родник мой и ты — Маргарита!

Если, слушай, как Фауст, ослепну я —  
Ставлю крест над жизнью над всею,  
Просияет мне красота твоя —  
Подойдешь, я сразу прозрею.

245

В гору взброшу ярмо я, покорный ярму,  
Дам ладоням жестокую лоз позолоту,  
У дубов Мухрани я корни возьму,  
Одолею Колхиды болота!

Не хочу, чтоб со мной лишь греза моя,  
Будь поддержкой, за труд мне наградой,  
Ты родник в горах — только старец я,  
И вернуться мне в юность надо!

168

Не явился я к раннему ртвели,  
Не пришел в дни апреля, в дни роз:  
В декабре я родился, в деревне,  
Снега блеск я заметил, мороз.

Нет, не плакал я в буковой люльке —  
Стылый вереск и пашню топтал,  
Лоб студило в палящем июле  
Миро — нежной лазури овал.

Может, был ненавистен я птицам,  
Только в точно назначенный срок  
Постареть я успел; надломиться;  
Плоть осталась, а душу я сжег.

Да, цветок в моей комнате вырос,  
Беззащитный и странный цветок.  
Да, к отчизне любви я не вынес,  
Я любить ее меньше не смог.

Мою чистую грусть порицали,  
Так как я бубенцы отвергал.  
Я метался. Не спал я ночами.  
Я в ущелье спускаюсь. Устал.

Не прохожий, пришелец-насмешник,  
Я колодец души углублял;  
Был я труженик, был и кудесник;  
Что в снегах упаду, я не знал.

Нету сил; я кажусь себе лишним,  
Ночь раздумий, приди в тишине:  
Исцарапан в кустарнике жизни,  
Лишь созвездие капель на мне.

Я ни в чем себе не изменяю:  
К утешенью, как прежде, стремлюсь.  
Что погибну в ущелье, я знаю.  
Мертвый, с гибелью я не мирюсь.

#### 169. ЗЕДАЗЕНП

Помнишь гряде зедазенскую тоже?  
Ты, как косарь, вела нас, подруга,  
Белей миндаля, апреля моложе —  
Ты походила на лилию луга.

Трое влюбленных, с тобой мы бродили,  
Ты вдохновляла наши усилья,  
Мы, соревнуясь, про время забыли,  
Всю высоту без тропинок осилив.

Арка ли света иль темные тени —  
Встретил нас храм стариною такою,  
Но тишину мы нашли в Зедазени,  
Горным дышавшую чистым покоем,

Буков безмолвных кроны я слушал,  
Леса в обрывах дремавшие сени,  
Я о тебе только думал, и душу  
Светом наполнил покой Зедазени.

Солнце светило в уступы косое,  
Чашу туманы слегка затанули,  
Будто там свадьба окончилась соек —  
Все обитатели леса уснули.

Стали безмолвны все горные дали,  
Лес же, как друг, замолчал в ожиданье,  
Мы ж на траве вчетвером пировали,  
Лесу читая Гёте мечтанья.

Струйки вина на траве заблистали  
В арке сияющей светотени,  
Точно с тобою мечтою мы стали,  
Солнце, краса твоя и Зедазени!

Храм весь в потоке закатного света,  
Солнцем зажженный, пылал над горою,  
Снизу как будто взлетела к нам Мцхета,  
Снова Арагви столкнулась с Курою.

### 170. ПАРОМЩИК

Качался паром. Горы синие в Гурию  
Виденьями юности звали знакомо.  
От горных потоков река была бурюю.  
Всё, с чем я вернулся, — пустяшной соломы.

Помог я паромщику в платье с прорехами.  
Смотрел я на быстрый Риони, на полдень...  
Как рты у мальчишек набиты орехами,  
Так он был историями наполнен.

В течение реки сок струился кизилковый.  
Паромщик ходил не спеша по парому.  
Хотя башмаки его рты поразинули —  
Прошел он нетрудную в жизни дорогу.

Он не был тесним ни столами, ни стульями.  
Здесь дуб шелестел в окружении роши.  
В ночи, просветленной лишь звездными ульями,  
Как пастырь, рассказывал что-то паромщик.

Он — вестник ночной в облачении скудненьком  
Был, словно луна, в световом ореоле.  
А темень могилу готовила путникам:  
Как жезлом — до дна — рассекая Риони.

Всю ночь я выслушивал шепот кустарника.  
Всё, с чем я вернулся, — пустяшной соломы.  
Меня спас от смерти паромщик тот старенький,  
Когда меня в Гурию сvez на пароме.

Теперь же здесь мост.

Только зелень ущербная  
Здесь всё еще тихо шумит или ропщет.  
Парома уж нет. Но в могиле, наверное,  
О нем всё рассказывает паромщик.

#### 171. ШАГИ

Я собираю в комнате шаги.  
Шаги теряются, и я об этом знаю.  
То яркий свет, то не видать ни зги —  
Шаги, являясь, снова исчезают.

Я собираю в комнате шаги.  
Шаги вокруг в невидимом витают.  
В любимом воздухе они теперь легки,  
И от шагов шаги в пространстве тают.

Неодолимое желание — собрать  
Сопутствует всем помыслам поэта.  
И собирает он шаги добра —  
И сотворяет целый мир из света.

Шаг вечности порог преодолел.  
Бесчисленное счислено шагами.  
И шаг огромный к звездам улетел,  
И изумил, и одарил мирами.

Крадущиеся — те мне не чета.  
А я ищу всё первообраз шага.  
Моих шагов уже не сосчитать,  
И время сломано их ходом и отвагой.

Я удивлен, признаюсь, удивлен,  
Что я свои шаги собрал стихами.  
И, в бесконечные раздумья углублен,  
Я всё хочу нагнать шаги шагами.

#### 172. НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ К РОДИНЕ

Твой образ, как очарованье, встает,  
Тепло мне дала, не страшны мне метели.  
Хотя и прибавится мне этот год,  
Я, меквле, пришел я, распахивай двери.

Ты тоже, год новый, войди, а не стой:  
Кто дружка у жизни, у времени? Вспомни.  
На грудь мне звезду кинь, мой невод большой  
Трепещущей, свежую рыбой наполни.

Большим изобилием нас одари;  
Я тоже стал дружкой, я вестник без рога;  
Обрадуй весной, полосую зари —  
Печаль седины облегчи мне немного.

А ты, в чью святыню уверовал я,  
Сияй! Твоя доблесть огромна, как небо:  
Ты — родина, ты — дорогая моя,  
Ты зерна растишь моих мыслей и хлеба.

Натружен и я вереницею дней,  
Развернут твой лист полосую-зарю:  
Читаю и радуюсь мощи твоей,  
Гляжу на звезду, что взлетает с тобою.

Мне замыслы надо острее отточить,  
Поклажу взвалить на себя, как бывало;  
Должна ты звездою мой путь озарить,  
Меня убережь от зимы одеяла.

Приди, растопи этот снег на горе  
И выпей хваленой и праздничной влаги;  
Пришел я — калитку открой во дворе  
И в доме моем зажигай чичилаки.

173

В моей любви не надо сомневаться,  
Душа поэта — божьей книги свет.  
Что кольца? Я могу сейчас признаться:  
Терялись часто. Находились? Нет.

На седину мою не намекай мне,  
С Казбека Терек воды мчит свои;  
В Китае так написано на камне:  
«Мосты стоят на волоске любви».

Не гнись, свои утраты вспоминая, —  
Сок виноградный в сумерках вкусней.  
Не прилетай, не улетай, вздыхая;  
Пойдем, как шли, по камню наших дней.

В снегах не зябни, стой, приподнимая  
Снянье взгляда, — я тобой горжусь.  
Шепчи, нашептывай не умолкая,  
Не то уйду сейчас и не вернусь.

174

Вот и двадцать пять лет за спиною,  
Как ярмо наше с нами. Не раз  
Я томился смертельной тоскою —  
Догораю и тлею сейчас.

Я бессилен и чист; так случилось —  
Ты опорой мне стала, я сед.  
Наша жизнь, что почти совершилась,  
Улетает — ей плачу вослед.

Мне огонь еще нужен на завтра,  
Чтобы рядом дышать ты могла.  
Меня осень печалит внезапно,  
Словно жизни ночная мольба.

Но не гаснет, горит и сверкает  
Четверть века — труда красота.  
Копошусь; голос твой помогает  
Говорить с тишиною листа.

Четверть века. . . А лист расцветает,  
Над которым я ночью сидел;  
Вот и в озеро греза всплывает.  
Ты всё та же, а я постарел.

175. ЛАДО ГУДИАШВИЛИ

Ты пленяешься синим застольем,  
Ты сокровище, столп красоты;  
Мост рисуешь и высокогорье,  
Кистью душу мне трогаешь ты,



Пляшет тело кинто рядом с бездной,  
И форель изгибает волну;  
Этот буйвол, как камень волшебный,  
Затаился, не шиплет траву.

Плот мечты промелькнул. Где гуляет  
Серафита? Вскочив на коня,  
Амазонка летит; пролетает  
Над Метехи луна из огня.

Красок колокол, звон лучезарный!  
Рыбаков оглушает простор.  
Ты апрель мой, и ты Опизари  
И тбилиских созвездий узор.

Ты беседовал линией с нами  
И с лозой свои корни сплетал.  
Где лежит, одинок, Пиросмани,  
Ты за Грузию тост поднимал.

Сеть фазанью забрасывал точно,  
На маслине свой взгляд задержал  
И под сердце, как скатерть, сорочку  
На зеленой траве разостлал.

Снежным облаком волосы стали,  
У Кинцвиси душа прилегла;  
Очи ночи проводят у Мтквари  
И горят в два костра до утра.

Твоя линия в сердце мне входит  
Соловьиною нотой с листа,  
На ристалище город походит:  
Глаз борьба, наготы красота.

Мне из фресок твоих бесконечно  
Скорбь почей улыбнулась вчера.  
Шелест Мтквари следишь и беспечно  
Сны разглядываешь до утра.

Как сумел всё объять чистотою.  
Ты влюбляешься в девственный взор.  
Я скажу тебе, Ладо: душою  
Ты похож на горящий костер.

## 176. МИРЗЕ ГЕЛОВАНИ

Нам написал с поля битвы; с планшетом  
И со стихами ты не расставался;  
Где-то упал на равнине, при свете  
Зарева раненым туром казался.

Глянул на поле, прибитое танком;  
Встретился взглядом с ночью звездою.  
Сердца частицу оставил нам, так как  
Много стихов погибало с тобою.

Хрупкая ветка в тиши поникала  
Там, среди развалин, над телом упавшим;  
В сумерках крепость Орбели сверкала,  
Лист пролетал по дороге к Муаши.

Быстро привстал, говорят, над дорогой;  
Кровь, говорят, на носках проступила.  
Слышал не тихие реки, а грохот,  
Снилась душе ладжанурская сила.

Горец, ты силу осилил стремнины,  
Через болото пробился к рассвету.  
Гром твоих строчек — он близок мне; ныне,  
Младший мой брат, я ищу тебя, — где ты?

Голос твой, тон — как горы гулкий камень.  
Сможешь согреться ль в низине душою?  
Против войны ты шагнул в ее пламень,  
Смелую жизнь свою отдал весною.

## 177. ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

Ночь; а я дверь оставляю открытой,  
Путник ли явится — всё может быть:  
Может, с фиалкой войдет перебитой,  
Быстро войдет — не придется звонить.

В доме открытыми двери оставил,  
Бес подозрений ко мне зачастил:

Как бы кто пулю в меня не направил,  
Полный до края стакан не разбил.

Что же я дверь оставляю открытой,  
Ночь, а не путник, идет; в полутьме  
Видно, что ночь эта очень сердита,  
Да не нужны ее рассказы мне.

В доме остались открытыми двери,  
Сердце и дверь не закрыл на замки:  
Я бы хотел получить можжевельник,  
Рододендрон, из Тушети носки.

Дайте мне рододендрон, можжевельник!  
Путника хочется мне заманить,  
Сердце оставить открытым и двери —  
И никому не придется звонить.

#### 178. ВЛАДИМИРУ МАЯКОВСКОМУ

Твой голос в народе. Бывало, при жизни  
Претил тебе звук, если отзвук пустой.  
Каймою стихов окружил ты отчизну,  
Сказал о Багдади одною строкой.

Ты кинул Риони строку и оттиснул  
Свой след на песке; над волной постоял;  
Послушал, как ветер поет в Кутаиси,  
Басистую нежность горы перенял.

Стал голос алмазом, стал режущей силой,  
Волна окрылила тебя синевой;  
Твой голос потом распахнулся в России  
Красивою тяжестью и широтой.

И гор голоса говорили с тобою,  
Туман над хребтом ты плечом разорвал  
И разноголосьем и крупной рукою  
Границы державы не раз обнимал.

Твой шум не прервался; твой шум настоящий;  
А след на песке лишь заметнее стал;

Ты свой в этой жизни, ты непреходящий,  
И нежно, бывало, твой гром рокотал.

А бархатный бас твой в народе. При жизни  
Претил тебе звук, если отзвук пустой.  
Каймою стихов окружил ты отчизну,  
Сказал о Багдади одною строкой.

Ту строчку, что не расставалась с тобою,  
Десницей на русской земле посадил.  
Твой голос сравнил бы я с первой весною,  
С грузинской любовью еще бы сравнил.

### 179—180. СТИХИ О ПИРОСМАНИ

#### 1

Вечереет откровенней,  
Входит ослик в ночь проворно;  
Уточняется мгновенье  
Цветом ночи, краской черной.

Ты желал бы с приговоркой  
Выпить чай неторопливо;  
Подмигнул подружке бойкой,  
Показал ей дар, любимой.

Плот рисуешь на досуге;  
Спел арбуз твой сотворенный;  
Над Курой поет дудуки  
О ночах, о краске черной.

Ночью яркое светило  
Нам нашел в ущелье; с нами —  
Зеленщик, участник пира.  
Грузия, ты — Пиросмани!

Грезил свежестью цоцхали,  
Виночерпий, ты — рыбачил;  
В дождь упал, на лоб упали  
Дождь и лестница в придачу.

Ночь над улицею узкой  
Охраняла стены эти;  
Дом твой тихий, как церквушка,  
Разрисован кистью в Цхнети.

Относился плохо к телу,  
На ходу болел; ночами  
Рисовал отсюда Веру,  
А оттуда Ортачала.

Бегал вдоль Куры — попали  
Сомы в сети; дни короче —  
На горе тебя догнали  
Ночь, орел и краска ночи.

2

Шагал вдоль балконов-рисунков ночами  
И думал, что спит Маргарита — устала;  
Любил ее, слал ей корзины с цветами —  
Квартира в душистых цветах утопала.

Назло дудукистам не пьянствовал скрыто;  
Вина не хотел, хоть застолье шумело.  
А бледная нежность твоей Маргариты  
Два раза на белом холсте потемнела.

А некий кутила шатался по скверам,  
Он шел по кварталу, протак одинокий.  
О, как Маргарита, я крикну, посмела  
Обречь твою бедность на крайность дороги!

А может, ошибся? В Цагвери запела  
И слух иностранный сейчас услаждает;  
А может, внезапно слегла, заболела  
И где-нибудь лечится и увядает.

Не завистью был знаменит, а любовью.  
Художник, познал ты святую беспечность,  
А Грузия только плелась за тобою,  
Ее обогнал — и шагнул прямо в вечность.

Я думал так: сильнее твой размах.  
 В душе росток завянет — сам я сгину.  
 Ну что же, знаю, погребешь мой прах,  
 Жаль вот: до срока я тебя покину.

Хотел борьбой участвовать в борьбе,  
 Строка словами предков говорила.  
 Смерть на дороге встретилась тебе,  
 Дивлюсь, что ей меня ты уступила.

Хотел туманом тонким при луне  
 Твой край обвить, чтоб ты им любовалась.  
 На родине бросали жребий: мне  
 Гурамишвили мельница досталась.

Сам выберу последнее жильё  
 На пастбище, в горах, знакомых с детства.  
 Прощай, стихов сокровище мое,  
 Прощай, о чаша маленькая сердца.

Оставил бражников. Ушел, дорогой зван.  
 В душе ростки завянут, сам я сгину.  
 Неужто я исчезну, как туман,  
 Ужель тебя до срока я покину?

Сам выберу последнее жильё  
 На пастбище, в горах, знакомых с детства.  
 Прощай, души сокровище мое,  
 Прощай, о чаша маленькая сердца.

#### 182. В МАЛЕЕВКЕ

Утро настанет, и в лес мы уходим,  
 Ветви раскачиваем и гуляем;  
 В снежном лесу тишину мы находим,  
 Наши следы на снегу оставляем.

Царствует вечер в лесу, ну а утро  
 Там, возле дачи, по-моему. Дышим  
 Тихо, прислушиваясь поминутно,  
 Слово иль речь только где-то слышим.

Ясени тронув, подходим к березам,  
В веточках бука наш взгляд отдыхает;  
Множество дум своих в лес мы приносим,  
Множество мыслей нам лес возвращает,

Ивы, вчера поругавшись, смутившись,  
Ветви прямые сегодня нагнули.  
Как паруса, в тишине прорубившись,  
В лес мы вдвоем далеко заглянули.

Лес приобщить к нашей тайне желая,  
Ясеней снежные ветви качаем;  
В небо уносится мысль голубая,  
Мы же следы на снегу оставляем.

Мы осторожно скользим, словно глину  
Ищем гончарную; нам не стоитя.  
Если не встретится утро нам, длинный  
Вечер в лесу всё равно еще длится.

*11 июля 1965*

183

Март меня капризно навещает,  
Ветром счастлив, мимо он летит;  
Адреса навеки вырывает,  
Путь мой этим ветром перекрыт.

Парус дней, я чувствую, помчался  
В бледное ущелье между скал.  
Рукописи я не доискался  
И собрата след не отыскал.

Я иду — куда или откуда;  
Иль и впрямь иссякло волшебство?  
Уделить вам хоть немного чуда  
Я хочу, а вот начать с чего?

С января по март душа томилась;  
Нет, не в радость стали дни мои.  
В чаше сердца копоть накопилась  
От огня пылающей любви,

*13 марта 1966*

# ПОЭМЫ





## 184. ПЕСНЬ О ДАВИДЕ ГУРАМИШВИЛИ

ПЕРЕД ПОРТРЕТОМ ГУРАМИШВИЛИ

В книге ты стоишь, как аист,  
Молишься ты и рыдаешь,  
Под ночным дождем скитаясь,  
От скорбей не улетаешь.

Но ведь ты же был крылатым,  
Ты принес весенней ранью  
К украинским белым хатам  
Судеб Грузии дыханье.

Как в степных ночах пылал он —  
Стих твой, пламенем одетый,  
Как перо в слезах стонало:  
«Беды Картли мне поведай!»

Там звездою в новом мире  
Вспыхнул светоч твой высоко,  
Там ты душу отдал лире —  
Книге памяти жестокой,  
Врифмовал в ее шаири  
Скорбное, живое око.

Беды Грузии повисли  
На пере твоём, как слезы.  
По равнинам мчатся мысли,  
Будто с гор нисходят грозы.  
Никнет мать в тоске, что ива.  
Ива плачущая, где ж ты?

Там, где зов в ущелье сгинул,  
Где порвал свои одежды,  
Где вели тебя лезгины,  
Заглушив бичом рыданья, —

Я прошел тропой пустынной  
Безнадежного скитанья. . .  
Бедно слово, чтоб глубины  
Твоего раскрыть страданья!

Ты согрел мечтою книгу,  
Облаком над ней пролился.  
Жив твой стих, в степных зарницах  
Вот он ливнем прокатился!  
На живых твоих страницах  
Я, как птица, опустился.

Где стоял ты одиноко  
С опаленными крылами,  
Я услышал издалека  
Зов, бушующий как пламя,  
И писал живого ока  
Я кровавыми слезами.

Пересек я степи, реки,  
Где ты пел с такою силой. . .  
Я бы сжег слезами веки,  
Плача над твоей могилой,  
Если б черной тучей дыма  
Не умчались наши беды,  
Если б над землей любимой  
Не настал он — час победы.

**КАК ГУРАМИШВИЛИ БЫЛ ПОХИЩЕН  
ЛЕЗГИНАМИ И БЕЖАЛ ИЗ ПЛЕНА**

Жатвой дышали грузинские дали.  
Горцы тебя у ручья захватили  
И через тридевять гор перегнали.  
И наглотался ж ты горя и пыли!

И убежал ты, но схвачен был снова,  
В яму посажен, унижен жестоко.  
Ночью ты видел со дна гробового  
Жизни своей огонек одинокий.

Как от родного гнезда оторваться?  
Как примириться с ямою темной?  
Молвил ты: «Мимо миры эти мчатся,  
Вне меня реют рекою огромной. . .»

Плесень могил одевала рассветы.  
В небо глядел ты, неволей томимый.  
Был под землей ты и грезил, что где-то  
Лето и золото нивы родимой.

Яму минуя, не слушая пеней  
Пленника, мимо шли дни и недели.  
Слезы твои на крылах песнопений  
К звездам высоким ночами летели.

Вспыхнул костром ты в своем заточенье.  
Жаркие слезы катились ключами.  
Думы, надежды твои и сомненья  
К небу из ямы взлетали, как пламя.

Родины голос услышал ты скорбный:  
«Время отрадной жатвы вернется.  
Смерть лучше этой могилы позорной, —  
Встань же, мой светлый, выйди на солнце!»

Вылез из ямы. . . От страха и счастья  
Птицей душа трепетала живая,  
Яма зияла раскрытою пастью,  
Кашлянул сторож, спросонок зевая.

Щепотью пальцы сложил ты, как будто  
Хлеба взял крошку, перекрестился  
И по тропинке, змеившейся круто,  
В горы скользнул ты и в сумраке скрылся.

#### БЕГЛЕЦ В ПУТИ

В пору жатвы горячую  
Был я схвачен лезгинами.

*Народное*

Ты брел устало в утреннем тумане,  
Клубился над ущельем знойный пар.  
Ты пить хотел.

Ты вспомнил берег Ксани  
И тень прохладой веющих чинар.



Выла она, словно мать безутешная.  
Скрыться тебе от врагов было где ж еще?

Ни деревца под скалистыми кручами.  
Долгие поиски были напрасны.  
Падал ты, ливня веревками скрученный.  
Видел я лик твой, и в муках прекрасный.

Капля была то иль гроздь виноградная?  
Только за что, угнетенного горем,  
Ливень казнил тебя лютый? Как жадно я  
След твой искал по размытым нагорьям.

Минут несчастья, но пусть не изменится  
Сердце, великой любовью не сытое.  
Ночь бы с тобой просидеть мне на мельнице,  
Полные ливня найти бы следы твои.

Звал я, искал тебя долгие годы,  
В ночь погружался с горящей лучиной  
Там, где ты пел, златоуст непогоды,  
В шуме дождя над долиной пустынной.

Горе блеснуло в кудрях твоих проседью.  
Перевязав песнопеньями раны,  
Грузии розу вернул ты пером своим,  
Схожую с вешней зарею багряной.

Дождь ли шумит, или, полны печали,  
В песнях трепещут стихи белокустые?  
Книгу читая, горю, как свеча, я.  
Голос мой, странник, зовет тебя в Грузию.

#### УТЕРЯННЫЙ КУСОК

Дней двенадцать полз ты по ущелью,  
Прятался, заслышав лай собак.  
Камни были для тебя постелью,  
Одеялом — полуночный мрак.

Жил ты диких яблонь скудным даром,  
Падал, смертной мукою объят. . .  
Ты во сне пришел к родным чинарам  
И в траве услышал писк цыплят.



Не судьба ль кусок убогий  
Отняла, послав сначала?

Истомлен лучами неба,  
Падая от изнуренья,  
Ты алкал хоть крошки хлеба,  
Ты искал отрадной тени.

И изрек слова укора,  
Гневом праведным объятый:  
«Господи, вот — шел я в гору,  
Что же вниз толкнул меня ты?

Темный смысл открой мне, боже,  
Этой притчи непонятной:  
Если ты мой пастырь, что же  
Скудный дар свой взял обратно?

Вера сгнула в пучине,  
Дар, что злата был дороже!  
Жил я верой, но отныне  
Как пребыть нам в дружбе, боже?

Взяты огурцы волною,  
Как Торгваем — шлем и латы.  
Вот лицом к лицу с тобою  
Встал я, гибелью объятый.

Был бы бог в небесной тверди —  
Сына б он в беде не бросил!  
И плохой хозяин жерди  
Для опоры ставит гроздьям!»

**КАК ПОСЛЕ БЕГСТВА ИЗ ПЛЕНА  
ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ  
УВИДЕЛ ТОК**

Словно призрак, брел ты слепо,  
Сквозь кустарник продираясь,  
Не имея крошки хлеба,  
Много дней травой питаюсь.

Жалил гнус лицо и руки,  
Жгло свирепым солнцем небо,  
О, какие вынес муки!  
И ни сладостного хлеба,



Ни глотка воды, ни тени  
Для измученного тела. . .  
Мнилось, будто запустенье  
Всей землею овладело.

Пел ты. Песни безголово  
В пересохшем горле глохли.  
Плакал, но живые слезы,  
Как степной родник, иссохли.

«Где ж хранитель? Избавитель?» —  
Возроптал ты, умирая,  
И внезапно ток увидел,  
Полный скирд, как берег рая.

Как на отнятый когда-то  
Рай, чудесно возвращенный,  
Ты глядел на ток богатый,  
Изумленный, потрясенный.

Полный трепета и света,  
Ток сиял, как мир счастливый.  
Где ты, серп грузинский? Где ты,  
Тихий шелест отчей нивы?

Скирдами уставлен тесно,  
Это — ток иль только снится  
Мир неведомый, чудесный,  
Где как золото пшеница?

И лучился воздух, полный  
Мглой зерна, как нимб янтарный.  
И творцу воздал безмолвно  
Ты молитвой благодарной.

И, снопы благословляя,  
Молотьбы внимая грому,  
Ты упал без сил, рыдая,  
На пшеничную солому.

#### ПРИХОД НА ТОК

Над тобой склонились люди,  
Будто мать крыло простерла, —  
О отчаявшийся в чуде! —  
Освежили влагой горло.

И по-русски кто-то где-то  
Крикнул: «Лазарь! Дай-ка хлеба!»  
Задрожал ты, но за это  
Осужден никем ты не был.

Сам, как Лазарь, ты из мрака  
Смерти встал в другой отчизне,  
Русский приютил беднягу  
И насытил хлебом жизни.

Пожалел тебя, как кровный,  
Отдых плоти дал усталой,  
Обогрел тебя любовно —  
И зимы в душе не стало.

Сердца своего богатство  
Расточил тебе, развеял  
Память рабства. Семя братства  
Навсегда в тебе посеял.

Был неутомим в заботе,  
Окрылил твой дух надеждой,  
Снял с тебя твои лохмотья,  
Дал тебе свои одежды.

Стол накрыл, хоть небогатый,  
Для тебя в своем жилище.  
Содрогнулся вновь тогда ты  
От благоуханья пищи.

Ел ты русский хлеб, до дрожи  
Братской радостью взволновав,  
Новым чувством тем, что позже  
Проросло могучим словом.

Величав был тихий вечер,  
Свет очажный так беззлобен,  
И цвели сердца, как свечи,  
Истине был хлеб подобен.

## ПЕРВЫЙ ДРУГ

Так один крестьянин русский  
В эти дни за мной ходил.  
Мой отец, когда был жив он,  
Так едва ль меня любил.  
Русский спас меня от смерти,  
Слезы надо мною лил.

*Давид Гурамишвили*

К очагу тебя привел он,  
Светоч дал в пучине мрака.  
Отворил, участья полон,  
Сердце, как амбары злака.

Ты, прошедший муки рабства,  
Оросил очаг слезами,  
Где впервые клятва братства  
Прозвучала между вами.

Как родной, единокровный  
Брат от матери единой,  
Горцу оказался ровней  
Русский пахарь — сын равнины.

Был ты им, как самым близким,  
Обогрет, одет, утешен.  
Стал ты ветром карталинским,  
До России долетевшим.

Оба вы ярмо носили,  
Оба — терннем язвимы,  
Меж собой вы положили  
Клятву дружбы нерушимой.

Освященный потом честным  
Хлеб, что ел ты в доме брата,  
Дал начало вещим песням,  
Стал как солнце без заката.

И поздней, под чуждым небом,  
Память братского порога  
Нес ты, как корзину с хлебом,  
Другом данную в дорогу.

Эта память, всё чудесней  
Век от века, год от года

Разгораясь, стала песней  
В сердце нашего народа.

В чувствах разлилась, как море,  
И, шумя живой листвою,  
Расцвела над кровлей Гори  
Персиковою весною.

\* \* \*

Словно брат, тебя крестьянин  
Встретил — русский настоящий,  
Горем, как и ты, изранен,  
В горне бед, как ты, кипящий.

Он грузинский май сладчайший  
Угадал в тебе и понял.  
Сердца высохшую чашу  
Он живой водой наполнил.

Дал напиться из кувшина  
На прощанье у порога,  
Хлеба дал тебе корзину  
И благословил в дорогу.

В дальний путь пошел ты смело,  
Лапти пыль степей покрыла.  
Память братства в ночь согрела,  
В знойный полдень освежила.

Русский спас тебя, когда ты  
Предан был предсмертным мукам.  
Пашни чувств мудрец — оратай,  
Стал навек тебе он другом —

Укрывал тебя в ненастье,  
Озарял твой путь зарницей,  
Был с тобою, полн участия,  
И в пустыне и в темнице.

#### НА ПЕРЕКРЕСТКЕ

Чаще думать стал над очагом собрата,  
Как вернуться в Картли к дому своему...  
Смертной тьмой стезя обратная объята —  
Сеть на той стезе расставлена ему,

Как же царь Вахтанг? Немыслим путь обратный.  
Сколько бед на плечи царские легло!  
Турком сад его порублен виноградный,  
Кров царя — чужбина, трон его — седло.

Одинок он был в години роковые.  
О, междоусобиц черная пора!  
И решил Вахтанг пойти на зов России,  
На приветный зов Великого Петра.

Вспомнил тут Давид прощание в Цхинвали,  
Горе — словно уголь огненный в груди. . .  
Воины в слезах Вахтанга умоляли:  
«В этот грозный час от нас не уходи!»

Пред семьей своей коленопреклоненной  
Поднялся властитель, скорбен и суров:  
«Петр меня зовет — славнейший царь вселенной,  
Брат мой, — он поможет мне изгнать врагов.

Я вернусь. И Картли будет вновь свободной,  
С наших гор сниму я черную чалму!»  
С плачем перед ним склонился сонм народный,  
Невозможно было возразить ему! . .

Удалился царь. А за Вахтангом следом  
Преданнейшие из преданных пошли.  
К счастью или бедам — дальний путь неведом.  
Кони пыль отчизны на копытах унесли.

Царь в пути узнал, что умер Петр Великий.  
Год идет за годом, нет царя домой.  
Он в Москве томится; волосы владыки  
В скорби убелились снежной сединой.

И решил Давид в Москву стопы направить —  
Ведь сумел в России друга он найти! —  
Чтоб к надеждам Картли сноп надежд прибавить,  
Чтоб помочь царю опору обрести.

## СНОВА В ПУТИ

Легкой поступью  
Пошел он в путь далекий.  
Ливень с полуночи  
Пыль к земле прибил.  
Шелком устелил  
Рассвет ему дороги.  
Русский друг припасом  
Путевым снабдил.

Дал корзину хлеба  
И свиного сала.  
И, вздохнув, Давид  
Покинул братский дом.  
По тепле очажном  
Сердце тосковало,  
Шел он светлым Доном,  
Верностью влеком.

Он идет. Пред ним  
Равнина необъятна.  
С небом степь слилась  
В просторах голубых.  
В пятнах сентября  
Пленительный и статный  
Пламенеет тигр  
Левяд тополевых.

Машут ветряки.  
Белеют церкви мирно.  
Но безбрежно море  
Вянущей травы.  
Марево степей  
Безмолвно и обширно.  
И когда ж, когда ж  
Достигнет он Москвы!

Где дряхлеют в стойлах  
Боевые кони,  
Где пришлось царю  
Седины приклонить?  
Где б из рук его  
Тепло принять в ладони,  
Где бы с ним свои  
Раздумья разделить?..

Износил в пути  
    Он лапти и одежды.  
Месяцы в пути  
    Прошли, как караван,  
Под огнем заката  
    Знаменем надежды  
Строй берез бежит  
    В синеющий туман.

Ни беды, ни боли  
    Юность не боится.  
Беспредельна степь. . .  
    И где ж пути конец?  
Перекати-полем  
    Ковылями мчится  
Юноша-изгнанник,  
    Воин и певец.

#### ВСТУПЛЕНИЕ В МОСКВУ

Ты стал, на холм поднявшись. В дымке синей  
Лежал великий город наяву.  
Ты отряхнул с ресниц пушистый иней,  
Как пилигрим, приветствуя Москву.

Сверкало куполов кремлевских пламя,  
Белели башни в снежном серебре,  
Перекликаясь колоколами,  
Гудел российский город на заре.

Бесценными полярными песцами  
Снега, снега сверкали вдалеке.  
И расписные сани с бубенцами,  
Красуясь, проносились по реке.

Из труб печных янтарными столбами  
Над теремами подымался дым.  
И в сердце, шелестя дубами,  
Край отчий думам отвечал твоим.

И вот над морем алого тумана  
Победно и торжественно поплыл  
Могучий звон Великого Ивана,  
И луч надежды душу озарил.

И, просветленный утром тем воскресным,  
Раскаившись в сомнении своем,  
Ты зашагал по переулкам тесным,  
Как жданный гость, к друзьям входящий в дом.

#### ШЕЛЕСТ ПАРУСОВ

Для грузин как будто минули печали:  
В Петербурге их надеждой ободрили,  
Войском и оружием помощь обещали,  
И они по Волге в Астрахань отплыли.

Золотом осенним берега блистали.  
Западали зори в поредевших чашах.  
Паруса под свежим ветром трепетали,  
Словно крылья белых птиц, на юг летящих.

Обнадежила грузин царица Анна —  
В Астрахани встретят их войска царицы,  
И светлей вставало солнце из тумана,  
И сияла ярче им звезда денницы.

Чем к Хвалыни ближе, тем пышнее зори.  
В даях забелели Жигулей отроги,  
Волга катит волны, широка, что море,  
И Гурамишвили думает в тревоге:

«Русь, не оставляй нас в деле предстоящем,  
Встань бок о бок с нами братом-исполином.  
Дай попутный ветер крыльям шелестящим,  
На пути безвестном помощь ниспосли нам!»

На ночлег привалят, утром спозаранку  
Снова в путь. . . Ветрила шепчутся над Волгой  
Или это шелест дум царя Вахтанга,  
Горьких дум, рожденных в ожиданье долгом?

Это паруса иль сердца упованье,  
Что в беде, как снасти на ветру, окрепло?  
Близко, близко, други, с родиной свиданье!  
Братья, да восстанет родина из пепла!



ПЛАЧ ДАВИДА ГУРАМИШВИЛИ  
ПО УСОПШЕМУ ВАХТАНГУ ШЕСТОМУ

«О, хороним мы в Астрахани  
Вахтанга Шестого,  
Беззаветного труженика  
И властителя слова!  
Горе нашим надеждам,  
Упованьям и чаяньям.  
Ржут встревоженно кони, —  
Стоном я отвечаю им.

Он, скитавшийся по миру,  
Чтоб найти исцеленье  
Ран отчизны, —  
Он сам ее ран был скорбь и томленье.  
Был моей обороною,  
И моим был он знаменем.  
Он в гробу, и свеча над ним  
Брезжит трепетным пламенем.

Рой пчелиный покинул  
Нашу ниву печальную.  
Из чего отольем ему  
Мы свечу погребальную?  
Шелкопряд не дал пряжи  
Для надгробного полога,  
Нам сломали десницу, —  
Как ударим мы в колокол?

Рухнул он, столп наш кровельный,  
Ливню в жертву мы отданы.  
Смертным сном спит во гробе он  
Под знаменами родины.  
И поют ему вечную  
Память книги великие —  
Слава Грузии, меч ее,  
Дух ее и язык ее.

Руставели, «Жизнь Грузии» —  
У царя в изголовье.  
Каждый стих и страницу их  
Отстоял он с любовью.

И ревнителей родины  
Строй вокруг сабленосный,  
Чьи надежды погублены  
Стужей ночи морозной.

Далеко залетел ты,  
Уходя от судьбины,  
Стерегла тебя гибель  
И за гранью чужбины,  
Догнала тебя за морем,  
Не настигши в отчизне,  
В вечный мрак унесла тебя,  
Вырвав с корнем из жизни.

Не успел переплыть он  
Каспийского моря. . .  
Мир душе потерявшего  
Путь в безбрежном просторе!  
Сердце бьет, словно мельница,  
Стонут шлюзы предсердий.  
Что ж, укроюсь на мельнице,  
Позабуду о смерти.

И, быть может, там дружеское  
Встречу сердце горячее.  
Судьбы Грузии, с тружеником  
Севши рядом, оплачу я. . .» —  
Так Давид над последней  
Вахтанга обителью  
Говорит —  
И земле предает покровителя.

#### ПЕЧАЛИ ДАВИДА

Надо в горестях окрепнуть,  
Словно каменный утес.

*Шота Руставели*

Ввысь устремляясь, как пламя свечи,  
Плакал Давид в астраханской ночи.  
В сердце твоём, как огонь горячи,  
Дум об отчизне кипели ключи.

В дом наш чья зависть вражду заронила?  
Жертвы ее — на чужбине могилы.

Слезы ты лил над могилою милой,  
Землю печаль твоя испепелила.

Горе! Отчизна тобою утеряна!  
Стонет под злыми цепами теперь она,  
Стали там жатвою слезы собратьев, —  
В горсть не собрать их, в снопы не связать их.

И облегла тебя степь несказанная, —  
Где в ней скитанья твои неустанные?  
Только на севере — в трауре всё еще —  
Пели станки, по-грузински глаголющие, —

«Иамбико» в стуке друкарни старинное.  
Пламенем дружеского камина  
Озарено семилетье пустынное.  
Длинною ночью тоскуют грузины.

Нет у тебя ни семьи, ни возлюбленной.  
Путь твой в Москву или в отчие горы?  
Рухнул грузинский трон наш, погубленный  
В скорбную пору смут и раздора.

Мельничий жернов на Мтквари гудит,  
В мельнице старец с внуком сидит:  
Может, в ночи пастухи постучатся,  
Буря с Гомбор им вослед прилетит.

Слезы на веках их — пересоленные.  
Шкура овечья да меч обнаженный.  
Горло омочат водою студеною,  
Речь поведут о земле разоренной.

«Горе! — там вдовы несчастные вопят. —  
Угнано стадо, и двор наш разграблен!»  
Беженцев в горы старуха торопит,  
Вместо клюки опираясь на саблю.

«Горе нам! Как устоим под лавинами?  
Камень и в гору догонит бегущего.  
Остановись же и меч наточи на нем  
Именем отчего духа могучего. . .»

Вспыхнула в буре сомнений неистовых  
Мысль о бессмертии солнечным блеском.

Жернов седой прогремел свою исповедь,  
Чтобы вкушал спокойно ты хлеб свой.

И обуздать поспешил ты желанья,  
Путь ты избрал к полуночной столице;  
Может быть, книгу создашь ты в скитании,  
Выстроишь храм и в нем будешь молиться.

**ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ  
ПОСЕЛЯЕТСЯ НА УКРАИНЕ**

Жил я в Картли, пел я над потоком,  
Над осенним изобильным током.  
Как плющом, теперь обвит я горем,  
Стал я садом, срубленным под корень,  
Одиноким стал я сиротой.

Знал я сладость пламенного лета,  
Горной ежевики, гроздий Мцхета.  
И земле я поклонился низко.  
Ангел осенил меня кинцвисский,  
Ибо я не предал край родной.

Жницу я любил с серпом блестящим,  
В море нив тихонько шелестящим,  
Ветерок вечерний придорожный,  
Дым костра, овчарки лай тревожный,  
И свирель, и оклик пастухов.

Я скитался долго на чужбине  
И построил дом на Украине.  
Поднял новь, засеял, как бывало,  
Жег костры и пел — да не хватало  
Слушателя у моих стихов.

Так кому ж я вверю сердца слезы —  
Богу? Высоте облачно-грозной?  
Соловей над розою долины —  
Притча ль то? Не так ли Украина  
Ныне петь заставила меня,

Сад люблю, весну в степном просторе.  
Но душа пылает — факел горя.  
Для кого, зачем я песнь слагаю?  
Волен я, а радости не знаю.  
Скорбь моя состарила меня.

### ТРИ ГОЛОСА

Жуки гудели в воздухе, и вечер,  
Густея, мглою степи заволок.  
Примчался раненный в ущелье ветер  
И на кургане, как казак, прилег.

А ты впивал кукушки зов щемящий,  
Украинских и русских песен строй  
И голос ливня, весело гремящий,  
Навек залюбовавшись их игрой.

И песни те и вещей голос птицы,  
Как звон и грохот тронувшихся льдов,  
Подхватывал ты огненной страницей  
Пылавших вдохновением годов.

И русских песен родники-глубины  
С родными голосами ты сплетал,  
России голос, голос Украины  
Навек с судьбой грузина сочетал,

Дабы одной бессмертной вспыхнуть песней —  
Чтоб радугой трехцветной жили в ней  
И хоры дальних звезд в небесной бездне,  
И след скитаний горьких юных дней.

Поистине постиг ты жизни недра  
И в книге мудрой крылья развернул,  
В ней с вешним трепетом степного ветра  
Ты сочетал обвалов горных гул.

Три голоса зажег ты тростниковым  
Своим пером и вместе их связал.  
О братстве трех народов тихим словом,  
О дружбе их впервые ты сказал.

ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ  
ИЩЕТ НАПЕВЫ И ЛАД ПЕСНИ

Я звал тебя, — пропел полночный петел,  
И голос твой из книги мне ответил.

Ты птицеловом звуков прожил в мире.  
В тысячеустый песенный обвал,  
В цветущий буйно сад своих шаири  
Ты горести отчизны врифмовал.

Без счета звуков, сокровенных, полных, —  
Жужжат ли улы, ветви ль шелестят.  
Ликует каждый голос, как подсолнух,  
В густой листве зозуленьки грустят.

И свиста соловьиного услада  
Гремит над купой каждого стиха.  
Творец откроет утром двери сада,  
Едва услышит песню пастуха.

И соловьиным щелканьем и звоном  
Сияет ночь, как тысячей зарниц.  
Одним лишь не позволено воронам  
Наполнить криком светлый сад страниц.

А сам поэт скорбит. Он каждый листик  
Здесь милосердной оросит слезой.  
Родства он ищет в плеске, звоне, свисте,  
Грузинский стих кладет на лад чужой.

Он одинок, а для души — безводье,  
Коль у поэта слушателя нет.  
Витают голоса, звучат в природе —  
Для жизни нужен каждому ответ.

О, как он жаждет встретиться с собратом —  
В сад повести, на ток его позвать,  
Чтоб мысль грузина с родственным ей ладом  
Великой песни русской сочетать.

И девушка из Зубовки протянет  
Ему дорогой сорванный цветок.  
Курганы туча низкая туманит,  
На Каспий тянет свежий ветерок.

Но беды Картли в стих неудержимо  
Врываються, чтоб ведал их народ. . .  
Душа Сквороды проходит мимо  
И славу миру светлому поет.

Как свечи, голоса горят высоко —  
Свечам подобны, цвету миндаля.  
И богоматери лазурный локон,  
Звеня в душе, струится на поля.

И так ты сам врифмован в Украину,  
Как крыльев шум в стоустый шум лесов,  
Где, сокровенных чувств открыв глубины,  
Поют, как пчелы, сонмы голосов.

#### ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ

Сына лучше нет, чем юный —  
Тот, что мной усыновлен.  
Я десницею сыновней  
От врагов оборонен.  
Породил его я словом —  
И певцом да будет он,  
Лишь бы для меня не стала  
Песня звоном похорон.

*Давид Гурамишвили*

Бренный мир тебя состарил,  
Сделал яблоней безлистой,  
Без плода твой ствол оставил  
Вплоть до смерти ненавистой.

И усыновил ты книгу,  
Назвал книгу сиротою,  
Скорбью наделил великой,  
В душу не внедрил покоя.

Крылья, как орел небесный,  
Над тетрадью простирая,  
Сердцем выкормил ты песню,  
Колыбель страниц качая.

Книга пела, расцветала —  
Хоть один ее ты слушал, —  
Водопадом клокотала,  
Обжигала стоном душу.

Подымалась над бескрайной,  
Над глухой годиной горя,  
Облекалась вещей тайной,  
Рдела радугой в просторе.

Но один ты песню слушал,  
С ней просиживая ночи,  
Не было удела глуше,  
Беспросветнее и жестче.

Старился ты. . . Так друг другу  
Вы в ночах надоедали,  
Далека дорога друга,  
Бодрствовали вы и ждали.

Но птенца ты не покинул,  
Дал созреть под отчей сенью —  
И послал в отчизну сына,  
Чтоб делил ее мученья.

Вырастил на Украине  
И, в слезах, дорогой звездной  
В Грузию направил сына.  
Сын — твой сокол светоносный.

Горькие твои скитанья  
В снеговой степи пустынной,  
Смертные твои метанья  
Мы прочли на крыльях сына.

Если б сына — человека —  
Ты оставил, разве б смог он  
Перенести над бездной века  
Повесть об отце далеком?

Духом сына окрылил ты,  
Не пропал птенец на свете:  
Долетел он — ран целитель —  
В Грузию через столетье,



## САД

Давид развел сад.

*Давид Гурамишвили*

К звезде востока руки ты простер,  
Тень родины была твоей иконой.  
И трепетал твой дух — степной костер,  
Холодной мглой и тьмою окруженный.

Ты славил родину, с горящих крыл  
Со стоном отрясая дождь и иней,  
На Украину стих пересадил,  
Грузинский сад взрастил на Украине.

Был сердцем чист великий садовод.  
И первым посадил ты древо притчи.  
И вдохновенный сладкий вызрел плод,  
И сад возрос в красе, в живом величье.

Не почвою питал, а сердцем ты  
Чувств семена, что Картли заронила.  
И кровь твоя окрасила цветы,  
И сад родной бессмертье осенило.

В нем роз не опадают лепестки,  
Плоды поющих яблонь не скудеют.  
Сад, созданный трудом твоей руки,  
Листвой неувядающею веет.

Тоска и горе были твой удел,  
Народных бедствий горькое наследье.  
Но, как корабль, твой сад зашелестел  
И в Грузию поплыл через столетья!

Как буйно он шумит в родном краю,  
Как в нем крылатый дух твой веселится!  
И в сад твой мы вступили — и твою  
Благословили мощную десницу.

**ДАВИД ГУРАМИШВИЛИ УХОДИТ В ПОХОД**

И я внезапно позван был в поход.  
В тот день в лесу грибы ты собирала.  
О сада юности цветущий свод,  
Как я искал тебя, а ты не знала!

Достался жребий мне — идти в поход.  
Взгляни мне вслед, о лютик мой медвяный!  
Пусть мне вослед ветвями сад махнет,  
Как твой платок узорный, из тумана!

Я оседлал походного коня.  
Растащат мой шатер чужие руки...  
Взгляни звездой далекой на меня  
Сквозь сумрак ночи в горький час разлуки!

Коль суждена мне гибель на войне,  
Склонись во сне над смертною постелью,  
Вздохни, блесни, подобная весне,  
Дай мне испытать целительного зелья!

Мир мчит людей, как буря — желтый лист,  
Как вихрь кружит, не даст промедлить мига.  
Я — лишь названье и заглавный лист,  
А век мой — ненаписанная книга.

Я гроздий не нарвал в тени твоей.  
Когда паду под вражьими мечами,  
Найди мой шлем и доверху налей  
Твоих очей алмазными слезами...

Пусть мой собрат из шлема отопьет,  
Пусть боль моя потомку станет благом,  
И пусть он слезы надо мной прольет  
И осенит меня грузинским стягом.

#### В МАГДЕБУРГСКОЙ ТЮРЬМЕ

В Семилетней войне потрясли мы  
Основание прусского трона.

*Давид Гурамишвили*

Ты не остался в стороне от брани:  
Вновь у Кюстрина обнажил ты меч  
И мчался первый в конном урагане, —  
Приказ был: войско прусское рассечь.

В трясине твой скакун завяз внезапно,  
Но, яростью пылая боевой,  
Ты бился, полный силы неослабной,  
Отваги дух вложил в клинок стальной.

Ты воин был поистине бесстрашный,  
И, хоть гнедой твой конь потерян был,  
Ты дрался пеший в схватке рукопашной,  
Грузинского меча не посрамил.

Ты звал: «Ко мне, гнедой! Ко мне, мой милый!  
И я тебя за Одер погоню!  
Россия нас поила и кормила,  
Дала нам меч, одела нас в броню! . . .»

А на тебя пруссаки налетали,  
И был ты пеший против верховых,  
И мощь твою, как ветви, обломали,  
Лишили дуб ветвей его густых.

И ты истому смертную изведаль:  
Израненный, на берегу реки  
Лежал ты, и никто напиться не дал,  
Не протянул спасительной руки.

И небу поручил свой дух суровый,  
И сердцем окрылился, как орел,  
И, словно бы тенистую дуброву,  
Прохладную обитель ты обрел.

И ты прошелестел, как нива хлеба,  
Дождя бессонно ждущая в степи:  
«О мать моя! Из вечной чаши неба,  
Из чаши жизни грудь мне окропи!»

И вот твою молитву оборвали,  
И подняли тебя, и понесли,  
И мир через решетку показали,  
И годы плена горькие пошли. . .

\* \* \*

В холмах бесплодных Магдебург унылый  
Садов ветвями пыльными поник.  
Молитва на устах твоих застыла,  
Иссякли слезы, твой живой родник.

Из крепости видна тебе пивная,  
Но там веселья не заметит взор.

И лишь суровый, перемен не зная,  
Чернеет хмуро башнями собор.

Плетутся клячи по дороге пыльной,  
Без седока повозку волоча.  
И скорбный вечер полн тоски бессильной  
Бойца в цепях, лишенного меча.

И не спешит никто со снедью свежей  
К тебе в тюрьму. И вечер тих и глух,  
И меркнет день, зарею бледной брезжа,  
Как будто с телом расстается дух.

Песком, мякиной хлеб тюремный полон.  
О голод! голод! — Родина вдали. . .  
Как пытка многодневная тяжел он.  
О, дайте же вкусить плодов земли!

Он вспоминает: в Миргороде тесто  
В печи взбухает, рвет свои бока.  
И девушка, как светлая невеста,  
В руках несет не хлебы — облака.

И облака, как хлебы золотые,  
Смеясь, сияют ласково в окно.  
Меч предков защищал поля святые,  
И труженика пот питал зерно.

Ты слышишь ржанье твоего гнедого?  
Но ты изранен, ты в плену навек. . .  
Так думал он. Из дум родилось слово,  
Могучее, горящее: побег!

\* \* \*

И две зимы промчалось время сонно,  
Два лета худосочных пронесло.  
Зима ковала ледяные троны,  
А лето серп отточенный несло!

И видел пленник из окна: ненастье,  
И, жалости не зная, в жажде власти,  
Вдруг налетала на лето зима,  
Засыпав снегом ветви и дома.

Очаг крылом косматым потушила,  
И бедняков заботой сокрушила,  
И птиц лететь заставила на юг,  
На каждый сук повесив снега вьюк.

Тепло земное в глубь земли угнала,  
И ледяные розы изваяла,  
И, как разносчик леденцов, зима  
Обвешала сосульками дома!

Когда же таянья свершилось чудо, —  
Примчался май, и все зимы сосуды  
Стеклянные безжалостно разбил,  
И теплым ветром всходы защитил.

И радостное небо загремело.  
И под рукою мастера умелой  
Раскрыли почки влажные глаза,  
И пролетела первая гроза.

И лето обновило лик природы,  
И нивой стали молодые всходы,  
И жимолость и липы расцвели  
И новой жизни славу вознесли.

И плакал соловей, и, как бывало,  
Вновь украинка юная вставала  
Вдали и пела: «Весела весна», —  
И из цветов плела венки она.

\* \* \*

И рана пленника зарубцевалась,  
Но ведь и плен, как жернов, давит грудь.  
Тюремным стенам недоступна жалость,  
И сторож ночью не дает уснуть.

Ты узник за решеткою железной.  
О, как прожить года в проклятой тьме?  
Как душат стены одиночки тесной. . .  
Нет, не привыкнешь ты к своей тюрьме!

А сердце словно льдами оковалось,  
Но ключ поет горячий подо льдом. . .  
На Украине рукопись осталась,  
Написанная кровью и огнем.

«О, не сожгли б слезами окропленный,  
Заветный свиток, житницу мою,  
Мой труд, живым глаголом наделенный!  
О жизнь! Я сохранить его молю!

Подобно житнице певца творенье,  
В нем шелестят незримые поля,  
И веют, и шумят, не зная тленья,  
Любую боль дыханием целя.

Я слышу, как шуршит родное поле,  
Я слышу песню жницы молодой.  
Но как мне петь! Я — соловей в неволе. . .  
Чу, ржет вдали, зовет меня гнедой!

Но как мне петь? Был чет, а стал я нечет.  
Война еще бушует, мир — в огне.  
О, вырваться бы вновь на поле сечи,  
Я не последним был бы на войне!»

\* \* \*

И ночь и день влачат унынья бремя.  
Двуцветна жизнь печальных близнецов,  
И узник взором прорезает время:  
Проходят дни — вся жизнь в конце концов.

Минувших дней он вызывает тени:  
Бой под Хотинном, шведскую войну.  
Он, жизнь начавший у лезгин в плененье,  
Кончает дни у пруссаков в плену.

Как скорлупы яичные пустые,  
Стоят в шеренге пять десятков лет,  
Седеют кудри, падают, густые,  
И, как свеча, скудеет белый свет.

В тюрьме подкралась незаметно старость.  
Не проломать гранит стены глухой.  
И хоть былая боевая ярость  
Кипит в крови, нет сабли под рукой.

Но вот однажды утром, на молитве,  
Он о победах русских узнает,  
И словно слышит скрежет сабель в битве,  
И словно видит всадников полет,

И снова Одер густо отуманен  
От дыма пушек, бьющих за холмом,  
И рассекает брат-однополчанин  
Германский щит, украшенный крестом.

И трон колеблется державы прусской,  
И Фридрих сам на взмыленном коне  
Бежит бесславно перед силой русской,  
Скрываясь в полночной тишине.

И сердце громко говорит Давиду:  
«Ты полон сил! Ты седине не верь,  
Бери свой меч, мсти за свою обиду!»  
Но не сорвать окованную дверь.

И нет меча. И мечется в бессилье  
По камере. «Нет, лучше смерть в бою!  
Рубитесь, братья! Разверните крылья!  
Исчерпайте со славой жизнь свою!»

А русским уж Берлина ключ вручают  
И ключ от королевского дворца.  
И сердце вновь, как быть ему, не чаает  
И радость в нем — и мукам нет конца.

\* \* \*

И снова годы рассекает око:  
Хотинский бой, турецкая война,  
И девушка из Зубовки далекой. . .  
Увяла, зная, устала ждать она.

Как хлеб и воду, радости и беды  
Ты с украинцем, с русским разделял.  
Ты им о муках Грузии поведал,  
В бою пред смертью ты не отступал.

Как русский, ты сражался в русском войске,  
Конем ли землю прусскую топча,  
В Финляндию ль отправившись геройски, —  
Не посрамил грузинского меча.

И вспомнил ток ты, окруженный лугом,  
Излучину реки, овинный дым  
И хлеб, что дан тебе был первым другом.  
И ты поешь о первой встрече с ним:

«Я душу отстоял родного края,  
Я память Картли в сердце сохранил,  
Я жил в мученьях, факелом сгорая,  
И путь потомкам нашим озарил.

И если в дальнем будущем собрата  
Дорога брани приведет сюда, —  
Сын Картли, знай — я здесь прошел когда-то,  
И помяни добром меня тогда!»

\* \* \*

И, вестью растревоженный, в смятенье  
Гудит весь город раннею зарей:  
Мол, убежал из заточенья пленник,  
Грузин, сидевший в башне угловой.

А он уже за Эльбой — сильной птицей  
Несется к русским на коне чужом,  
И с беглецом никто не смел сразиться,  
Как с вырвавшимся из тенет орлом.

Так дух его разбил зимы оковы,  
И снова в сердце лето расцвело, —  
Он с армией соединился снова,  
Живой волной влился в ее русло.

И песней вспыхнули души глубины,  
И он воспрянул сердцем, полный сил.  
Рукой коснулся он ключей Берлина  
И радостные слезы уронил.

#### ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПОХОДА

Вражда подстерегла меня,  
Сожгла усадьбу в пламени.

*Давид Гурамишвили*

Ты застал по возвращенье  
Хутор свой дотла спаленным.  
Ни зозуленьки, ни пенья  
Соловья в саду зеленом. . .

На пустом сидел ты месте —  
Нет ни сада, ни ограды. . .  
Чьею злобой, чьею мезьтю  
Ты ограблен без пощады?



Сожжены твои амбары,  
Жито вытоптано в поле.  
Знать, развеял вихрь пожара  
Рукопись в степном раздолье.

Вдаль страницы уносились,  
Схожи с белым листопадом.  
Мнилось — в грудь ножи вонзились,  
Отравили смертным ядом.

Пусть враги рукою жадной  
Твой последний хлеб отнимут,  
Пусть твой бедный виноградник  
Предадут огню и дыму.

Возрастишь ты новый колос,  
Дом и сад устроишь снова.  
Но как быть, коль отнят голос —  
Осквернен источник слова?

Песню потерять — что сына! . .  
Сел ты в сень листвы осенней.  
Цвета тигра — желть осины,  
Шум ветвей — как песнопенье.

Пусть под шум их жажда мести  
В жажду песни превратится.  
Пусть из пепла стих воскреснет,  
В очаге огонь родится.

Но укроется ли в доме  
Дух от бури полуночной!  
Нужен жернов, чтобы громом  
Утешал твой слух немолчно.

Не дал мир тебе потомка,  
Пусть же другом жернов будет,  
Пусть в предутренних потемках  
Он к труду тебя разбудит!

Пусть он доброю заботой  
Брата заменит родного.  
И взялся ты за работу —  
Начал хутор строить снова.

Что ни день — в живой ограде  
Дышат яблони всё выше,  
Строчка теплится в тетради,  
Дым печной валит над крышей.

#### МЕЧТА О МЕЛЬНИЦЕ

Что ты имел, чтоб мельницу построить?  
Ее нарисовал ты на полях —  
Под песню вьюги зимнею порою  
Перед огнем мечтал о ней в ночах.

Где жернов взять и цепи для навоя?  
Кирпич, и тес, и бревна где найдешь?  
Но станет легче с наступленьем зноя,  
Потрудишься — волнение уймешь.

Тыпустишь мельницу живой водою,  
Пусть в ней мечта пером зашелестит  
И облак думы дымкой золотою  
Над колесом гремящим заблестит!

Пусть живописью стены озарятся  
И крылья вдохновенья зашумят!  
Пусть рыбы говорящие родятся,  
Форелями влетая в водопад!

Что мельница Давиду? .. Угадал я:  
В ней песнь арбы, дитя в родных руках.  
В ней думы, думы, как за дальней далью  
Седые горы Картли в облаках.

Пусть не умолкнет жернов в дни засухи,  
Гремя тебе и в смертном забвении,  
Пришли б к тебе, одетые в кольчуги,  
Твои собратья, крестники твои.

И песню жизни с колесом зубчатым  
Им пел бы жернов, пел и веселил.  
А жита Картли ворох непочатый  
У сердца б ты согрел и возрастил.

## МЕЛЬНИК

Дай мне, господи, дождаться лета,  
Смолотой на мельнице муки,

*Давид Гурамишвили*

В глазах всё гуще море темноты,  
Ты плакал ивою в ночи туманной.  
И ночью гул воды услышал ты  
В плотине шумной мельницы желанной,

И колесо и жернов пели слитно,  
Как скрип аробных медленных осей.  
В плотине под луной сверкало хвито,  
И никли ивняки в густой росе.

О бедах Картли колесо гремело...  
То мельница иль сходбище друзей?  
Свеча ль, живое ль чувство в ней горело?  
Метался жернов или сердце в ней?

Вода ли, низвергаясь, бушевала?  
Судьба ли воздвигала свой престол?  
То мысль твоя иль мельница взывала, —  
Гремя, зерна просила на помол?

А сумерки воспоминаний полны.  
Грузинский пахарь в мельнице сидит,  
Становится вселенной мукомольня,  
И каганец внутри ее блестит.

Во тьме неслышно мышка пробегает,  
Пока в глубоких думах ты сидишь.  
Под гулким полом тайна обитает,  
Шуршит в норе, незримая, как мышь,

И сплел паук густую паутину,  
Как летопись страдальческих годов.  
И в щель стены, в густую тень кувшина,  
Уносит мышь кусок твоих стихов.

Возьми же вещей — миру незнакомый —  
Творимой песни свиток разверни!  
Укрой привычный к засухе и грому  
Горячий стих в спасительной тени,

Разбуженный воды могучим звоном,  
Ты встал среди глубокой тишины,  
Ты сам стал судеб мельником бессонным,  
Целителем скорбей родной страны.

### ЖИЗНЬ НА МЕЛЬНИЦЕ

Мельница ночью не спит, словно друг,  
Сторож испытанный,  
Мелет, гремит она,  
Будит мечты поутру  
Бодрый, живой ее стук.

Дышит в запруде вода поутру,  
Мыши свистят, убегая в нору,  
А завязавшейся ночью беседы  
Ключья умчала волна-непоседа.  
Буйвол мычит. «Урмули» звучит.  
Песню река говорливая мчит.

Стонет арба, запеваает аробщик,  
Жернов грохочет, а там — далеко,  
В памяти, — Мтквари, Лиахва ли ропщет?  
В мельнице мысль расцветает легко.

Запах овчарни в клетушку доносится.  
Мокрые сети притащит рыбак,  
Тени на гулкой стене перекосятся  
Перед лучиной, вспугнувшюю мрак.

В окнах горохом рассыпались звезды,  
Пес твой залаял, степенный, бесхвостый.  
И просыпаешься ты, хоть и ночь еще, —  
В песню поток переходит рокочущий.

Полночь бормочет,  
Жернов грохочет,  
В строчке, зажженной  
Мукой бессонной,  
Дышит река, что на помощь пришла,  
Пламенной песней с пера потекла. . .

Вот шелестит она, ширится вот. . .  
У очага возникает, живет  
И до скончанья веков не умрет, —  
Славу ей даст благодарный народ.

САБА, КРЕМЛЬ И ГОРИЙСКАЯ  
КРЕПОСТЬ

В Москве ждал я солнце. . .

*Давид Гурамишвили*

Старый мельник темноликий  
Пишет книгу «Картлис чири».  
Слышатся рыдания в книге,  
Как в мирской бескрайней шири.

Вот — у Гори, в буре боя,  
Над ордой иноязыкой,  
Над турецкою ордою  
Встал он — книжник наш великий.

А потом — отъезд из Гори.  
Весь в пыли и прахе боя,  
Саба мчался — бел от горя,  
Словно облако седое.

Жизнь дымилась грудой пепла,  
Шла как марево степное.  
Солнце глаз от слез ослепло,  
Росы высохли от зноя.

Он прошел моря и горы  
И в скитаньях истомился,  
В мире не найдя опоры,  
У Кремля остановился.

Книгу нес он, как святыню,  
Как Тамар-царица — церковь.  
Как гремучий ключ в пустыне,  
Речь отцов сберег он в сердце.

Дух могучий, в бездне бедствий  
Рока ниспровергший иго,  
И в твоей заблещет песне —  
И бессмертной станет книга.

\* \* \*

Кудри, словно листья граба,  
Оборвала вихрей ярость.  
Ты сидишь над книгой Сабы,  
И тебя настигла старость. . .

Веет холод ночи близкой.  
Потухают дни глухие.  
Меч твой — в крепости Горийской,  
Саба — близ Кремля почит.

Нет ни друга, ни отрады.  
Глохнет жизнь — струя степная.  
Лишь волною водопада  
Бьет из сердца речь родная.

Удаляется, как искры,  
Меркнет брег мирского моря,  
Но в твоих последних мыслях  
Брежут — Кремль и крепость Гори.

#### ТЕНЬ САБЫ

Цвет юности моей увял от бега времени.  
Изнемогла душа от тягостного бремени.

*Саба-Сулхан Орбелиани*

Запас рассказов за зиму разросся. . .  
Им друг внимал, на мельницу придя.  
Арагвы рокот из-за рощ донесся.  
Пылал очаг, Давида осветя.

Ты двинул мельницу водой бессмертья.  
Произнося творящие слова, —  
Не ты ли сам, могучий, полн усердья,  
Как водопад, ворочал жернова?

Ты мудрость вымысла среди мглы и гула  
Познал в гремящем мельничном кругу.  
Тень Сабы в памяти твоей мелькнула —  
В Москве, в косматом северном снегу.

Сквозь вьюгу нес он спелые колосья,  
Держал в руках снопы грузинских слов,  
И сердце сказку зимнюю спаяло с ним,  
С поборником, щитом страны отцов.

В его груди Арагва бушевала.  
Как урожай, он поднял ношу слов,  
И полы шубы вьюга развевала, —  
Он шел в снегу — седой, как Саваоф.

Какая стать, какая мощь была в нем!  
С губ гордых не ронял он слов пустых.  
Взглянул он — и очей огромных пламя  
Глубь озарило скорбных дум твоих.

Зимой в ночах топили свой очаг вы.  
Друзьям ты притчи Сабы открывал.  
Река бы потекла бурней Арагвы  
Из слез, что Саба в мире проливал.

Пусть слез река быстрее жернов кружит!  
Пусть книга умирит сердечный жар!  
Пусть притча Сабы людям вновь послужит —  
Целитель ран, души великой дар!

И ты запел, как древле пел Шавтели,  
С народом сердцем связан навсегда, —  
Ты проглядел глаза — они горели,  
Глядя вперед и в прошлые года.

И Сабы тень за сказкой вслед явилась  
И в мельнице с тобою поселилась.

#### СОМНЕНИЕ И ПЕСНОПЕНИЕ

В яму кинул меня мир.

*Теймураз Первый*

Вот ты состарился. Гаснут глаза твои,  
Канул ты в мир, как в колодец глубокий,  
Бросил ты серп и хлеба недожатые,  
Юность померкла зарницей далекой.

«Жизнь! Ты пучины морской темноводней!  
В скорби о Картли доплыл до заката я...  
Дымом истаяла слава господня,  
Дух истомили сомненья проклятые...»

Звезд отражение в росах играет.  
Где же звезда, чтоб забрезжил ответно я?  
Слезы унес я из отчего края, —  
Пусть отразится в них синь предрассветная!

Плачу, сгорая, пылаю, как полымя.  
Сладко я спал на отеческом сене... .

Родина! Картли! Простри свои полы мне —  
Дай целовать их в предсмертном томленьи!

С горьким упреком пришла ко мне старость...  
Горел! Кому же мольбы мои отданы?  
Жаждающей мельницы грохот и ярость —  
Это лишь воспоминанье о родине!

Вспыхнут сомнения время от времени,  
Муки сомнений и с ними борения...  
Путь укажи мне к юдоли блаженной!  
Я только странник твой — странник  
смирный... »

Муки принял я великою мерою,  
В мудрость твою, в справедливость я верую,  
Но коль не сбросишь веревку надежную,  
Как из колодца к тебе подымусь я?  
Чей я слуга? Объяснишь ли мне, боже мой,  
Кто я, пчелой прилетевший из Грузии?»

#### ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ

Под яблоней цветущей сел Давид,  
А на коленях кобза, как ребенок.  
Хорошим днем судьба его дарит,  
Седины ветер шевелит спросонок.

Вот он достиг восьмидесяти лет.  
Спина согнулась. Старость наступила.  
И мирно ветхой кровли очерет  
Вечерняя заря озолотила.

Весь двор в тени прохладной утопал,  
Тихонько руки старца струн касались.  
Но слух певец как будто потерял,  
В мелодию созвучья не слагались.

Он словно карталинский лад забыл.  
Настраивал, но всё не получалось.  
Свой рот котенок рыжий лапкой мыл.  
За садом поле тихое шепталось.

Вдруг до ушей его издалека  
Грузинской песни стройный звук донесся.



Да что это? Иль вправду смерть близка,  
Иль это на ветру поют колосья?

Нет, благодать родной забытой песни  
Всё близилась, возникшая вдали,  
Подобно водопаду с поднебесья,  
Несущемуся в водяной пыли.

Да полно, это явь иль сновиденье?  
И кто здесь по-грузински может петь?  
Он слушает в глубоком изумленье,  
Встает, идет к калитке поглядеть.

Подтягивает голосом дрожащим,  
Спешит калитку сада отворить.  
И впрямь, как видно, счастьем настоящим  
Судьба его решила подарить.

И видит — в облаке дорожной пыли  
На убранных богато скакунах  
Грузины едут. Сразу осадили  
Коней, его увидев в воротах.

#### гости

Он появленьем их был потрясен,  
В их лица вглядывался: неужели?  
Нет, не виденье это и не сон, —  
Они к закату жизни подоспели!

Они должны б сегодня в Кременчуг,  
Застиг их вечер посреди похода.  
На миг заедут, хоть и недосуг. . .  
И все двенадцать въехали в ворота.

От Картли дальний путь прошел Давид,  
Им ныне светит путь его примерный.  
Меж ними сын Ираклия сидит —  
Отцовской воли исполнитель верный.

Они пришли в Россию, чтоб опять  
Искать защиты гибнущей отчизне,  
Чтобы с собратом северным связать  
Свою судьбу навек во имя жизни,

Давид от умиленья слезы льет,  
Совсем забыл, что стар он и недужен.  
Жену и домочадцев он зовет,  
Хлопочет, бегаёт, готовит ужин.

И украинские восходят звезды  
Над яблонями. Летний вечер тих.  
Колыша ветви, мягкий льется воздух,  
И меч покоится под сенью их.

#### РАССТАВАНЬЕ

Еще до света гости пробудились  
И на заре с Давидом распростились.

И звуки песни замерли вдали,  
Как тихий дождь предутренний затихли.  
Ушли — и всё, чем жил ты, унесли,  
Всё, что сберег ты в сердце. . . не для них ли?

Ты рукопись им отдал, чтоб она  
Пустила корни там — под отчим небом.  
Ночь напролет ты просидел без сна,  
Делясь с гостями мыслями, как хлебом.

И вот далекий конский топот стих,  
И смолкла песня в утреннем тумане.  
Но светит им в пути далеком их  
Твоих следов немеркнувших сиянье.

Ожи за тенью паруса пойдут  
По Каспию на пасмурном просторе,  
Летя вперед. . . А ты остался тут,  
Печальный мельник, старый стихотворец.

К воспоминаньям обратился ты,  
Чредой встают десятилетия, живы. . .  
И в книге жизни шелестят листы,  
И звоном кос звенит ржаная нива.

БЕСЕДА ДАВИДА ГУРАМИШВИЛИ  
СО СМЕРТЬЮ

«Смерть! Приходи, дохни, миротворя,  
Плоть глиняная охладиться рада.  
Не дотянуть мне и до сентября,  
Не видеть больше сбора винограда!

Как я источен жизнью — погляди.  
В иссохших жилах — ветер, словно в трубах,  
Гудит в ушах, гудит в моей груди.  
Влей чистой влаги мне в кристальный кубок!

О мир-предатель, мир глухонемой,  
Что дал ты мне? Как я тобой утешен?  
Что мне сказать еще, родитель мой?  
Теперь ты прах. Посторонись. Я грешен!

Прохладный вход передо мной отверст  
Блаженного спасительного крова.  
Псалтырь листовая, пожелтел мой перст,  
Глаза давно ослепли для земного.

От чтения давно угас мой взгляд,  
Простертая рука окостенела.  
Не собирать мне новый виноград. . .  
Смерть, свежим ветром остуди мне тело!

Я, грешная душа, пускаюсь в путь.  
Кому доверю в этом мире сына —  
Печаль, переполняющую грудь?  
Кто окропит слезой мои седины?

Кому оставлю я моих сирот?  
Кому вручу раздетых и разутых?  
Кто их дорогой мира поведет —  
Сирот моих, без хлеба и приюта?

Неверный, темный мир! Твой яд я пью.  
Холодный пепел стал моим уделом!  
Ты, враг, наполнил грудь мою,  
И сердце дымоходом загудело»,

ВТОРАЯ БЕСЕДА  
ДАВИДА ГУРАМИШВИЛИ СО СМЕРТЬЮ

«Смерть, уходи! Что ты ко мне пристала? —  
Поет Давид с зарей, восстав от сна. —  
Мой дух могуч, и сердце не устало!»  
И смерть с косою ушла, посрамлена.

Но ждет она, сурово взгляды косит. . .  
Пусть косит травы в росах на заре. . .  
На клевере пусть испытает косу,  
Чертополох снесет на пустыре.

«Прочь, смерть! Ты гасишь луч животворящий!  
Я сам проверю сталь косы твоей, —  
Я в зеркало взгляну косы блестящей, —  
Навек себя запечатлею в ней.

Не искушай меня! Питайся сеном.  
В твоей косе сверкает жизнь моя.  
Знай, жизни мощь в душе моей нетленна.  
Не иссушай источник бытия.

Оставь меня, проклятий тьмы глашатай!  
За что меня ты гонишь на земле?  
Я буду жить — на ниве недожатой,  
В косе, в воде, в платановом дупле.

Скажи, кто разум вылепил из глины?  
Был нужен труд, чтоб вылепить его.  
Так вечной жаждою неутолимой  
Мое палимо было существо.

Но если оживить умел я глину, —  
Я ливнем песен землю окроплю.  
Не подноси пустого мне кувшина!  
Я сам потоком яростным киплю.

Не всколосилось поле золотое  
Заветных дум. А вызреет — ну что ж, —  
Ты на руки возьмешь дитя седое  
И за реку меня перенесешь.

Теперь посеять новое зерно бы!  
Но как, дитя, пойду я за тобой?

Я лягу в колыбель — не в темень гроба,  
Ты песню колыбельную мне спой,

Чтоб колыбель дыханье дум качало,  
Чтоб в колыбель — не в гроб — душа легла,  
Чтоб мой конец похож был на начало,  
Чтоб смерть и после смерти не пришла.

И в песню ту над зыбкою моею  
Я всею жизнью прожитой вплетусь,  
И вечный мрак, быть может, одолею,  
И с песней в мир живущих подымусь».

#### ЖИВАЯ РУКА

Давид с печалью утром говорит:  
«Вновь смерть, как лютый враг, мне предстоит!

Коль смерть косою мою десницу скосит,  
Пусть без меня десницу сохранят,  
Пусть на кладбище руку не уносят,  
Водой живой пусть к жизни возвратят.

Я слепну, но рука не ослабела,  
В труде живом по-прежнему крепка.  
Пусть я умру, зароят в землю тело,  
Но жить должна творящая рука.

Отрежьте в жизни руку мне десную,  
Не дайте ей бесплодно умереть,  
Пусть тень руки с собою понесу я  
И с нею — боль, что заставляет петь.

Не суждена мне колыбель, я знаю:  
Там, за порогом вечной темноты,  
Землей мой гроб рука моя живая  
Засыплет, надо мной взрастит цветы.

Иль ввысь меня подымет, как комету,  
Мой лоб кудрявый тучкой осеня.  
Надежду даст мне, как источник света,  
Ворон отгонит палкой от меня.

Взнуздает буйный ветер лет крылатых,  
Тепло живое в рукопись вдохнет,  
Ладонь в страницах книги отпечатав,  
Пред ней врата бессмертья распахнет».

**БЕСЕДА ДАВИДА ГУРАМИШВИЛИ  
С БРЕННЫМ МИРОМ**

Еще источник слов не иссякает.  
Сегодня горечь крепче, чем вчера.  
Давид перед судьбой не отступает  
И не кладет правдивого пера.

«Мир! Ты чудовище с душой кривою.  
Тебе я верил, ты же — обманул.  
Ты разорил гнездо мое родное,  
Мой дух в кувшине глиняном замкнул.

В бесплодной кинул ты меня пустыне,  
Мне тернием подошвы исколол.  
Доверился твоей я благостыне —  
И вот куда же ты меня завел?

Я стар. . . Где я найду приют свой ныне? —  
Смерть должника потащит на ответ,  
Казнит меня, и уподобит глине,  
И скажет вслед: «Всё суета сует».

Но так я не хочу тебя покинуть,  
Назначь конец, какой мне хочешь ты,  
Заставь нагорным ледником застынуть,  
Но огради от вечной темноты.

Или на торге смерти ненавистой  
Продай меня, ягненка. Но в руне  
Оставь навек дыхание отчизны,  
Бубенчик привяжи на шею мне,

Чтоб молвили: «Смерть лихоимцем стала,  
Взяла ягненка в счет долгов чужих,  
Хоть никого бегом не настигала,  
Хоть не скосила даже яровых!»

Пусть мира злоба светоч мой гасила,  
Не праздно в мире жизнь прошла моя.

Но жизнь, я вижу, — трапеза могилы.  
Как о бессмертье мог подумать я?

Но по себе оставил я младенца,  
Дал сыну сердце, голос, мысль свою,  
Да встретит он счастливый дальний день свой  
Средь будущих друзей в родном краю».

#### ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Когда, как птица, песня возросла  
И — сильная — перед тобой взлетела,  
Смерть в самом деле к двери подошла,  
Холодную полой прошелестела.

Тебе казалось — день, как полночь, глух,  
Соломенное ложе — словно камень.  
Вот — запоеет за петухом петух,  
Блеснет рассвет вослед за петухами.

Но не светало. Петел не пропел.  
Глаза как будто застилали тучи.  
И понял ты, что светоч догорел,  
Что холодеет кровь, как ключ гремучий.

А за дверьми сад белых яблонь цвел,  
Лучась, как облака над Зедазени,  
И жернов жито новое молот,  
И перед смертью ожило сомненье:

Перенесет ли сын через хребет  
На юных крыльях ношу долгой жизни,  
Воспоминания народных бед,  
Что в книге сохранил Давид отчизне?

Хотел сказать ты: «Горе мне, о мать!  
Кто обо мне вздохнет на целом свете?  
Где мне на гроб убогий денег взять?  
В кармане свищет ветер, пусто в клетки...»

Хотел сказать: «Я хлеб у Мцхета жал,  
Скитался я, трудился, пел безгрешно.  
Я рифмой поле дум в снопы связал —  
И гибну одиноко, безутешно!

А я еще с мечом бы жить хотел,  
Но скованы уста мои печатью. . .»  
И вот, как горный ключ оледенел, —  
Гурамишвили умер. Плачьте, братья!

#### ПРИПИСКА К ПОЭМЕ

Я поднесу тебе кувшин,  
Наполненный в источнике бессмертья.

*Давид Гурамишвили*

Когда б ты небосвод увидел ясный,  
Смеющееся ведро наших дней  
И обновленной Картли сад прекрасный,  
Как ликовал бы ты в душе своей!

И дружбу Автандила с Таризлом  
В содружестве народов ты б узнал,  
И в Зубовке Арагва бы гремела,  
И в Мцхета б русский друг тебе предстал.

И ты б позвал: «Стихи мои, летите!  
Ко мне, птенцы, слетайтесь в добрый час!  
Не лейте слез — и слезы мне отрите!  
Ведь родина с любовью помнит нас.

Так молотите жито золотое,  
Срывайте спелый плод в саду своем!  
Народ нас напоил живой водою,  
Благословил нас хлебом и вином.

России сердце, сердце Украины  
С грузинским сердцем связаны навек.  
Так дружески преломим хлеб единый,  
В одно русло сольем кипенье рек.

На берегах Лиахвы сядем рядом,  
Припомним на днепровских берегах  
Форелей, борющихся с водопадом,  
Пастушью песню на родных лугах».

Но русло песни жизни не вмещает,  
В веках грядущих вижу я твой след.



А песня взор на землю обращает,  
Не говорит: «Всё суета сует. . .»

Не скажешь ты: «О мир, несущий беды!» —  
Хоть истомил тебя скитаний зной. . .  
Встань! Воротись! Гнездо свое проведай!  
В источнике бессмертья нас омой!

*1944—1945*

## 185. ГАНДЖИНСКИЙ ДНЕВНИК

### ПРЕДИСЛОВЬЕ

Я посетил в Гандже убогий твой приют,  
Как будто прочитал незримые страницы:  
Отсюда ты ушел, но здесь стихи живут —  
Я с ними до утра не мог наговориться.

Мне голосом твоим поведали они  
О горестной судьбе, о муках и печали,  
Как в скорби и тоске твои сгорали дни,  
Как юные мечты ночами умирали.

Услышанное здесь я точно записал,  
За строки от себя суди не слишком строго;  
Всю ночь в моей груди твой колокол звучал,  
К рассветной синеве вела твоя дорога.

Оседлан конь и ждет, и помыслы чисты,  
Родной земли простор зовет и вдохновляет.  
Пусть сердцу моему достанет доброты,  
Пусть гордый конь в пути усталости не знает.

### ПЕСНЬ СОЖАЛЕНИЯ

Не тревожь, Катина,  
Ночь глуха и черна,  
Не подвязывай гриву Мерани!  
... Сон растаял, и сказка уже не слышна  
Из далекой предутренней рани.

Чист, как мрамора срез,  
Звук возник и исчез,  
Но оттаяла памяти мука,  
Народилась звезда, воссияла с небес  
Продолженьем пропавшего звука.

Ты сказала: «Прощай,  
Не кляня, вспоминай,  
Утешайся, чинару лаская,  
Не забудешь меня,  
Не разлюбишь меня,  
Не притронется к сердцу другая. . .»

В непроглядной ночи  
Хоть молись, хоть кричи —  
О, монашества злое заклятье!  
Чаша горя полна,  
Расплескай, Катина,  
Легким сном пролети над кроватью!

В храме — пыльная мгла,  
Запустенье, зола,  
Запах ладана мертвенно-сладок,  
Пусть свеча догорит,  
Пусть надежда молчит,  
Пусть царит в небесах беспорядок!

Здесь рассвет и закат  
Друг за другом спешат —  
Однолики, как волны прибоя. . .  
Сердце рвется туда, где кладбищенский сад  
Засыпает могилы листвою.

Шепчут листья: «Приди,  
На колени пади —  
Там, над кладбищем, звезды родные!»  
Мне бы спрятать одну, как птенца, на груди —  
Я забыл бы невзгоды земные.

Злобный дух, не гнети!  
Сердце, мир обрети,  
Будьте вечными, отчие стены!  
Мчит Мерани меня,  
Я по воле коня  
Отдаляюсь и ночью и денно.

Я в иные миры  
Мчусь быстрее Куры,

Звон Сиони меня провожает,  
Купол неба влечет  
В одинокий полет,  
Ветер свечи мои задувает.

**ИЗ КАРТЛИ ГОНИМЫЙ. . .**

Из Картли гонимый жестокой судьбою,  
С израненным сердцем я прибыл в Ганджу.  
Здесь спит Низами под могильной плитою. . .  
Быть может, скитаньям конец положу?

Я верил в прекрасный цветок Цинандали —  
Он сорван, я руки чужие клянуп!  
Есть роза в Ширазе, но только едва ли  
К ее лепесткам я губами прильну.

Теперь я чиновник. . . Заботы, заботы. . .  
Мне строить поручено башню и мост.  
Усталой душе не осилить полета —  
С ганджинских болот до сияющих звезд. . .

Тружусь, хоть и каркает ворон треклятый,  
Что юность увянет в пустой беготне. . .  
Мой дом обнищавший, пожаром объятый  
Встает предо мной еженощно во сне.

Но дело меня увлекло понемногу,  
Я стал понимать незнакомый язык,  
Нашел я в Гандже и коня и дорогу,  
Вот только к верблюдам пока не привык.

Я в бедном ганджинце увидел собрата —  
И тоже пришелся ему по душе. . .  
Здесь жил Низами. Здесь он умер когда-то.  
Я, странник, приютом обязан Гандже.

**УЗНИК ГАНДЖИ**

Я узник Ганджи, не правитель,  
Мне власть тяжелее оков,  
Я — бедный, печальный хранитель  
Не читанных миром стихов.

Мне, грешному, даже не снится  
Покоя святая вода,  
А юность — лучиной дымится,  
Погаснет вот-вот навсегда.

О, вера! О Нина святая,  
На крест уронившая прядь!  
Всё чаще Коран я читаю —  
Здесь нечего больше читать.

Ко мне лихорадка пристала,  
Заели работа и зной,  
Как мошки над дубом усталым,  
Несчастья кружат надо мной.

О Картли всё время тоскую.  
Мне снилось: упал я с коня  
И в жесткую землю чужую  
Чужие зарыли меня. . .

Я вынес бы долю Фархада,  
Я выгрыз бы сердце горы  
За взгляд мимолетный в награду,  
За рокот бессонной Куры,

Но помню недобрые взоры,  
Насмешки в сердечном кругу. . .  
Простите, картлийские горы,  
Вернуться я к вам не смогу.

#### ВНОВЬ СОЖАЛЕНИЕ

Где горный мой родник? Я больше не могу!  
Рассыпались мечты, вокруг тоска — стеной.  
В рокошущей ночи на мткварском берегу  
Чинарой быть бы мне, склоняться над волной. . .

Я вышел в долгий путь, когда миндаль зацвел,  
Бессонный пономарь, в какую даль бреду?  
В Тбилиси мне никто на помощь не пришел,  
А здесь Нахичевань — и вовсе пропаду!

Неможется с утра — но я же не старик!  
Со мною Лурджа мой, готовый поскакать

Хоть в горы Шамиля — как ветер, напрямик.  
Низина мне вредна, как трудно здесь дышать!

Смогу ли одолеть к вершинам Картли путь?  
На шее, как ярмо, род обнищавший мой. . .  
До Анчисхати я дойду ль когда-нибудь?  
Увижу ли туман Табори голубой?

Траву глухой тоски слезами орошу —  
Под лезвием мечты пусть падает к ногам. . .  
Со мной мои стихи, лишь ими я дышу,  
Они — моя стезя, мой воздух, мой бальзам.

Амкари и джами в предание ушли —  
На мткварских берегах не сыщешь больше их. . .  
Как тает снег весной — ушел бы я с земли,  
Когда б тбилисский гул в душе моей затих.

Ты помнишь ли меня, Священная гора,  
Властительница дум, алтарь моих страстей?  
Здесь сердце сожжено, растаял дым костра,  
Отплакали ветра над юностью моей. . .

Тбилиси, ты в груди. Тоски не превозмочь,  
Взор застилает мне дерев твоих листва,  
К свече моей души летит за ночью ночь,  
Сгорают мотыльки, свеча едва жива. . .

#### ОТЧАЯНИЕ НАСЛЕДНИКА

Отец скончался. Дрогнул старый дом,  
Мы обнищали во мгновенье ока.  
Самой судьбой — безжалостным врагом —  
Я уязвлен, растоптан я жестоко.

Дворянство — звук, не кормит, не поит!  
Ждать не хотят и часу кредиторы,  
Наш виноградник им принадлежит,  
И крест украсит нечем будет скоро!

Хозяйкой в доме стала нищета,  
Все перед ней растерянно застыли. . .  
Свободной птицей не парит мечта,  
Свет заслонили вороновы крылья.

Я прикрутил надежды фитилек,  
Теперь в Гандже пытаюсь прокормиться.  
Мой отчий дом от этих мест далек,  
Но дверь его мне каждой ночью снится.

Я привыкаю к лошади чужой —  
Мой верный Лурджа будет продан вскоре. . .  
Толпятся, зреют тучи над Ганджой,  
Рокочет гром тревожным эхом горя.

Родное небо над родным двором,  
Ограда, дуб — мне так вас не хватает. . .  
Не ранен в битве — волей рока хром, —  
Не болен я, — а боль не отпускает!

#### ПЕРВОЕ ПИСЬМО К МАИКО ОРБЕЗИАНИ

Меня забыли все, в Гандже я одинок.  
Страстей моих пожар пылает всё сильней,  
Но сердца моего он закалить не смог,  
Не меркнет синий цвет далеких юных дней.

Горячка извела, я ночью — как огонь!  
Лягушки не дают уснуть в полночный час. . .  
Лишь веки я сомкну — несет меня мой конь,  
Над берегом Куры звучит ее отказ. . .

С достойными людьми я хлеб не разделил,  
Корыстных болтунов друзьями посчитал. . .  
Я лавров и цветов на гроб не заслужил, —  
Отчизна, разреши, чтоб я тобой дышал!

Я всеми позабыт среди чужих болот. . .  
Я бранный этот мир залью потоком слез:  
К Сатаре я — во сне — обедать шел на плот,  
Мтацминда снилась мне в убранстве синих  
звезд. . .

На выжженной бахче я всеми позабыт!  
Судьбою пополам разорвана душа:  
Живая часть ее в родной земле лежит,  
Другой дала приют из милости Ганджа. . .

Такие, Маико, печальные дела. . .  
Лукавый ангел мой успел меня забыть. . .

Тяжелая тоска мне на сердце легла,  
Когда бы не стихи — не знал бы, чем и жить.

Осыпались цветы под ветром бытия,  
Растаяла мечта, как ястреб в вышине. . .  
Мтацминда снится мне — тоска и боль моя!  
С коджорским ветерком беседую во сне. . .

#### ГОНЧА-БЕГУМ

Здесь. . . одно новое стихотворение, о  
восемнадцатилетней девушке. . . Эту  
девушку зовут Гонча-бегум. Она дочь  
хана, очень красивая и обаятельная.  
Бедная, замучена своим мужем. . . За-  
муж ее выдали силою. Если бы Вы  
знали их историю. Это целый роман. . .

*Из письма Н. Бараташвили*

Спой мне песню, Гонча-бегум,  
Как с ладони звезды сдуло,  
Как лозу под черным небом  
Вихрем бешеным согнуло.

Замуж выданная силой,  
Ты была другим любима.  
Оскорбляет муж немилый,  
Жизнь твоя невыносима —

Сколько горя в нежном взоре,  
Слез в душе многострадальной!  
С высью неба, с далью моря  
Сходен голос твой печальный.

В тишине творишь моления —  
В них забвенья и отрада,  
Ты поешь в уединенье,  
В уголке укромном сада:

«Сад тенистый, сад зеленый!  
В прошлой жизни это было —  
Юной девушке влюбленной  
Здесь чинара тень дарила!

Скрипни, буковая дверца, —  
Ждет пчелу цветок медовый,



Но тревожно бьется сердце:  
Покарает муж суровый».

Слыша песню Гончи-бегум,  
Ворон каркнуть не решится:  
Под осенним черным небом  
Ртвели твой не повторится,

Сад не станет прежним садом,  
Обескрылевшая птица!  
Роза, сломленная градом,  
Знай: любовь не повторится!

---

Спой, татарка, спой, моя отрада,  
На закате солнечного дня!  
Ты столу накрытому не рада, —  
Может быть, в обиде на меня?

Рвешь силки... Какая гибкость в теле!  
Скушай персик, юная лоза,  
Пусть в глазах запрыгают форели,  
Заискрятся радостью глаза!

Муж придет — безделица, пустое,  
Не в новинку мне кулачный бой:  
Я бывал за смертною чертою,  
Омывал лицо живой водой, —

Пусть придет, кедровая дубина,  
Грубияна живо проучу,  
Ханского заносчивого сына  
Отучу топтать мою бахчу...

...Но поет татарка молодая  
Мне о горном срезанном цветке,  
Что лежит на камне, увядая,  
Пропадая в грусти и тоске.

Значит, поздно? Счастья быть не может?  
Я, отшельник, беден и смешон,  
Но твои глаза меня тревожат,  
Как щемящий колокола звон...

Я с тобою жребий твой оплачу  
И тоску по воле разделю,  
За своей спиной от горя спрячу  
И стихом тебя развеселю.

Я цветок от жадных глаз укрою,  
Огражу бахчу от грубых ног...  
Оба мы несчастливы с тобою:  
Твой защитник тоже одинок.

**он вздохнул глубоко — и запел**

Гончу-бегум всем сердцем жалея,  
Катину он не вспомнить не мог.  
Мрак, ингурской волны ледянее,  
Горькой тяжестью на душу лег.

Показалось — дарбази дымится.  
Хлынул в голову жаркий туман:  
Он увидел — в неволе томится  
Катина, как царица Нестан.

Он курил, он вставал и ложился,  
Он пытался волнение унять —  
То к Ингури в мечтах уносился,  
То в Ганджу возвращался опять.

Боль внезапно ударила душу —  
Словно бросили камень в окно,  
Взял перо — а рука непослушна,  
Расплылось по бумаге пятно.

Он сквозь слезы прочесть не пытался  
Кровью сердца написанных строк,  
Два листа исписал — и поднялся,  
Скомкал письма и спичку зажег...

Горстку пепла держа на ладони,  
Он вздохнул глубоко — и запел,  
И ответила роща на склоне,  
И рассвет над горой заалел.

## ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ ЛЮБИМОЙ

Писал он, что, когда твои глаза  
Его души коснулись нежно-нежно,  
Они внезапно стали цвета неба  
И этот цвет переменить нельзя,  
Что помнит он все муки, забытье  
И за роялем пение твое.

И он писал: «Зачем тот синий цвет,  
Песнь под сурдинку, бесконечность мигнов,  
Когда тобой в Ганджу отпущен с миром,  
Но мира в мире мне отныне нет!

Так шелестеть деревьям удалось,  
Как шепчешь ты, — бросаюсь я на шелест,  
Как сокол с полувывернутой шеей,  
Запутавшись в сетях твоих волос.

Да, твой манок меня зачаровал  
И синевою глаза мои подернул!  
И бьются соловьи в ночных потемках,  
Друг друга убивая наповал.

Вокруг трава от крови их сыра,  
Ты их бросаешь в бой движеньем перстня.  
Со мной играет шальная твоя песня,  
Как будто с тенью собственной серьга.

Сквозная алазанская лоза,  
Жару и холод ты осилишь, стерпишь,  
Твои глаза растут в траве на стеблях,  
На дне ручьев лежат твои глаза.

А я, как дервиш, по земле хожу  
И к истине дорогу проторяю,  
Но по ночам с укором повторяю:  
«Зачем тобой отпущен я в Ганджу!»

Среди чужой, крикливой толчеи  
Ищу твой голос тихий и печальный.  
Перебираю звезды машинально,  
Как будто четки вечные мои. . .

## НА ЛОЖЕ ТВОЕМ

На ложе твоём прикорнули стихи,  
Апрельских садов прикорнули метели.  
Оденься туманом, как будто Метехи,  
Созвездьями волосы туго стяни!

Но стягивать волосы не по тебе —  
Тебе ни меня, ни тумана не надо,  
Не надо ни рая, не надо ни ада,  
Ни звезд, хоть останься всё небо во тьме.  
Приданое ревности лучше сожги!  
Пусть кончики пальцев легко и прозрачно  
Ко лбу моему прикоснутся просяще  
И скажут дрожаньем своим «помоги!» —

И я обыщу закоулки ночей,  
Все руки о звезды себе исколовши,  
И тихо приду к твоему изголовью  
С охапкою хвороста лунных лучей.

Но каждый твой волос — как лунная нить.  
Для этих волос мой подарок — он лишний,  
Испевшейся птицей ночью, неслышной,  
Из них я хотел бы гнездо себе свить.

Дорогу к тебе я найти не могу.  
Но мягкой походкой, танцующей в листьях,  
Ты бродишь в моем воспаленном мозгу,  
Как будто по улочкам узким тбилиским.

На ложе твоём прикорнули стихи,  
И радуги край за балкон зацепился.  
И сам я сомнений своих застыдился,  
Сомнения мне отпусти, как грехи!

Пускай на открытые раны мои  
Прольются волос холодящие струи,  
Пускай твое горло, свирелью воркуя,  
Журчит, как журчат соловьи и ручьи.

Но это уже невозможно. . . В тоске  
Я пел тебе песню блаженства и муки,  
Но сумрак застиг меня на полузвучке,  
И в ночи запутался я, как в силке.

## ВТОРОЕ ПИСЬМО К МАИКО ОРБЕЛИАНИ

Ну, здравствуй, Маико, любимая сестра!  
Нет писем от тебя — а я всё жду и жду.  
Красавица моя, поведай, будь добра, —  
Всё так же ли цветешь в родном своем саду?

Ты любишь виноград — он здесь уже созрел!  
Орехи, турачи — базар в Гандже богат,  
Но что тебе прислать, я выбрать не сумел. . .  
Вот, может быть, стихи тебя повеселят?

Я шелку бы купил — но здесь шелка в цене,  
Твой рыцарь обеднел — уж ты его прости. . .  
Пошли свой ясный взгляд сквозь толщу мрака мне,  
Узилище мое хоть в мыслях навести!

Как там Тбилиси наш? Поговорим о нем  
И вспомним тех друзей, что смутною порой,  
Бесстрашные, ушли сражаться с Шамилем.  
Их, верно, нет в живых, лишь тени над Курой?

Язвящие шипы вонзила в грудь тоска,  
Всё нет и нет письма — должно быть, неспроста. . .  
Мтацминда, как и ты, так страшно далека,  
Кругом такая мгла, такая пустота!

Я горлицу мою глазами проводил —  
Вспорхнула в небеса, проститься позабыв.  
Стреножил я мечту, мне белый свет немил,  
Сплю долго по утрам, я скучен и ленив.

Три слова напишу о радостях моих:  
Лаваш, пити, гранат. . . Чего еще желать?  
Известно всей Гандже: приезжий — не жених.  
Коптит моя душа, ей больше не пылать. . .

Я ближним помогал в далекой жизни той —  
Теперь живу легко, бегу от суеты.  
Сестрица Маико, откликнись, ангел мой!  
Как это хорошо, что есть на свете ты.

### ВОЛШЕБНАЯ СЕРЬГА

Твоя серьга приснилась ночью мне —  
Порхающий над розой мотылек. . .  
Я дверь свою успел закрыть во сне,  
Чтоб сон волшебный улететь не мог.

Я с цинандальской розой говорил,  
Я любовался гостью дорогой. . .  
Счастливец тот, кто губы остудил  
В блаженный миг прохладною серьгой!

Вновь ранил душу дивный голос твой,  
Хоть связь сердец распалась так давно!  
. . . Бараташвили грустен над Курой —  
Без Катины в душе его темно. . .

Движенье брови ранило меня,  
Настигла взгляда ясная стрела,  
Я в дикой скачке запалил коня —  
Умчалась лань — она быстрее была!

Я неземным внимал колоколам,  
Когда твои мне слышались шаги,  
Гудела ночь — немолчный звездный храм,  
Луна желтела отблеском серьги. . .

Коптит светильник. . . Встану погашу!  
Лоб остужу стеклянным льдом окна,  
Я тень твою остаться упрошу,  
Укрою буркой — пусть уснет она!

Твоя серьга приснилась ночью мне —  
Порхающий над розой мотылек.  
Я дверь свою успел закрыть во сне,  
Чтоб сон волшебный улететь не мог.

### ЖАЛОБА НА ЗДЕШНЮЮ ЖИЗНЬ

Третий месяц бесцельно брожу по горам. . .  
Кто завидует доле такой,  
Я тому и ружье и раздумья отдам,  
Лишь надежда пусть будет со мной.

Без любимой, без друга невесело тут,  
Быстротечны суровые дни. . .

Здесь лягушки древесные ночью поют —  
Как же мне надоели они!

Здесь кругом тополя, как на ястреба сеть,  
Что-то злое с утра шелестят,  
На болота Ганджи неуютно смотреть —  
Как здесь только растет виноград?

Я терплю, но терпенье — натянутый лук,  
Может лопнуть его тетива,  
Участились разбой и насилье вокруг,  
И неправда нередко права.

Просит помощи всё потерявший бедняк,  
Только чем я ему помогу,  
Если сам, как и он, я бездомен и наг,  
Сам от горестной доли бегу?

Но кого упрекнуть? Не моя ли вина,  
Что двойная мне жизнь суждена:  
И в колодце луна, и на небе луна —  
Так воистину где же она?

Тяжки цепи земли. Холодны небеса.  
Перезрело созвездье души.  
Жизнь, ты видишь — устала и гнется лоза,  
Время ртвели уйдет, поспеши!

**ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА О ГИБЕЛИ  
ГОНЧАРА**

Как верить воркованию Корана?  
Воистину безжалостен Аллах:  
Гончар погиб негадаяно-нежданно —  
Он был накрыт лавиною в горах. . .

Он не лепил — он создавал посуду!  
Ходил к Горе, сырую глину брал,  
Месил и мял бесформенную груду,  
Потом в печи изделия обжигал.

В сосуд готовый крикнет для забавы,  
И тот ответит звонко гончару.  
Как журавли, наивно величавы,  
Его кувшины славились в миру,

Вино, искрясь, плескалось в тех кувшинах,  
О них звенела добрая молва.  
Мечтал гончар о крыльях журавлиных,  
Его манила неба синева!

Он не взлетел — земля не отпустила:  
На гордеца обрушилась Гора.  
Хранит мечту безвестная могила,  
Грустит родник над сердцем гончара!

Мой брат гончар! И я лежу недвижим,  
Как тяжела лавина бытия!  
Горит заря — но я зари не вижу,  
Шумит тростник — его не слышу я!

Нам не хватило силы и удачи,  
Мы для полета крыл не обрели. . .  
О гончаре родник хрустальный плачет,  
Грустят о нем кувшины всей земли.

#### НИЗАМИ

..Низами запретили сочинять стихи на родном языке, и он писал свои произведения на персидском.

*Из биографии Низами*

Здесь Низами покоится в могиле.  
Я подошел над прахом погрустить.  
Ночные тени камень окружили —  
Хотя бы с ними мне поговорить!

Он был певец добра, любви и света —  
Таких цари не терпят при дворе.  
В земле Ганджи спокоен сон поэта,  
О нем вздыхает нива на заре. . .

Гончар и жнец, не мог он не трудиться;  
Владыка знал, как наказать певца, —  
Мол, твой язык для песен не годится —  
Петь по-персидски будешь до конца!

..Родные звезды мне светили в детстве,  
Мне пела мать: «Гори, люби, живи!  
В круговороте радостей и бедствий  
Сложи молитву жизни и любви!»



Я свято чту источник вдохновенья,  
Я не забыл грузинской «наны» слов,  
Зажженная с ее благословенья  
Горит над Картли радуга стихов!

Но Низами не слышал «наны» старой...  
Судьба к нему неласкова была.  
Он гордо спит под вечною чинарой,  
Тень невесома — вечность тяжела...

Когда б века не стали между нами,  
Язык картвелов он бы полюбил,  
Я Низами осыпал бы стихами,  
Я по-грузински с ним бы говорил!

Язык отцов! Он суть души и тела,  
Я все невзгоды вынести готов,  
Чтоб надо мной родное небо пело  
На языке родных колоколов.

Пусть мал мой сад, жилье мое убого,  
Не опечалюсь этим ни на миг:  
Судьбою мне даровано так много —  
Есть у меня грузинский мой язык!

Пред Низами я голову склоняю.  
Шуршит листва, текут над ним века...  
Не мог поэт — я это твердо знаю --  
Забывать слова родного языка.

#### ЗАПИСЬ

Просвета нет в моей судьбе —  
Скитанья, слезы, маета,  
И только память о тебе  
Свежа, целительна, чиста.

Я утомлен, я изнемог,  
Но не забыл тебя, поверь...  
Мне жалкий бросили цветок —  
В Гандже чиновник я теперь!

Как видно, звари мой заглох  
И скорбный ветер бытия  
Не донесет мой тяжкий вздох  
В одишские твои края.

---

Здесь крутизна такая над Курой!  
Чреда видений в памяти теснится:  
Закатный час, рояль волшебный твой,  
Похожий на взлетающую птицу.

Уснувших струн теперь не разбудить.  
Незримый ворон каркает угрюмс.  
Молю тебя: позволь мне разлюбить!  
Освободи мечты мои и думы!

Прорвись, рыданье, душу просветли,  
Закат сквозь слезы кажется алее.  
Шумы, Ганджа, забытый край земли,  
Срывай листву с деревьев, не жалея!

Там крутизна такая над Курой. . .  
В груди остывшей пламя не родится.  
Молчит рояль, рояль волшебный твой,  
Похожий на подстреленную птицу.

#### ПЕСНЬ ЛЮБВИ

Погасла заря, в небесах над Курой унынье,  
Ликует Ингури, волной ледяною звеня:  
Там муж твой и дом, там твой жребий счастливый  
отныне, —  
Судьбе повинуюсь, ты скоро забудешь меня.

Умолк соловей, цинандальскую розу сорвали,  
И горной реке за твоим не угнаться конем.—  
Он скачет по ниве моей безысходной печали.  
Как в сердце темно, сколько боли и горечи в нем!

Ты мчишься по роще, твой ястреб ревнивый с тобою,  
Немым изваяньем застыл у тебя на руке.  
Что письма мои? Не надеюсь, не спорю с судьбою.  
Как сердце болит, как темно от тебя вдалеке!

Умчался скакун — даже топота больше не слышу,  
Тебя не догнать — мы с тобою как нечет и чет.  
Твоя красота мне на гибель ниспослама свыше —  
В ней счастье и мука, и ранит она и влечет.

Мост висячий рухнул в бездну,  
 В роще трель не раздаётся,  
 Ждать и грезить бесполезно:  
 Нет любимой. Не вернется.

Горечь яда, вкус шербета —  
 Всё узнать придется ныне.  
 В бурку ночи даль одета,  
 Нет луны и звезд в помине —  
 Ревность, ревность!  
 Нет просвета  
 В чернотканой паутине.

...Роща, старая чинара,  
 Конь стремительно несется,  
 Твой платок — язык пожара —  
 Вместе с гривой Лурджи вьется.

Мочка уха розовеет —  
 С нею роза не сравнится!  
 Ястреб — как он только смеет! —  
 На плечо твое садится.

Ты его ласкаешь нежно —  
 Я от ревности немею...  
 Беззаботна, безмятежно  
 Едешь ты тропой своею,

Все привычны повороты,  
 Все шелковицы знакомы,  
 Заждались тебя с охоты,  
 Без тебя тоскуют дома!

Вниз с холма тропа сбегает,  
 Всё вокруг — любовь, цветенье!  
 Дома розу окружают  
 Поклоненье, восхищенье!

Ты желанна, ты любима...  
 Ты — Нестан? Этери? Кто же?  
 Весела, неутомима...  
 Прядь волос — на дождь похожа,

Дома — взоры бирюзовы,  
Сколько ласки в них таится!  
Лишь в меня они готовы,  
Словно жала пчел, вонзиться.

Бровь — стремительнее лани,  
Губы — алый сок кизила!  
Твоего очарованья  
Искра — песней в небо взмыла!

Не пришелец я безродный!  
Тень твою обнес оградой —  
Хочет быть она свободной!  
Ты не даришь даже взгляда. . .

Значит, вновь тоска и бденье,  
Снова боль, стихи, разлука.  
Сердце жаждет исцеленья —  
С каждым часом горше мука.

Ночь надеждой не согрета,  
Навсегда прощай отныне!  
Горе, горе! Нет просвета  
В чернотканой паутине.

#### МЕЧТА О ТБИЛИСИ

Мне приснился Кабахи прохладный,  
В узкой улочке дом рыбака,  
Над Метехи простор неоглядный,  
И звезда, и под кручей река.

Та же тонэ в низине пылала,  
Был хабази знакомо усат,  
Только песня дрозда не звучала —  
Почему-то безмолвствовал сад.

Вдаль река бриллианты катила,  
Гиацинт был приветлив со мной;  
И еще мне приснилась могила —  
Вожделенный приют над Курой.

Эти горы, созвездий цветенье —  
Лик Тбилиси, черты божества!

Слышу родины благословенье,  
Повторяю молитвы слова:

Я увижу тбилисские зори —  
Упрошу на коленях судьбу!  
Будет травами ветер Коджори  
Шелестеть у Мтацминды на лбу!

Дай, Тбилиси, покой и прохладу,  
Туч отару развей, размети,  
Одари пестротой листопада,  
Лавашом от души угости!

Напиши надо мной послесловье —  
Скоро кончатся странствия дни. . .  
Посади гиацинт в изголовье,  
Добрым словом меня помяни.

#### ПРОГУЛКА ЗА ГОРОД

Думал, думал, снова думал. . .  
Лурджу в луг пустив зеленый,  
Сел в густой тени под дубом,  
Как Спаситель утомленный.

Оросил совсем недавно  
Теплый дождик травы в поле.  
Он вздремнул легко и славно,  
Незаметно, поневоле.

А когда проснулся — дали  
В тень ушли. Угрюм и черен,  
Дуб над ним поник в печали,  
Меж ветвей виднелся ворон. . .

Захотелось ежевики;  
Поискал вокруг на ощупь —  
Пусто. Глухо. Дали дики.  
Рядом — призрак синей рощи.

Снова мысли — в темя, в темя:  
Встать, вернуться в дом убогий!  
Свистнул Лурджу — ногу в стремя  
И помчался по дороге.

Вот и липа, а за нею  
Край селенья — всё в порядке!  
К людям? Поздно, не успею...  
И — свалился в лихорадке.

#### ЛИХОРАДКА

Жар больного застал нераздетым...  
Сплел бесенок из пряди волос  
Узкий мост между тьмою и светом  
И в сознание сумятицу внес.

Мир оделся в цветастые ткани...  
Он подумал сквозь жар и озноб:  
«Мне б воды в запотевшем стакане  
И возлюбленной пальцы на лоб...»

Значит, жизнь сиротливо дотлеет?  
Кто прогонит несносный кошмар?  
Гонча-бегум войдет, пожалеет,  
Капель даст — и понизится жар.

Стала комната душной парильней...  
Как же имя ее? Маико...  
Как велик этот камень могильный —  
Сдвинуть с места его нелегко!

Хоть бы каплей воды причаститься...»  
И вошел, как священник, рассвет, —  
Может быть, наконец прекратится  
Невозможный горячечный бред,

Он оближет иссохшие губы,  
Лбом почувствует ласку росы...  
Каркнул ворон с далекого дуба,  
Возвещая забвенья часы.

#### ПЛАЧ В ГАНДЖЕ

Опять лихорадит. Тетрадка упала,  
Тоску навевает убожество стен,  
Еще и не осень, а роза увяла,  
До времени жизнь превращается в тлен.

Душа — словно сад после адского града. . .  
Как жарко. . . Но утро белеет в окне —  
Евфимия, мать! Исцеленье, прохлада,  
Войди, наклонись надо мной в тишине.

Мне снится — на родине нива не сжата  
И Грузии раны клюет воронье. . .  
Стократной любовью разлука чревата —  
Не выдержит бедное сердце мое!

Прощайте, прощайте, Атени и Ксани,  
Тропы недоуздов над пеной реки,  
Навеки скрывается Картли в тумане  
И прячутся в недра земли родники.

Душа наполняется звуками «наны»,  
Я слышу шаги Маико за дверьми. . .  
Кончается жизнь до нелепости рано —  
Я столько бы мог, я в долгу пред людьми!

Где милые лица? Чадры надоели —  
Кружат мотыльками в ночи за окном. . .  
Как жестко, как душно, как страшно в постели —  
Что шепчет чинара, тоскует о ком?

Я прожил недолго. Я старым не буду.  
Куру завалил, заглушил листопад. . .  
А утро бледнеет, свершается чудо —  
Евфимия! Мать! Я блаженством объят.

#### НИНО

Полегчало ему на мгновенье, —  
Но недуг спохватился — и снова  
Подозренья, тревоги, прозренья  
В полутьме обступили больного.

Забытье исцеленью равнялось  
И — пришло. . .

К вечерующей выси  
По тропинке Нино поднималась,  
Под горой расстилался Тбилиси.

Без креста из лозы виноградной  
Шла она — воплощенье печали,  
Овевал ее ветер прохладный,  
Листья, с вишен слетая, встречали.

Плющ разросся, плиту обнимая, —  
Здесь бы впору пернатым гнездиться!  
Что она говорила, живая,  
Чем пришла с неживым поделиться?

Листья падали, тень напознала,  
Уступала Мтацминда захвату —  
Обреченно гора остывала,  
Склонов жар отдавая закату,

Пал туман на владения тени...  
Плющ могильный Нино приласкала.  
Преклонив перед мужем колени,  
Что ему по-грузински сказала,

Что поведала, в чем укорила?  
Был в Гандже тихий голос не слышен,  
Только солнце на миг озарило  
Сад с последними каплями вишен...

Сон растаял к досаде больного,  
Явь и жар подступили к постели,  
Но присутствие жара иного  
Ощутил он в измученном теле,

Он подумал: «Что слава земная?  
Дай, Мтацминда, мне место на склоне,  
Там, где плющ и свеча восковая,  
Я усну у тебя на ладони,

Пусть Нино приведет на закате  
Катишу в одеянии вдовьем.  
О, достоин ли я благодати —  
Слез ее над моим изголовьем?»



### ВСЁ БЫЛО СИНИМ В ЭТОМ СНЕ

Всё было синим в этом сне:  
И липа у ворот, и храм,  
Я на лазоревом коне  
Хотел подняться к облакам,

Я слышал зов, но конь стоял,  
И я стегнуть его не мог,  
И синий вечер наступал,  
И путь лежал еще далек.

Я не пошел молиться в храм,  
Мне липа тени не дала.  
Прильнула скорбь к моим губам,  
Дыханьем сердце обожгла,

Я дальше брел, в груди больной  
Неся губительный ожог,  
Лазурный омут надо мной  
Сиял, спокоен и высок,

Он звал, но я взлететь не смел —  
Коня давно со мною нет.  
Со старой липы лист слетел.  
Мой сон утратил синий цвет.

### ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

Постель? Или жизни и смерти весы?  
Безводным колодцем ганджинская мгла  
Казалась больному. . . Тянулись часы,  
Тетрадка ладонь ослабевшую жгла.

За медом пчела прилетела к душе —  
Напрасно, ей нечего было собрать. . .  
Пустыня, шурша, подступала к Гандже,  
С деревьев листва поспешала слетать.

Глухое безмолвье царило вокруг,  
Зияла гнетущая пропасть окна.  
Пастушья собака залаяла вдруг,  
Но лаем своим поперхнулась она.

Луна непохожа была на луну —  
Лучом, словно когтем, царапала грудь. . .

Но колокол храма разбил тишину.  
Мерани! Еще не закончился путь!

В верийском саду над туманной рекой  
Глядел он парому отплывшему вслед,  
И новые строки рождались для той,  
Что ворона камнем спугнула. . . Но нет —

К больному в постель этот камень упал,  
Зажат он в руке, как пустой кошелек.  
С чинары серьгу ветер смерти сорвал. . .  
Как горный родник безнадежно далек!

Хотел приподняться, но силы ушли.  
Как исповедь, имя ее прошептал.  
Умолкли стихи, под подушку легли —  
Он камнем могильным подушку считал.

Приблизились стены жилища к нему,  
На миг ослепив, почернело окно.  
Спокойно сходя в беспредельную тьму,  
Он знал, что увидеть зарю не дано.

#### ПРОЩАНИЕ

Он, праздности чуждый, не ведал покоя,  
Но сердце устало гореть и страдать,  
Он умер в Гандже, и осталась тетрадь —  
С тоскою о Картли, с последней строкою.

Он сам подбирал по порядку листы,  
Обвязывал думы тесьмою печали,  
Безжалостно пальцы ему обжигали  
Любовь и страданья, тоска и мечты.

Как будто молебен закончился в храме —  
В груди замолчали стихи навсегда.  
С деревьев текла дождевая вода.  
Стук сердца казался твоими шагами.

В бессонном борении с грозной судьбой  
Как ждал он рассвета! Но тьма победила.  
Он тихо в Гандже опустил в могилу,  
Оставив тебе небосвод голубой.

Останки его приютила чужбина. . .  
Рыдала ли ты над ингурской волной?  
Забывший тобою, смертельно больной,  
Тебе он молился в минуту кончины!

Он предан земле. Но стихи не молчат!  
Стихи о разлуке, о небе отчизны,  
О сломленном дубе, о смерти и жизни —  
Пусть гордое сердце твое обвинят:

Ты душу его обрекла на мученья,  
У Злобного духа не став на пути,  
Могла только ты исцелить и спасти —  
Его погубило твое отречение!

В Гандже подвела лихорадка итог  
Невзгод и страданий в земной круговерти.  
В наследство тебе он оставил бессмертье —  
Как нежную рану, как робкий упрек.

## **ПРИМЕЧАНИЯ**



Настоящее издание в основном опирается на посмертное четырехтомное Собрание сочинений Симона Чиковани на грузинском языке (Тбилиси, т. I, 1975, т. II, 1980), составители которого (В. Жгенти, Г. Маргвелашвили, Г. Асатиани, А. Сулакаури, Н. Чиковани) в свою очередь взяли за основу последнее прижизненное Собрание сочинений поэта в трех томах (Тбилиси, т. I, 1963, т. II, 1965).

Для творчества Чиковани было весьма характерно объединение стихотворений в своеобразные идейно-тематические единства. Начиная со второй книги поэта — «Только стихи», Тбилиси, 1930 (первая его книга — поэма «Размышления на берегу Куры» — вышла в Тбилиси в 1925 г.), все сборники его стихотворений делились на разделы. При этом, однако, состав и названия разделов в авторских сборниках неоднократно менялись: стихи переносились из одного раздела в другой, в уже сформированный и опубликованный в данном составе раздел вносились новые стихи и соответственно менялось его название, несколько разделов объединялись в один и т. п. Так, например, раздел под названием «Вечера в Колхиде» появился впервые в сб. «Стихи» (Тбилиси, 1939), однако по мере дополнения его новыми произведениями название в последующих авторских сборниках несколько раз менялось: «Мегрельские и абхазские вечера», «У моря», «Родные берега». Только в первом томе прижизненного Собрания сочинений Чиковани данный раздел был окончательно сформирован и было восстановлено его первоначальное название. Раздел под названием «Здесь я искал знакомые места» появился в книге «Моя отчизна» (Тбилиси, 1944). Ранее стихотворения этого раздела входили в состав разделов «Картлийские вечера» и «Тбилисский орнамент». Окончательный состав и название определились также лишь в первом томе прижизненного Собрания сочинений. Стихи из раздела «Лирическая тетрадь» (первые это название появилось в сборнике 1939 г. — «Стихи») позже входили в раздел «Врожденные чувства» и лишь в первом томе прижизненного Собрания поэт вернулся к первоначальному названию и составу. Стихи из раздела «Прошлогодний дневник» в окончательном составе, но под заглавием «Я вышел из дома на дороге родины» вошли в сб. «Стихи, поэма» (Тбилиси, 1960). В раздел «Предки», появившийся впервые в сб. «Стихи и поэмы» (Тбилиси, 1950), входили произведения, ранее включавшиеся в разделы «Размышления на берегу Куры», «Родина», «Прошлогодний дневник», «Здесь я искал знакомые места» и т. п.

Это обстоятельство пришлось учитывать и при составлении посмертных изданий на языке оригинала, и при подготовке настоящего

сборника. В структуре настоящего издания допущены некоторые отклонения от грузинского четырехтомника: отсутствует ряд разделов, другие, представленные небольшим количеством стихотворений, объединены.

Внутри разделов сохранено авторское (не хронологическое) расположение стихов. Проблема датировки произведений Чиковани окончательно не решена (ряд стихотворений точному датированию пока не поддается, другие датируются в соответствии с временем их первой публикации).

Творческое наследие Чиковани в полном объеме на русский язык не переведено. Многие его произведения 20-х годов едва ли могут быть переведены вследствие их формальной изощренности, не поддающейся воспроизведению на другом языке. Соответственно значительная часть разделов, особенно ранних, в настоящем сборнике по сравнению с грузинскими изданиями представлена лишь выборочно. Все названия разделов принадлежат автору или санкционированы им. Исключение составляет последний раздел: «Книгу тебе оставляю». Этой строкой вдова поэта М. Н. Чиковани озаглавила книгу, составленную из стихотворений, не опубликованных при жизни автора. Данный раздел, а также поэма «Ганджинский дневник» переведены (за исключением нескольких стихотворений) на русский язык впервые специально для настоящего издания.

В Примечаниях сообщаются необходимые историко-литературные сведения, дается реальный комментарий, поясняются грузинские слова и выражения, оставленные без перевода.

Русский перевод названий некоторых стихотворений и разделов, вошедших в данное издание, не совпадающий с их названиями на языке оригинала, был автором санкционирован. В отдельных необходимых случаях в Примечаниях сделаны на этот счет соответствующие разъяснения.

## СТИХОТВОРЕНИЯ

### РАННИЕ СТРАНИЦЫ

1. В стих. использован преимущественно классический четырнадцатисложный размер «бесигури» (по имени видного грузинского лирика XVIII в. Бесики — Виссариона Габашвили). *Кяманча* — народный струнный смычковый инструмент, бытовавший преимущественно в Восточной Грузии, более широкое распространение имевший в Азербайджане. В подлиннике — чонгури, самый популярный в Грузии народный инструмент, воспетый грузинскими поэтами (см., например, стих. Н. Бараташвили «К чонгури»).

2. *Манглиси* — селение в шестидесяти километрах к западу от Тбилиси. Вблизи Манглиси, над Верийским ущельем, стоит упоминаемая в документах с X в. старинная крепость Сквирети (*мрачнеит башни*). В подлиннике названа и другая местность — Коджори с крепостью Агарани (Азеула), являвшейся летней резиденцией грузинских царей (известна с XI в.).

3. *Адат* — неписанный закон, обычай у восточных народов, строго регламентирующий весь жизненный уклад. *И* — словно традицию

*Бараташвили — Поставили стол, и тахту, и кувшин.* Чиковани сравнивает свою комнату с бедным жилищем любимого поэта, великого грузинского романтика Николоза Бараташвили (1817—1845), который почти всю свою жизнь занимал скромную должность канцелярского чиновника (см. также примеч. 66 и на с. 358). *И демон белесый, как гипсовый слепок.* Упоминание злого духа, демона отсылает к стих. Бараташвили «Злобный дух».

4. Написано в стиле народных песен. *У кувшина стенки тонки, Хрупок он — не поломай!* Ср. грузинскую народную поговорку: «Кувшин у ручья ломается».

6. Стих. связано с литературной полемикой тех лет.

9. Размер, отдельные образы, эпитеты, фразы, словосочетания стих. связаны с шедевром грузинской поэзии — «Мерани» Н. Бараташвили (см. также примеч. 3, 66 и на с. 358). *Ритуфель* — музыкальная фраза. *Кто скажет, кто помнит историю боя* и т. д. На берегах Азовского моря при Петре I происходили военные баталии, имевшие значение для судьбы Грузии. В 1920 г. здесь шли бои с белогвардейцами. *Понт Эвксинский* — древнегреческое название Черного моря. *Мерани* — см. примеч. 66.

#### ПРОПУСТИ МЕНЯ, ГОРА!

10. *Ушгул* (Ушгули) — деревня в верхней Сванетии, горной области Грузии. *Ингури* — бурная река, берущая начало в горах Кавказа. В настоящее время на этой реке, вблизи города Зугдиди, ведется строительство Ингурской ГЭС. *Шхара* — горная вершина в Сванетии. *Лаорби* — горы в Сванетии. *Твиберская круча*. Твиберн — горный хребет в Сванетии. «*Лилео*» — сванский языческий гимн солнцу, хоровая песня. *Дали* (груз. миф.) — богиня охоты. *Имеретия* — область в Западной Грузии. *Чианури* — грузинский смычковый инструмент с двумя или с тремя струнами.

11. *Горваши* — перевал и ущелье в Сванетии (см. примеч. 10). *Шаири* — стихотворный размер, которым написана поэма Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». *Охаро* — деревянная посуда для воды. *Чианури*, «*Лилео*» — см. примеч. 10. *Чанги* — сванский народный струнный щипковый инструмент типа арфы. *Дали* — см. примеч. 10. *Слышишь ты, как над Хасаном Вьются вражеские пули.* Речь идет о боях Советской Армии против японских милитаристов в районе озера Хасан в 1938 г. *Мирангули* (Мирангула) — легендарный герой у сванов.

12. *Сванская колыбельная.* Сванетия — см. примеч. 10. *Нанил* — ласкательная форма обращения к ребенку. *Ингури*, *Ушгул* — см. примеч. 10. *Коши* — род обуви без задников.

13. *Сванетия* — см. примеч. 10.

14. *Сванетия* — см. примеч. 10. *Горвашское ущелье* — см. примеч. 11. *Не гикнули с откоса печенеги, Не ухватились за косы твои.* Намек на знаменитую народную балладу «Встретился со мной



печенег (кипчак)», в которой описан кровавый поединок между грузинским витязем и иноземным насильником, который хотел отобрать у витязя жену. *Ушгули* — см. примеч. 10.

15. *В горах Сванетских*. Сванетия — см. примеч. 10. *Двуречье* — долина рек Тигр и Евфрат, в литературе окруженная ореолом восточной экзотики. *Чуть не сказал тебе я: «О лоза»*. В оригинале приводится начальная строка стих. грузинского царя Деметре (XI в.): «Хотел сказать: „Ты лоза виноградная“». Источник этого образа, восходящего к библейским легендам, — древнее грузинское стих., которое поется и ныне.

16. Братья Симон и Алеша *Джапаридзе* погибли при восхождении на вершины *Теткульд* и *Ушба* в Сванетии (см. примеч. 10), первый — спасая товарища. После гибели героев их сестра Александра приняла участие в покорении Ушбы.

17. *Важа Пшавела* (псевдоним Луки Разикашвили, 1862—1915) — великий грузинский поэт. Данное стих. написано его излюбленным размером — так называемым «низким шаири». *Дихчо* — село Тушетского района. *Арагви* (Арагва) — река в Восточной Грузии, большинство рек ее бассейна также называется Арагви (Пшавская Белая, Черная Арагви и др.). *Гудамакари*, *Лутхуми*, *Чаргали* (родина Важа Пшавела), *Миграули* — селения в Пшавии, горном крае Грузии. *Там, над хевсурским селеньем*. Хевсуретия — горный край в Грузии, расположенный на обоях склонах Главного Кавказского хребта. *Синдаурай* (Синдаурисдзе) — герой народных баллад и песен, прославленный охотник. По преданию, он убил шестнадцать туров, за что разгневанная богиня, покровительница диких зверей, покарала его: перекрыла дорогу и погубила среди неприступных утесов. В Хевсуретии и поныне есть скала, которая называется *Высь Синдаурисдзе*. *Орцхали* — место слияния Хевсурской и Пшавской Арагв. *Луди* — пиво. *Шуртхи* — горная индейка. *Адат* — см. примеч. 3.

18. *Хахмати* — село в Хевсуретии (см. примеч. 17). *Мужи, как Важа*. Имеется в виду Важа Пшавела, см. примеч. 17.

19. *Рошка* (Рошки) — селение в Хевсуретии (см. примеч. 17), которая издавна славилась животноводством, главной отраслью сельского хозяйства. В оригинале это стих. называется «Хевсурская корова». *Разбойничий отряд соседей-кистов* и т. д. Кисты (кистинцы, современные чеченцы и ингуши), живя в соседстве с грузинскими горцами (хевсуры, пшавы, тушинцы), раньше враждовали с ними, набегали отрядами, чтобы угнать стада, лошадей. *Пандури* — народный струнный музыкальный инструмент, на котором обычно исполнялись героические и любовные песни. *Хинкали* — особого рода пельмени. *И по обглоданной гадал лопатке*. Речь идет об одном из сохранившихся языческих обычаев. *Я вижу стройных, золотоволосых* и т. д. Хевсурские женщины, искусно владея тайнами косметики, придавали волосам золотистый цвет с помощью отваров разных растений, золы и т. д. *Хевисбери* — старейшина горской общины, объединяющий светскую и религиозную власть (совершение культовых обрядов).

20. *Рошка* — см. примеч. 19. *Наездница*, дочка хевсурского горца. Хевсуретия — см. примеч. 17. *Шаири* — см. примеч. 11. *Пандури* — см. примеч. 19.

## ВЕЧЕРА В КОЛХИДЕ

21. *Мегрельские вечера*. Мегрелия (Мингрелия, Самегрело) — историческое название одной из областей Грузии. «*Надури*» — коллективная трудовая песня, которую во время работы поют нади — группа деревенских жителей, собирающихся для помощи соседям. *Десть* — единица счета писчей бумаги. *Маис* — кукуруза. *Очамчиры* — селение (ныне — курортный город) на берегу Черного моря. *Лядви* — бедра.

22. *Колхида* — Колхидская низменность в Западной Грузии (по нижнему течению реки Риони и Черноморскому побережью), значительное пространство которой было покрыто болотами. Благодаря героическому труду народа проведены большие работы по осушению болот, уничтожению очага малярии. Освоение Колхидской долины ведется и в настоящее время. *Архалук* — мужская одежда.

23. *Колхида* — см. примеч. 22. *Лучи заката на рогах быков Горели, пламеня, словно свечи*. В Древней Грузии бык считался священным животным. Во время религиозных праздников быкам на рога прикрепляли свечи. *Мегрелка* — жительница Мегрелии (см. примеч. 21). *Кварацхелия* — род знаменитых пастухов-скотоводов; славились тем, что выводили породистых быков и коров, а также имели лучшие стада. *Чоха* — кавказская верхняя мужская одежда. *Чонгури* — см. примеч. 1. *Архалук* — см. примеч. 22.

24. Одно из лучших стих. Чиковани, построенное в виде развернутой метафоры. Своеобразное спиральное строение раковины, благодаря которому создается эффект шума прибоя, как бы дает поэту возможность услышать голоса прошлого. *Колхидский лебедь*. Колхида — см. примеч. 22. *Мегрельский огонь*. Мегрелия — см. примеч. 21. *Рион* (Риони) — река в Грузии, берущая начало на южном склоне Главного Кавказского хребта и впадающая в Черное море. *Амирани* — герой народного эпоса, грузинский Прометей, символ свободы Грузии. *Мамия Гуриэли* (1836—1891), *Симон Гугунава* (1839—1909) — грузинские поэты, пользующиеся всенародной популярностью; последний дружил с дедом поэта и обменивался с ним шуточными стихотворными посланиями.

25. Развивает тему стих. № 24. *Нет, древний череп я не взял бы в руки*. Намек на монолог Гамлета в трагедии В. Шекспира «Гамлет» (акт V, сц. 1). *Риони* — см. примеч. 24.

28. В подлиннике стих. называется «Золотое руно». *Колхида* — см. примеч. 22. По древнегреческому мифу, аргонавты совершили поход в Колхиду за золотым руном (шерстью) волшебного барана. Миф пополняется древним преданием, рассказанным бабушкой: после похищения золотого руна Колхида потеряла красоту и мощь, была затоплена болотами. Любопытно, что аналогичный мотив прослеживается в интересном романе Отара Чиладзе «Шел по дороге

человек», представляющем собой оригинальное воплощение мифа о легендарном золотом руне. *Свайная ода* — деревянный одноэтажный дом. Такие дома строили преимущественно в Западной Грузии.

### ЗДЕСЬ Я ИСКАЛ ЗНАКОМЫЕ МЕСТА

29. *Картли* (Карталиния) — древняя область Грузии со столицей в Тбилиси.

31. *Мтацминда* (букв.: «Святая гора») — гора в Тбилиси на правом берегу Куры, где находится монастырь св. Давида, а также пантеон выдающихся общественных деятелей культуры. Там похоронены Н. Бараташвили, А. Грибоедов и сам С. Чиковани. *Самегрело* — см. примеч. 21. *Риони* — см. примеч. 24.

32. *Осокорь* — тополь. *Мтацминда* — см. примеч. 31.

34. В стих. описан обычай, бытовавший в Грузии вплоть до сравнительно недавнего времени. Рыбак по ночам заходил к пирующим незнакомым ему людям и, приветствуя, бросал на стол живую рыбу. За это ему обычно дарили деньги. Весь этот обряд был деликатной формой продажи ночного улова. *Толумбаи* (турецкое — «глава бурдюка») — тамада, глава стола. *Кинто* — мелкие торговцы вразнос в старом Тбилиси, отличавшиеся плутовским нравом. Колоритные фигуры кинто метко характеризует поэт Иосиф Гришашвили (1889—1965) в книге «Литературная богема старого Тбилиси» (на груз. яз.): «Кинто — «носящий тяжести на вые» (в старину слово «квинти» означало еще и домового), одет в ситцевую в белый горошек рубаху с высоким, никогда почти не застегнутым, воротником. Просторные сатиновые шаровары заправлены в носки. Он обут в сапоги «гармошкой», носит картуз, длинная цепочка от часов свисает из его нагрудного кармана. Подпоясан кинто узким наборным ремешком. Чоух он вовсе не носит» (перевод Н. Таркнишвили).

35. Об обычае прихода рыбака см. примеч. 34. *Тоня* — одна закладка невода. *Мегрельский... закат*. Мегрелия — см. примеч. 21.

36. *Триалети* — горный хребет в Восточной Грузии, на его склонах — тучные пастбища. *Мтквари* — река Кура. *Саламури* — грузинский народный духовой инструмент типа флейты. *Гареджийская гора* — наивысшая точка Кахетинского хребта в Грузии. *Хурджин* — переметная сума.

### ЛИРИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

42. *Саба Сулхан* — точнее Сулхан-Саба Орбелиани (1658—1725) — великий грузинский писатель и ученый, составитель первого словаря родного языка; умер в селе Всехсвятском около Москвы. *Миндия* — герой поэмы Важа Пшавела (см. примеч. 17) «Змееед», восходящей к народным преданиям. С помощью волшебства он постиг язык природы. *Тхиламури* — лыжи. В горных районах Грузии для передвижения по заснеженным горам пользовались особого рода круглыми лыжами, плетеными из коры и прутьев. Лыжи имели де-

ревянный ободок и кожаные крепления. *Циклаури Гаха* — известный грузинский альпинист и проводник (умер в 1936 г.), который еще до революции покорил Казбек и другие вершины Кавказского хребта.

### ПРОШЛОГОДНИЙ ДНЕВНИК

45. *Автандил* — герой поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

46. Об отце поэта см. вступит. статью, с. 7. *Чоха* — см. примеч. 23. *Колхида* — см. примеч. 22. *Нарды* — игральные кости.

47. Об отце поэта см. вступит. статью, с. 7.

48. *Простояла над люлькой последние дни. И ушла.* Мать поэта умерла на третий или четвертый день после рождения сына.

49. В основу стих. легла легенда о юноше, замурованном в крепостной стене с целью придания ей большей крепости. В грузинском фольклоре сохранился балладный стихотворный вариант легенды в виде драматического диалога несчастной матери со своим единственным сыном — Зурабом, который задыхается от обступающих его камней и извести. Чиковани выразительно воспроизводит эту легенду путем персонификации камня, сорвавшегося с крепостной стены, рисует красочный образ Зураба, пожертвовавшего собою для блага родины. Это же предание использовал один из основоположников грузинского критического реализма Даниэл Чонкадзе (1830—1860) в повести «Сурамская крепость». Мотивы легенды о Сурамской твердыне своеобразно воплотили в своих стихах Жансуг Чарквани, Таризл Чантурия и другие современные грузинские поэты. *Хертвисская башня* — крепость на юге Грузии, у дельты Джавахетской и Артаанской Куры (сохранившиеся строения датируются X—XIV вв.).

50. *Сож* — приток Днепра. *Храми* — река в Грузии, приток Куры. *Арагви* — см. примеч. 17. *Ушба* — см. примеч. 16.

53. В подлиннике название стих. — «Сомнение». Сопоставлены два отношения, два подхода к поэтическому ремеслу; автор относит себя к той категории поэтов, которые не в состоянии сдерживать натиск свежих впечатлений. Этим свойством Чиковани родствен Тициану Табидзе, о котором писал: «Он утверждал, что непосредственное впечатление, горение души поэт должен выразить сразу же своей внутренней напевностью, одним дыханием. Разумеется, говорил он, можно заранее выдумать отдельную метафору или сравнение, можно сохранить их в памяти, в запасе, и впоследствии использовать их, но чувство теряет от этого свою первородную чистоту и поэтическое творение в целом лишается непосредственности» (С. Чиковани, Слово о Тициане Табидзе. — В кн.: Тициан Табидзе. Стихотворения и поэмы, М. — Л., 1964, с. 12. «Б-ка поэта», Б. с.). *Важа Пшавела* — см. примеч. 17.

56. *Фазис* — древнее название реки Риони (см. примеч. 24). В стих. поэт сформулировал один из своих главнейших принципов, буквальный перевод которого таков:

Творчество любит сложность,  
Высказанную ясно и страстно.

#### ПРЕДКИ

57. В стих. воспроизводятся отдельные эпизоды трагической судьбы кахетинского царя и видного поэта *Теймураза I* (1589—1663), который всю свою жизнь боролся против иранских завоевателей. *Кахетия, Имеретия* — области Грузии, феодальные государства на ее территории. *Греми* — столица Кахетии и резиденция кахетинских царей. Теймураз I написал стихи, в которых воспеваются красота и изящество дворца Греми. Неоднократные нашествия иноземных захватчиков уничтожили этот средневековый город. На возвышенном месте Алазанской долины сохранился собор гремского архангела, великолепный образец грузинской архитектуры. *Сквозь три столетия голубь к нам летит*. Голубь — вестник царя Теймураза I далеким потомкам. *И Теймураз трубой стиха подзорной В грядущее Кахетии глядит*. Об этом образе сам поэт писал: «В одном из моих старых стихотворений встречается образ «подзорной трубы стиха», с помощью которой можно узреть недоступную обычному глазу «связь времен», связь явлений и предметов» («Вопросы литературы», 1964, № 10, с. 79). *В Ширазе выкованный горький стих*. Царевич Теймураз воспитывался при дворе персидского шаха Аббаса I в Ширазе, основательно изучил язык фарси, испытал сильное влияние персидской поэзии периода упадка. Тем не менее, творческое наследие Теймураза I сыграло важную роль в развитии грузинского стиха. *Себя и мать, казненную Аббасом, Я в дань моей Кахетии принес*. В 1624 г. в Ширазе по приказу Аббаса I была казнена мать Теймураза I — царица Кетеван, которую церковь впоследствии причислила к лику святых. Судьба Кетеван легла в основу трагедии крупнейшего представителя немецкого барокко Андреаса Грифиуса (1616—1664). *Певца любви и доблести высокой* и т. д. Имеется в виду Ш. Руставели, чье огромное влияние на образную систему и форму стиха Теймураза I очевидно, хотя царь-поэт не хотел признать первенства лиры Руставели и питал к нему чувство соперничества. *Как я вмести, Кахетия родная, Твою природу в чуждый строй маджам?* Маджама (персидск. — итог, совокупность) — в узком смысле стихи, строфы которых опираются на омонимные рифмы, т. е. звучащие одинаково, но имеющие различные значения. Теймураз I был виртуозом омонимной рифмы, и в последующие века за ним закрепилась слава мастера маджамы. *Алавердский храм* — грандиозный архитектурный памятник в Алазанской долине (см. примеч. 135), построенный в XI в. Туда перенесли и похоронили погибшего в ссылке (Астарабат, Персия) Теймураза I, исполнив его последнюю волю. *Азарпеша* — винная чаша с длинной ручкой. Чашу обычно делали из серебра, золотили и украшали орнаментом. *Отчизны голос с севера взывает, И Картли откликается на зов*. Теймураз I неоднократно просил Россию о поддержке, в 1658 г. сам прибыл в Москву к царю Алексею Михайловичу, но в те времена Россия не смогла оказать Грузии действенной помощи. В приведенных

словах царь-поэт мысленно общается с потомками, с сыновьями огромной страны, которые в тесном содружестве во главе с русским народом строят новую жизнь. *Олень Важа* — имеется в виду поэма Важа Пшавела (см. примеч. 17) «Оленья лопатка». *Иори* (Иори) — река в Восточной Грузии. *Чавчавадзе* Александр (1786—1846) — поэт-романтик. Его творчество имеет общие черты с поэзией Теймураза.

58. Стих посвящено неизвестному мастеру, руководившему строительством грандиозного пещерного монастыря Вардзиа, высеченного в скалах Ерушетской горы в XII—XIII вв. Этот мощный комплекс шириной в полкилометра имеет тринадцать ярусов и расположен на левом берегу Куры, в Джавахетии, на юго-западе Грузии. Вардзиа не сохранил первоначальный вид. Землетрясение 1283 г. и неоднократные вражеские нашествия имели пагубные последствия: были похищены стальные и золотые ворота, испорчены фрески, разрушился почти весь фасад. *Я смотрю: как строка Руставели, Блещет светлый вардзийский родник.* В глубине пещеры сохранился холодный родник. Чистота и прозрачность его сравнивается со строкой Руставели, чья поэма «Витязь в тигровой шкуре» была создана в эпоху сооружения Вардзийского монастыря. *Руку, полную сил, отсекли?* Имеется в виду предание о зодчем михетского собора Светицховели (XI в.) Арсукидзе, которому из зависти будто бы отсекали руку. На северном фасаде этого величественного собора по сей день виднеется каменная рука строителя. Это предание вдохновило крупного грузинского писателя Константинэ Гамсахурдиа (1884—1975) на создание известного исторического романа «Десница великого мастера».

59. *Озеро Цунда* находится в Месхетии, на территории Аспиндзского района Грузинской ССР. Согласно летописям, здесь раньше стоял укрепленный город, который впоследствии был разрушен землетрясениями. *Вардзийская тропинка.* Вардзиа — см. примеч. 58. *Чонгури* — см. примеч. 1. *Нестан* — героиня поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». *Картвел* — житель Картли (см. примеч. 29). *Быть может, здесь и ты чинил тростник.* Обращение к Руставели (имеется в виду известная строка из «Вступления» к «Витязю в тигровой шкуре»: «Мне пером была тростинка, тушью — озеро агата», пер. Н. Заболоцкого). *Хертвисская башня* — см. примеч. 49. *Тмогви* — древняя крепость (X—XI вв.) близ озера Цунда на левом берегу Куры. Крепость была построена на высокой труднодоступной скалистой горе. Посредством тайных тоннелей она была связана с цитаделью и рекой; имела очень важное стратегическое значение. Землетрясения XII и XIII вв. сильно разрушили Тмогви. Остатки этой огромной крепости и по сей день видны с реки.

60. «*Вепхисткаосани*» — поэма Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», написанная стихотворным размером *шаири* (см. примеч. 11). *И тигры обступили ту страницу И лапами касаются строки.* В поэме Руставели тигр ассоциируется с Нестан-Дареджан — возлюбленной Таризла (не случайно витязь носит тигровую шкуру). В иллюстрированном списке поэмы с Нестан сравниваются обступившие рукопись тигры. «*Висрамиани*» — широко распространенная средневековая любовная повесть, переведенная прозой с персидского оригинала («Вис и Рамин», XI в.) Саргисом Тмогвели (XII в.),

имя которого упоминается в заключительных строках поэмы Руставели. Как *Тариэла Автандил, бывало, Художника вел переписчик грамотный*. Имеется в виду 27-я глава поэмы «Витязь в тигровой шкуре». *Тмогви* — см. примеч. 59. *Вардзиа* — см. примеч. 58.

61—65. На территории древней столицы Грузии — *Мцхета* (участок Армазис-хеви) с 1937 г. велись интенсивные археологические раскопки под руководством академиков И. А. Джавахишвили и С. Н. Джанашиа. Были найдены и вскрыты гробницы мцхетских питиахшей (эриставов, правителей областей) и членов их семей. Находка знаменитой «Армазской билингвы» (25 ноября 1940 г.) и обнаружение гробницы прекрасной Серафиты — дочери питиахша Зеваха — вдохновили Чиковани на создание цикла «Армазские видения». Билингва оказалась эпитафией Серафите — на греческом и арамейском языках (тексты не вполне идентичны). Арамейский (армазский) текст в переводе акад. Г. В. Церетели таков: «Я — Серафита, дочь Зеваха, младшего питиахша царя Фарсмана, жена Йодмагана — победоносца (военачальника) и много побед одержавшего (сделавшего) двореуправителя царя Фарсмана. Горе, горе тебе, которая была молодая. И столь хорошая и красивая была, что никто не был ей подобен по красоте. И умерла на 21-м году жизни». Эта трогательная, редкая по изяществу эпитафия возбудила фантазию многих мастеров кисти и пера. Народный художник Грузии Ладо Гудиашвили создал монументальное полотно «Прогулка Серафиты». Поэт Гиви Гегечкори посвятил этой теме одно из своих лучших произведений «Плач о Серафите». Прозаик Леван Готуа (1905—1973) в одном из своих последних рассказов («Серафита») впечатляюще воссоздал этот поэтический образ. Имя Серафиты стало символом неуязвимой красоты.

1. *И срослись крест-накрест воедино — Дева и нагорная лоза*. Грузинская просветительница св. Нина совершала, по преданию, обряд крещения Грузии крестом, сделанным из виноградной лозы, скрепленной ее волосами. В *саркофаге полководец дышит, Слышен звон меча из-под земли*. Можно предположить, что здесь имеется в виду гробница крупного феодала и военачальника Картлийского государства эристава (питиахша) Барсума (III в. до н. э.), где вместе с другим боевым оружием был обнаружен богато инкрустированный кинжал.

2. *Картли* — см. примеч. 29.

3. *Ты свою девятикрылую Душу в склепе удержала?* В этих строках воссоздается пластический образ пламенной и ангельски чистой души усопшей. Крылья — атрибуты небесных существ, ангелов. Девять — сакральное число, особо распространенное среди грузин. Ангелов принято называть шестикрылыми или девятикрылыми — строгого разграничения тут нет. *Сапурицлия* — местность в Картли.

66. *Николоз Бараташвили* — см. примеч. 3 и на с. 358. *Склонилась над водой твоя чинара*. Имеется в виду стих Бараташвили «Чинара». Как *девичья блестящая серьга*. Намек на стих Бараташвили «Серьга», в котором он создал пленительный образ Е. А. Чавчавадзе, в которую был безнадежно влюблен. *Мтацминда* — см. примеч. 31. *И Кетеваны тонкое лицо*. Подразумевается стих Бараташвили «Кетевана». *Чонгури* — см. примеч. 1. *Мерани* — крылатый

конь, образ грузинской мифологии и древней поэзии, близкий античному Пегасу; здесь — название стих. Бараташвили. *И звезды пробожали Автандила*. Подразумевается глава поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре» — «Отъезд Автандила к Фридону, правителю Мульгазанзара», в которой описано волшебное пение рыцаря дружбы, его обращение к семи планетам, их восхваление. Стремление Автандила к звездам дает Чиковани повод уподобить его образу автора «Мерани»: звезды названы спутниками героя, оставившего, подобно всаднику крылатого коня, пределы родины. *Арагви* — см. примеч. 17. *Умолк давно твой ворон, вестник скорбный*. Намек на стих. «Мерани» («Вслед доносится злое карканье, окрик враний», пер. М. Лозинского).

67. *Важа Пшавела* — см. примеч. 17. *Чаргали* — родное село поэта, где он жил и работал как простой крестьянин. Ныне в селе есть дом-музей Важа Пшавела. *Как обе Арагви на водоразделе Текут, не сливая воды двух цветов*. Речь идет о Черной и Белой Арагвах (см. примеч. 17). *Всю ночь я борюсь с ним, как праотец Яков* и т. д. По библейской легенде (кн. Бытия), Иаков ночью боролся с неведомой силой, которая оказалась богом.

#### ГАМАРДЖВЕБА

68. *Гамарджвеба* — грузинское приветствие, буквально: «победа». Описанный в стих. обычай до сих пор сохранился в сельской местности, где, встретившись с незнакомым человеком, здороваются и говорят «гамарджвеба». В приветствии отразились дух и характер грузинского народа, который на протяжении многих веков боролся против иноземных захватчиков и отстоял свой национальный облик, свободу и независимость. Стих. написано в годы Великой Отечественной войны, когда весь советский народ героически сражался с фашистской Германией. В то время приветственное слово «гамарджвеба» — «победа», обращенное к родной стране, приобрело особый смысл и символическое звучание.

69. *Колхидский вспомнит ветер*. Колхида — см. примеч. 22.

71. *Алгетский камень*. Алгети — село в Марнеульском районе, восточнее Тбилиси. Алгетский камень (туф), как и болнисский, с давних времен употребляли в качестве лучшего строительного материала.

72. *Амирани* — см. примеч. 24.

73. *Лешкашели* — красноармеец, умерший на глазах поэта. *Баксан* — река на Северном Кавказе (Кабардино-Балкарская АССР), где во время Великой Отечественной войны происходили в 1942—1943 гг. ожесточенные бои.

74. Стих. перекликается со стих. М. Ю. Лермонтова «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»). На эту связь указывал сам автор в ответ на анкету журнала «Вопросы литературы»: «У меня нет ни одного стихотворного посвящения Лермонтову, но



я мог бы назвать свои стихи, которые «посвящены» поэту если не в силу прямого к нему обращения, то благодаря его незримому присутствию в них. Таков мой «Сон» («В Черкессии, в черкесской створне лежу в огне от незакрытой раны. Мои виденья медленны и странны, река в ущелье плачет обо мне...») («Вопросы литературы», 1964, № 10, с. 79).

76. *Мтацминда* — см. примеч. 31.

## МОЯ ОТЧИЗНА

77. Стих. входит в число лучших произведений Чиковани. *Картли* — см. примеч. 29. *Рукою, что в бою закалена, Коснись ворот Дербентских, взятых в сече.* В 1139 г. царь Деметре I взял г. Ганджу, входивший в то время в состав государства Сельджуков. Он снял и забрал с собой в качестве трофея железные ворота города, которые подарил Гелатскому монастырю. Одна створка ворот с арабской надписью находится там и поныне. Ворота, ставшие символом мощи и доблести предков, впоследствии ошибочно назывались Дербентскими (Дарубандскими), что отразилось в данном стих.

78. Близ г. *Мицет* (см. примеч. на с. 346) у самой Земо-Авчальской ГЭС на реке Куре в 1926 г. был открыт памятник В. И. Ленину (скульптор И. Шадр). *Зедазени* — лесистая гора на Сагурамском хребте. *Военно-Грузинской дорогой Пушкин шел, сочиняя стихи, Сочиненный поэтом России Воспевающий Грузию стих.* Речь идет о путешествии Пушкина в Арзрум в 1829 г., во время которого он побывал в Грузии. Можно предположить, что подразумеваются стих. «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Обвал», «Кавказ» и др.

79. Основная идея связана со стих. И. Чавчавадзе (1837—1907) «Грузинке-матери». *Кахетию оплакивает мать.* Кахетия — феодальное государство в Восточной Грузии; в XVI—XVIII вв. вела жестокую борьбу с иноземными поработителями. *Гванца* — дочь рачинского эристава (правителя) Кахабера, жена грузинского царя Улу-Давида, женщина редкой красоты и трагической судьбы. В 1259 г. Улу-Давид поднял восстание против врага. Монголы захватили парису с новорожденным царевичем (будущим царем Деметре II). Гванца была казнена в 1262 г. *Лечака* — шелковая вуаль, которой покрывали голову грузинские женщины; символ чести, строгости нравов.

80, 81. *Тута* (тут, тутовник) — шелковичное дерево, шелковница; также — ягоды тутовника.

82. В верованиях многих народов мира дуб был культовым деревом, символом могущества и долговечности. В некоторых старинных песнях он отождествляется с самим народом. Число *девять* считалось магическим. Оно часто фигурирует в фольклоре грузин (сказки, отдельные топонимы, образные выражения и т. д.). *Дэв* — злой дух в мифологии персоязычных народов. *Квеври* — врытый в землю большой глиняный кувшин для хранения вина. «*Лилео*» — см. при-

меч. 10. *Девять плит Марабды* — девять могил братьев Херхеулидзе, погибших в битве при Марабде (1624), которая имела громадное значение в истории борьбы Грузии за независимость.

#### КАРТЛИНСКИЕ ВЕЧЕРА

84. *Триалет* (Триалети) — см. примеч. 36. *Атени* — деревня вблизи г. Гори (см. примеч. 89), славится вином.

85. *Атени* — см. примеч. 84.

86. *Они сияли, словно две свечи*. См. примеч. 23.

87. *Атени* — см. примеч. 84. *Тута* — см. примеч. 80. *Марани* — винный погреб.

88. В грузинском фольклоре встречается мотив помощи, которую оказывают человеку дикие животные и птицы. Этот сказочный мотив использован в данном стих., где детали крестьянского быта перемежаются с мифологическими образами. Образ оленя тесно связан с божеством солнца. В сванском языческом гимне «Лилео» говорится, что золотой дворец солнца окружили олени. Златорогий олень фигурирует в древнейшем грузинском эпосе об Амирани (см. примеч. 24). В некоторых грузинских жилых домах (дарбази) на главных опорных столбах (деда-бодзи), которые богато украшены орнаментами солнца и олицетворяют «древо жизни», прикреплены ветвистые олени рога.

89. *Лиахви* — река, на которой расположен один из древнейших городов Картли (см. примеч. 9) г. Гори.

#### РОДНЫЕ БЕРЕГА

90. *Диоскурия* — город в древней Колхиде (см. примеч. 22), в районе нынешнего Сухуми. Хотя по сведениям древнегреческих авторов и археологическим данным греческое поселение здесь существовало уже с VI в. до н. э., но, по мнению специалистов, «местный элемент занимал ведущее место» (М. П. Инадзе, Причерноморские города древней Колхиды, Тбилиси, 1968, с. 140). «В настоящее время большинство исследователей считает, что город Диоскурия был расположен по обеим берегам реки Беслени и что значительная часть древнего города погружена на дно моря» (О. Лордкипанидзе, Древняя Колхида, Тбилиси, 1979, с. 133). *Абхазцы, лазы, эгрисцы* — народы, издревле заселявшие Колхиду.

94. *Вдоль Бичвинтской дороги*. Имеется в виду местность Пичунда в Абхазии, которая с давних пор славилась медом. *Другу — сладостный мед. И колючее жало — врагу*. Подобный образ часто встречается также в поэзии Акакия Церетели (1840—1915), для которого пчела (ср. одноименное стих.) была символом труженика и поэта.

96. *Рионский берег*. Риони — см. примеч. 24.

97. *Наводнение их сбивало, Бычий рев стоял кругом*. Подразумевается всемирный потоп. В народе существует предание о том, что библейский Ной забыл поместить в свой ковчег буйвола и это животное с мычанием, похожим на имя «Ной», догоняло спасительный ковчег. *Чаладиди* (букв.: «большая роща») — село близ города Потн. Окрестности Чаладиди раньше были сильно заболочены, в этих местах и по сей день можно увидеть стада буйволов, одурманенных летним зноем и лежащих в мутной воде.

98. *Балахвани, Сапичхия* — районы г. Кутаиси. *Орпири* (Двуречье) — село на месте слияния рек Риони и Цхенисцкали. *Белый мост* — в Кутаиси. *Храм Баграта* — имеются в виду развалины древнего храма в Кутаиси; его строительство началось в конце X в. — начале XI в., при царе (980—1014) Баграте III, завершено при его внуке царе (1027—1072) Баграте IV.

99. *Риони* — см. примеч. 24. *Ткемалий снег Рассыпал на пути*. Речь идет о цветении сливового дерева ткемали. *Рача* — высокогорный район Грузии в предгорьях Кавказа. *Гумати* — село в нескольких километрах от города Кутаиси. В 1950-х годах у гуматского водохранилища была построена ГуматигЭС и рабочий поселок.

100. *Гегути* — село на территории Цхалтубского района, на правом берегу реки Риони (см. примеч. 24). *Светлячок-цицинатела* — намек на шедевр А. Церетели — стих. «Цицинатела», ставшее одной из самых популярных песен в Грузии. *Нина* — см. примеч. на с. 352. *Натэла* — героиня одноименной поэмы Акакия Церетели (1840—1915), ставшей символом единения различных краев Грузии. *Аснат* — одна из героинь поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре», олицетворение преданной дружбы.

101. Стих. посвящено древнему дереву, стоящему близ руин царского дворца в г. Кутаиси, которое было памятно поэту с молодых лет.

#### ПЕСНИ ДРУЖЫ

102. «*Лесная песня*» — название стихотворной драмы-феерии украинской писательницы Леси Украинки (Ларисы Петровны Косач, 1871—1913). После многолетней тяжелой болезни умерла в Грузии, в г. Сурами.

103. *Зубовка* — см. примеч. на с. 356. Эпиграф из стих. Давида Гурамишвили «Зубовка» (пер. Н. Заболоцкого). *Нестан* — см. примеч. 59.

104. Красота и величие озера Севан (по-грузински оно раньше называлось Гогча) вдохновляли не одно поколение грузинских поэтов. Поэт-романтик А. Чавчавадзе (1786—1846) создал насыщенное философскими размышлениями стихотворение «Гогча» под впечатлением величественных развалин некогда цветущего города в окрестностях этого озера. Проникновенные стихи об Армении, связанные

с этим живописным озером, написал современный грузинский поэт и прозаик Отар Чиладзе («Раковины Севана»).

105. *К Тбилиси иорскую воду вели.* Речь идет о строительстве водовода Иори (см. примеч. 57) — Тбилиси. *Девять гор перешел я девять ущелий.* О символике числа девять см. примеч. 82.

106. *Село Фредерика Шопена.* Шопен (1810—1849) родился в Желязова-Воля под Варшавой. *Чанги* — см. примеч. 11.

107. В 1952 г. во время путешествия по Польской Народной Республике Чиковани посетил *Поронино*, где 23 сентября (6 октября) — 1 (14) октября 1913 г. состоялось совещание ЦК РСДРП с партийными работниками, которое открылось речью В. И. Ленина и проходило под его непосредственным руководством.

108. Стих. обращено к жене поэта Марии Николаевне Чиковани.

109. Как и предыдущее, стих. обращено к жене поэта. *Хахмат* — село в Хевсуретии (см. стих. и примеч. 17).

111. И.-В. *Гёте* (28 августа 1749—22 марта 1832), похоронен в Веймаре.

112. И.-В. *Гёте* — см. примеч. 111. *Скрылись проклятые годы.* Речь идет о времени господства фашистов в Германии. «*Когда-то жила здесь фрейлейн Шарлотта...*» Намек на роман Гёте «Страдания молодого Вертера».

#### ТЕНИ ПЛАТАНОВ

113. *В душе не гаснет боль крцанисских ран, Геройски бьется арагвинцев горстка.* В 1795 г. Ага-Могамед-хан направил огромную армию против Грузии. Малочисленное грузинское войско (примерно 5000 человек) отразило натиск врага, причинив ему ощутимые потери. Шах тронулся в обратный путь, но предатели сообщили ему, что грузинский царь Ираклий II остался почти без войска. Ага-Могамед-хан вернулся, и грузины были вынуждены близ Тбилиси, на Крцанисском поле, принять решающее сражение. Несколько часов они ожесточенно бились, но наконец враг вследствие численного превосходства одержал верх. В этой кровавой битве участвовали 300 арагвинцев, преданных царю грузин-горцев. *Мтацминда* — см. примеч. 31.

115. *Шелкопряды мотают свой шелк На запястьях верийским красоткам.* — В одном из старых районов Тбилиси — Вера — находится шелкоткацкая фабрика.

119. Принадлежит к числу лучших стих. Чиковани, является его поэтической исповедью. *Исани* — старинный район Тбилиси на левом берегу Куры, там находился дворец грузинских царей. К Исани примыкает *Метехи* — узкое скалистое плато над самой Курой; здесь стоит Метехская крепость, одна из достопримечательностей старого Тбилиси.

121. *Те ясени, что посадил Важа, Я перенес в глубокую долину.* Речь идет о преемственности поэзии Чиковани. Важа Пшавела — см. примеч. 17. *Тонэ* — особого вида печь для выпечки грузинского хлеба.

122. *Агзеван* — старое грузинское название турецкого населенного пункта Кагизвана, куда ездили аробщики за солью. В основу этого стих. легла знаменитая аробная песня («урмули»), в которой говорится о трудном пути, проделанном крестьянином для добычи соли. В грузинской поэзии эта поездка за солью получила символический смысл, ее стали отождествлять с творческими поисками художника.

124. *Метехи* — см. примеч. 119. В Метехской скале есть углубление, где был развеян пепел сожженного арабскими захватчиками христианского мученика (араба по национальности) *Або* Тбилели (VIII в.). *Махатская гора* стоит на левом берегу Куры, напротив Мтацминды (см. примеч. 31). *Йорское облако*. *Йор* (*Иор*) — см. примеч. 57. *Исани* — см. примеч. 119.

125. *Телети* и *Цхнети* — две противоположные (восточная и западная) стороны Тбилиси. *Кумиси* и *Лиси* — озера на разных окраинах Тбилиси и одноименные деревни. *Алгетский камень* — см. примеч. 71. *Картлийская столица* — Тбилиси (*Картли* — см. примеч. 29). *Мтацминда* — см. примеч. 31. *Махата* — см. примеч. 124. *Мацони* — специальным образом приготовленное кислое молоко. *Гомборская гора* — в Кахетии, восточнее Тбилиси. *Исани* — см. примеч. 119.

126. *Пиросмани* — Нико Пиросманашвили (1862—1918), гениальный грузинский художник-самоучка. *Хаши* — национальное грузинское блюдо. *Не уснет в Ортачале красotka*. Имеется в виду полотно художника «Ортачальская красotka». *Майдан* — площадь в старом Тбилиси около серных бань. *Кинто* — см. примеч. 34. *Шампур* — вертел. *Вот девчоночка держит на привязи шар, Вот пшено на гумне исклевали цыплята*. Имеются в виду картины Пиросмани. *Зурнач* — музыкант, играющий на зурне, восточном духовом инструменте.

128. *Вашй* — возглас восторга, подобен русскому «ура!». Стих написано в честь строителей новой дороги, с помощью которой два района Тбилиси (*Ваке* и *Сабуртало*) были соединены между собой. Место, где раньше находилось довольно глубокое Вараское ущелье, превратилось в широкую магистраль. *Тайная вечеря* — по евангельской легенде, вечерняя трапеза Христа и апостолов.

129. *Мтацминда* — см. примеч. 31. *Метехи* — см. примеч. 119.

131. *Метехская крепость*, *Исани* — см. примеч. 119. *Дидубе* — старый район Тбилиси на левом берегу Куры.

## ХВАЛА КАХЕТИИ

132. *Кахетия* — см. примеч. 57. *Ртвели* — сбор винограда. *Квеври* — см. примеч. 82.

133. *Гремская колокольня*. Грени — см. примеч. 57. *Теймураз* — см. примеч. 57. *Кахетия* — см. примеч. 57.

134. *Гомбори* — см. примеч. 125. *О зелени иорской молодой*. Иори — см. примеч. 57.

135. *Кахети* (Кахетия) — см. примеч. 57. *Алазанская долина*. Долина реки Алазань, берущей начало в горах Кавказа. *Цинандальская роза*. Цинандали — село в Кахетии (см. примеч. 57).

136. *Сигнахская гора* — гора в Кахетии (см. примеч. 57). *Алазань* — см. примеч. 135. *Ртвели* — см. примеч. 132.

## ОСЕННЯЯ ТЕТРАДЬ

137. *Хевсур* — житель Хевсуретии (см. примеч. 17).

138. *Чороха* (Чорохи) — река в Аджарии, берет начало в Турции, впадает в Черное море к югу от Батуми. *Маджари* — молодое вино.

140. *Будешури* — сорт винограда.

141. *Миндия* — см. примеч. 42.

142. *Ника* — сын поэта Николай Симонович Чиковани.

144. *Пиримзе* (букв.: «солнцеликий») — горный цветок, его название употребляется в грузинской речи в применении к красивой женщине. В поэзии *Важа Пшавела* (см. примеч. 17) символизирует нежность и красоту.

## КНИГУ ТЕБЕ ОСТАВЛЯЮ

В данный раздел вошли последние стих. поэта, опубликованные посмертно.

145. *Важа Пшавела* — см. примеч. 17.

146. *Мтацминда* — см. примеч. 31. *Нестан* — см. примеч. 59. *За девятью горами*. О символике числа девять см. примеч. 82.

147. *Дуб в Грузии не срубят топорами*. См. примеч. 82. *Кетеван* — мать царя Теймураза I, см. примеч. 57.

148. *Телиани* — сорт грузинского вина. *Исани* — см. примеч. 119. *И в закоулках верийских кварталов* — см. примеч. 115. *Бани* — плоская кровля. *Бетлеми* — ущелье в горах Большого Кавказа. *Махатская вершина* — см. примеч. 124. *Гомборская вершина* — см. примеч. 125.

149. *Скит* — небольшое поселение монастырского типа. *Два князя святых из Аргвети*. Речь идет о князьях Давиде и Константине из Аргвети (местность в Имеретии, Западная Грузия), причисленных грузинской церковью к лику святых.

151. *Иорские волны*. *Иори* — см. примеч. 57. *Мтквари* — см. примеч. 36. *Мне тысячу сказок сложи и одну*. Намек на знаменитую книгу «Сказки тысячи и одной ночи».

152. *Однажды братьям девяти раздать*. О символике числа девять см. примеч. 82. *Картли* — см. примеч. 29.

154. *Чури* — большой кувшин для хранения вина, зарытый в землю. *Ртвели* — см. примеч. 132.

155. *Марика* — Мария Николаевна Чиковани, жена поэта.

156. *Микола Бажан* (Николай Платонович Бажан, р. 1904) — украинский поэт и общественный деятель, академик. Перевел на украинский язык поэму Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и «Давитиани» Д. Гурамишвили. *Пиримзе* — см. примеч. 144. *Тмогви* — см. примеч. 59.

157. *Мтквари* — см. примеч. 36. *Сагареджо* — село в сорока пяти километрах к востоку от Тбилиси. *Манглиси* — см. примеч. 2. *Верийский мост* — в Тбилиси.

158. *Верийский мост* — см. примеч. 157. *Мтквари* — см. примеч. 36.

159. *Мтацминда* — см. примеч. 31.

160. *Пацха* — деревенское жилище в Мегрелии (см. примеч. 21). *Коши* — см. примеч. 12.

162. *Капитолия купол оставил* и т. д. *Капитолий* — один из холмов, на которых был расположен древний Рим. *Капитолийский храм* был центром религиозного культа. *Всадник* — вероятно, конная статуя римского императора (161—180) Марка Аврелия.

163. *Мамелюки* — воины-рабы кавказского происхождения, гвардия последних государей египетской династии Эйюбидов. В 1250 г. командиры мамелюков захватили власть в Египте и правили там в XIII—XIV вв. *Колхида* — см. примеч. 22. *На тквирских росли кобылицах*. *Тквири* — село в Западной Грузии (Абашском районе). «*Чела*» — грузинская народная песня.

167. *Мухрани* — плодородная долина в Картли (см. примеч. 29). *Колхида* — см. примеч. 22.

168. *Ртвели* — см. примеч. 133. *Миро* — благовонное масло, употребляемое в церковных обрядах.

169. *Зедазени* — монастырь на горе, на границе Кахетии (см. примеч. 57) и Картли (см. примеч. 29), основание которого в VI в. приписывается грузинскому подвижнику Иоанну. Впоследствии — усыпальница рода Гурамишвили. *Мицхета* — см. примеч. на с. 358. *Арагви* — см. примеч. 17.

170. *Гурия* — область Грузии, часть Черноморской низменности и предгорий Малого Кавказа. *Риони* — см. примеч. 24.

172. *Меквеле* (груз.) — первый поздравивший с Новым годом. *Чичилаки* — шест с подструганной и висящей лентами корой, украшен звездой, свечой и лакомствами; нечто вроде новогодней елки в Западной Грузии.

175. *Ладо Гудиашвили* (1896—1980) — живописец и график, народный художник Грузии. *Кинто* — см. примеч. 34. *Серафита* — см. примеч. на с. 346. *Метехи* — см. примеч. 119. *Опизари* Бека и Бешкен — выдающиеся грузинские мастера чеканки по металлу конца XII — начала XIII в. *Пиросмани* — см. примеч. 126. *Кинцвиси* — древняя церковь в Картли (см. примеч. 29) с замечательной росписью. *Мтквари* — см. примеч. 36.

176. *Мирза Геловани* (1917—1944) — грузинский советский поэт, погиб в Белоруссии недалеко от Витебска. Похоронен в братской могиле. *Крепость Орбели*. Иванэ Орбели (XII в.) — князь, главнокомандующий всеми военными силами Грузии. Крепость находится в одной из исторических областей Грузии — Лечхуми. *Муаши* — село в нижней Сванетии. *Снилась душе ладжанурская сила*. Ладжанури — река, приток Риони (см. примеч. 24).

177. *Тушети* — область Грузии между Главным Кавказским и Пирикительским хребтами.

178. *Владимир Маяковский* родился в деревне Багдади близ г. Кутаиси, упомянутой им в стих. «Разговор с фининспектором о поэзии». *Риони* — см. примеч. 24.

179—180. *Пиросмани* — см. примеч. 126. *Дудуки* — деревянный духовой инструмент. *Цоцхали* — разновидность рыбы, водящаяся в Куре. *Цхнеги* — горная деревня недалеко от Тбилиси. *Вера* (Верийский квартал) — см. примеч. 115. *Ортачала* — квартал старого Тбилиси. *Маргарита* — французская певица, в которую был влюблен Пиросмани. *Цагвери* — курортный поселок недалеко от г. Боржоми.

181. *Гурамишвили* — см. примеч. 184.

182. *Малеевка* — поселок в Московской области, где находится Дом творчества писателей.

183. Последнее стих. С. Чиковани. По свидетельству вдовы поэта М. Н. Чиковани, написано 13 марта 1966 г. в 10 часов утра.



## ПОЭМЫ

184. *Давид Гурамишвили* (1705—1792) — великий грузинский поэт. Молодость поэта совпала с едва ли не самым трагическим периодом в истории Грузии. Страна подвергалась многочисленным нашествиям внешних врагов, набегам соседей-горцев, которые грабили Восточную Грузию и уводили в плен тысячи грузин. В 1727 г. Гурамишвили был похищен и уведен в Дагестан. Бежав из плена, Гурамишвили добрался до казацких станиц. Затем поэт отправился в Москву и присоединился там к многочисленной свите карталинского царя Вахтанга VI, вынужденного незадолго до этого, в 1724 г., эмигрировать в Россию в поисках военной и политической помощи. После смерти последнего (в 1737 г.) Гурамишвили, как и большинство князей и дворян из царской свиты, принял русское подданство и поступил на службу в Ахтырский гусарский полк, который был укомплектован грузинами. В рядах этого полка Гурамишвили участвовал в турецкой (1739) и шведской (1742) кампаниях и в Семилетней войне. В сражении у крепости Кюстрин Гурамишвили попадает в прусский плен. Он долго томится в Магдебургской крепости. Из плена он был освобожден после наступления мира, так что эпизод побега из Магдебургской крепости в поэме С. Чиковани — поэтический вымысел. Гурамишвили возвращается в свое небольшое имение Зубовку около Миргорода, пожалованное ему за верную службу России. Здесь он прожил до глубокой старости и писал свои поэмы и стихи, объединенные им под заглавием «Давитиани», т. е. Давидово, принадлежащее Давиду.

Поэма Чиковани построена на фактах, сообщаемых в «Давитиани», и пронизана цитатами из творений Гурамишвили. Большая часть эпиграфов также из «Давитиани».

Перед портретом Гурамишвили. Подразумевается рисунок на странице пояснительной записки к чертежам изобретенных Гурамишвили мельницы и оросительного устройства. Чертежи приложены к рукописи «Давитиани». Этот рисунок считается автопортретом (или автошаржем), на нем изображен высокий, худой, лысый человек в сюртуке, с воздетыми к небу руками. Подпись гласит:

Человек этот молится так:  
Боже, покажи мне поля,  
Орошенные этой машиной.  
Дай мне увидеть лето и муку,  
Смолотую этой мельницей.

*Шаури* — см. примеч. 11.

Беглец в пути. *Ксани* — река в Восточной Грузии, на берегу которой, около села Ламискана, Гурамишвили был похищен.

Хула на бога. *Торгвай* (Торгва) — герой горских (хевсурских и тушинских) сказаний.

Приход на ток. *Сам, как Лазарь, ты из мрака Смерти встал.* По евангельской легенде, житель Вифании — Лазарь был воскрешен из мертвых Иисусом Христом.

Первый друг. *Гори* — см. примеч. 89. *Оратай* — пахарь.

На перекрестке. *Картли* — см. примеч. 29. *Как же царь Вахтанг* и т. д. Царь Картли Вахтанг VI (1675—1737), выдающийся политический и культурный деятель Грузии, поэт, был убежденным и последовательным сторонником союза с Россией, заключил союзный договор с Петром I. В 1724 г. был вынужден покинуть Грузию и направиться в поисках помощи в Россию. До Москвы он добрался лишь в 1725 г., после смерти Петра I, преемники которого не оказали Вахтангу действенной помощи, Вахтанг VI умер в Астрахани, по пути на родину. *Цхинвали* — город в Картли, откуда Вахтанг VI отправился в Россию.

Вступление в Москву. *Могучий звон Великого Ивана*. «Иван Великий» — храм-колокольня в Московском Кремле, построена в XVI в.

Шелест парусов. *Анна Иоанновна* — русская императрица (1730—1740), племянница Петра I.

Плач Давида Гурамишвили по усопшему Вахтангу Шестому. *Руставели, «Жизнь Грузии»* — У царя в изголовье. Вахтанг VI учредил первую грузинскую типографию, где в 1712 г. было осуществлено первое печатное издание поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». «Жизнь Грузии» («Картлис цховреба») — свод грузинских летописей, изданный Вахтангом VI.

Печали Давида. Эпиграф из поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» (гл. «Автандил находит Таризла во второй раз»). «*Иамбико*» — стихотворный размер, применяемый в грузинских церковных гимнах. *Друкарня* — типография. *Семилетье пустынное*. Гурамишвили провел при дворе Вахтанга VI в Москве более 7 лет. *Мтквари* — см. примеч. 36. *Гомбор* (Гомбори) — см. примеч. 127.

Давид Гурамишвили поселяется на Украине. *Мцхета* — см. примеч. на с. 346. *Ангел осенил меня кинцвисский*. Кинцвис — см. примеч. 175.

Давид Гурамишвили ищет напевы и лад песни. *Петел* — петух. *Шаири* — см. примеч. 111. *Зозуля* — кукушка. *Сковорода* Г. С. (1722—1794) — украинский философ-просветитель и поэт.

В Магдебургской тюрьме. *Хотин* — крепость, которой в 1739 г. овладели русские войска; во взятии крепости участвовала рота грузинских гусар и в их числе Гурамишвили. *Шведская война* — русско-шведская война 1741—1743 гг.; в ней участвовал Гурамишвили. *Фридрих II* (1712—1786) — прусский король, противник России в Семилетней войне, в ходе которой русские войска штурмом взяли Берлин.

Мечта о мельнице. *Навой* — вал для намотки цепей.

Мельник. *Хвито* — волшебный камень или камень желаний, которым, по древнему грузинскому преданию, владела змея.

Жизнь на мельнице. «Урмули» — песнь арубщика. *Лиах-ба* — см. примеч. 89.

Саба, Кремль и Горийская крепость. *Саба* — см. примеч. 42. «*Картлис чири*» — «Беды Грузии» — поэма Гурамишвили. *Как Тамар-царица — церковь*. Обычно на фресках царица (1184—1213) Тамар изображалась державшей на руках церковь.

Тень Сабы. *Арагва* — см. примеч. 17. *Шавтели* — грузинский поэт XII в., автор поэмы религиозно-хвалебного содержания «Абдул-мессия».

Сомнение и песнопение. Эпиграф из стих. Теймураза I «Жалоба на мир».

Грузинская песня. *Кобза* — украинский струнный музыкальный инструмент.

Гости. *Ираклий II* (1720—1798) — грузинский царь, выдающийся полководец и государственный деятель, сторонник союза с Россией, принявший русский протекторат над Грузией. *Сын Ираклия* — царевич Мириан, которому Гурамишвили вручил рукопись «Давитиани».

Последний день. *Зедазени* — см. примеч. 169.

Приписка к поэме. *Автандил, Таризл* — герои поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

185. Поэма посвящена размышлениям о судьбе великого грузинского поэта-романтика Николоза Бараташвили (1817—1845). Принадлежавший к знатной, но обедневшей семье, Бараташвили был вынужден владеть бедственным существованием мелкого чиновника в Азербайджане (Гандже), страдая от болезней, неустройства, одиночества и невозможности печататься. Ряд стих. этого периода обращен к Екатерине Чавчавадзе (1816—1882), первой красавице Грузии, сестре Нины Грибоедовой. В поэме Чиковани неоднократно встречаются реминисценции поэзии Бараташвили, в частности, стих. «Мерани», «Цвет небесный, синий цвет...», «Я храм нашел в песках. Среди тьмы...», «Злобный дух», «Серьга», «Гиацинт и странник».

Песнь сожаления. *Катина* — Екатерина Чавчавадзе. *Мерани* — см. примеч. 66. *Сиони* — древний кафедральный собор в Тбилиси.

Из Картли гонимый... *Картли* — см. примеч. 29. *Низами Гянджеви* (1140—1202) — великий азербайджанский поэт, писавший на языке классической персидской литературы. *Я верил в прекрасный цветок Цинандалы* и т. д. Имеется в виду Екатерина Чавчавадзе. Цинандалы — имя ее отца, поэта Александра Чавчавадзе в Кахетии (см. примеч. 57). *Шираз* — город в Иране, с которым связана судьба многих прославленных поэтов.

Узник Ганджи. *О Нина святая*. См. примеч. 61. *Фархад* (Ферхад) — герой поэмы Низами «Хосров и Ширин», искусный

скульптор и каменотес, он из любви к Ширин совершил подвиг: пробил в скалах канал.

Вновь сожаление. *На мткварском берегу*. Мтквари — см. примеч. 36. *Лурджа* — так называют иссиня-черного или в яблоках коня. *Шамиль* (1797—1871) — религиозный и военно-политический деятель Дагестана, возглавил борьбу против колониальной политики царизма. *Анчисхати* — древний храм в Тбилиси. *Табори* — гора и остатки феодальной крепости на северной окраине Тбилиси. *Амкари* — цеховые объединения ремесленников, имевшие своеобразный быт и обряды. *Джами* — глиняная чаша. *Священная гора* — Мтацминда (см. примеч. 31).

Первое письмо к Маико Орбелиани. *Маико Орбелиани* — родня и друг поэта, блиставшая умом, образованностью и красотой. *Сатара* — известный духанчик (духан — небольшой ресторан) того времени. *С коджорским ветерком беседую во сне*. Коджор (Коджори) — дачная местность недалеко от Тбилиси.

Гонча-бегум. Эпиграф — из письма Бараташвили к Маико Орбелиани от 9 февраля 1845 г. из г. Нахичевани. См.: Николоз Бараташвили, Стихотворения. Поэма. Письма, Тбилиси, 1968, с. 129—130.

Он вздохнул глубоко — и запел. *Мрак, ингурской волны ледене*. Ингури — см. примеч. 10. *Дарбази* — древнее грузинское жилище. *Нестан* — см. примеч. 59.

Первое послание любимой. *Алазанская лоза*. Алазань — см. примеч. 136.

На ложе твоём. *Метехи* — см. примеч. 119.

Второе письмо к Маико Орбелиани. *Турачи* — лесная птица, вид фазана. *Пити* — национальное восточное блюдо.

Жалоба на здешнюю жизнь. *Ртвели* — см. примеч. 132.

Низами. «*Нана*» — колыбельная песня. *Картвел* — житель Картли (см. примеч. 29).

Запись. *Звари* — виноградник. *Одишские твои края*. Одиши — бывшие владения князей Даднани в Мегрелии (см. примеч. 21). В 1839 г. Екатерина Чавчавадзе вышла замуж за владетельного князя Мегрелии Давида Даднани.

Песнь любви. *Нестан* — см. примеч. 59. *Этери* — героиня грузинского народного эпоса «Этериани», а также поэмы Важа Пшавела «Этери».

Мечта о Тбилиси. *Кабахи* — площадь и сад в старом Тбилиси. *Метехи* — см. примеч. 119. *Тонэ* — см. примеч. 121. *Хабази* — пекарь. *Мтацминда* — см. примеч. 31. *Лаваш* — хлеб особой выпечки из тонко раскатанного теста.

Плач в Гандже. *Атени* — см. примеч. 84. *Ксани* — см. примеч. на с. 356. *Евфимия* — старшая сестра поэта-романтика Г. Орбелиани (1804—1883), мать Николоза Бараташвили.

Нино. *Нино* — вероятно, Нина Александровна Грибоедова.

Последняя ночь. *В верийском саду*. Верийский квартал — см. примеч. 115.

Прощание. *Рыдала ли ты над ингурской волной* и т. д. Речь идет об Екатерине Чавчавадзе.

## К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

1. *Фронтиспис*. С. И. Чиковани. Фотография 1955 г.
2. *Между с. 80 и 81*. Симон Чиковани. Фотография 1907 г.
3. *На обороте*. С. И. Чиковани. Фотография 1925 г.
4. *Между с. 112 и 113*. С. И. Чиковани и народный артист Грузинской ССР Ушанги Чхеидзе. Фотография 1930 г.
5. *На обороте*. Автограф стихотворения «Мегрельские вечера». 1933 г.
6. *Между с. 208 и 209*. Н. А. Заболоцкий и С. И. Чиковани. Фотография 1936 г.
7. *На обороте*. С. И. Чиковани с женой Марией Николасвной. Фотография 1948 г.
8. *Между с. 240 и 241*. Б. Л. Пастернак, С. И. Чиковани, Б. И. Жгенти. Фотография 1950-х годов.
9. *На обороте*. С. И. Чиковани. Фотография 1965 г.

## СОДЕРЖАНИЕ<sup>1</sup>

Симон Чиковани. Вступительная статья Г. Л. Асатиани и Г. Г. Маргвелашвили . . . . .	5
--	---

### СТИХОТВОРЕНИЯ

#### РАННИЕ СТРАНИЦЫ

1. Под дождем. Перевод С. Спасского . . . . .	41
2. В поисках тени. Перевод Е. Евтушенко . . . . .	43
3. Описание весны и быта. Перевод П. Антокольского . . . . .	44
4. «Набери мне ежевики в мой кувшин...» Перевод В. Бокова	46
5. «Утром спелых гроздьев нарежу...» Перевод В. Бокова . . . . .	46
6. Отжившему поэту. Перевод А. Корчагина . . . . .	47
7. Письма. Перевод А. Межирова . . . . .	48
8. Прощание с молодостью. Перевод Б. Брика . . . . .	50
9. Дорога. Перевод П. Антокольского . . . . .	53

#### ПРОПУСТИ МЕНЯ, ГОРА!

10. Комсомол в Ушгуле. Перевод Б. Пастернака . . . . .	56
11. Посвящение сванской комсомолке. Перевод Н. Тихонова . . . . .	58
12. Сванская колыбельная. Перевод П. Петренко . . . . .	61
13. Письмо с гор. Перевод А. Межирова . . . . .	63
14. По пути в Сванетию. Перевод Б. Ахмадулиной . . . . .	64
15. Задуманное поведая облакам. Перевод Б. Ахмадулиной . . . . .	65
16. Альпинисты. Перевод В. Державина . . . . .	66
17. По следам Важа Пшавела. Перевод П. Антокольского . . . . .	68
18. Вечер застает в Хахмати. Перевод Н. Тихонова . . . . .	71
19. Стада в Рошке. Перевод Н. Гребнева . . . . .	74
20. Девушка из Рошки. Перевод М. Петровых . . . . .	78

---

<sup>1</sup> Произведения, отмеченные «звездочкой», на русский язык переведены впервые.

## ВЕЧЕРА В КОЛХИДЕ

21. Мегрельские вечера. <i>Перевод Б. Пастернака</i> . . . . .	80
22. Гидроплан и садовник. <i>Перевод В. Державина</i> . . . . .	82
23. Вечер в Колхиде. <i>Перевод Н. Заболоцкого</i> . . . . .	84
24. Раковина. <i>Перевод Н. Тихонова</i> . . . . .	85
25. Морская раковина. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	87
26. Песня влюбленного рыбака. <i>Перевод В. Бокова</i> . . . . .	88
27. Песня покинутого рыбака. <i>Перевод В. Бокова</i> . . . . .	88
28. На озере. <i>Перевод В. Державина</i> . . . . .	89

## ЗДЕСЬ Я ИСКАЛ ЗНАКОМЫЕ МЕСТА

29. Садовник. <i>Перевод Н. Заболоцкого</i> . . . . .	92
30. Берега. <i>Перевод В. Державина</i> . . . . .	93
31. Весна («Ты выходишь на берег тбилисский. . .»). <i>Перевод В. Державина</i> . . . . .	94
32. Тбилиси после дождя. <i>Перевод В. Державина</i> . . . . .	95
33. Тбилисская ночь. <i>Перевод Е. Евтушенко</i> . . . . .	96
34. Тбилисский рыбак. <i>Перевод Б. Пастернака</i> . . . . .	97
35. Приход рыбака. <i>Перевод Б. Пастернака</i> . . . . .	98
36. Отара овец. <i>Перевод К. Арсеновой</i> . . . . .	100

## ЛИРИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

37. У озера. <i>Перевод Г. Маргвелашвили</i> . . . . .	102
38. Посвящение. <i>Перевод М. Луконина</i> . . . . .	102
39. Старинные часы. <i>Перевод Д. Самойлова</i> . . . . .	103
40. Снег. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	104
41. Ожидание снега. <i>Перевод А. Кочеткова</i> . . . . .	105
42. Воспоминание о деде. <i>Перевод В. Державина</i> . . . . .	106
43. «Юность, молодость, зрелость. . .» <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	107
44. Песнь ручья. <i>Перевод В. Бокова</i> . . . . .	108

## ПРОШЛОГОДНИЙ ДНЕВНИК

45. Первая приписка к книге. <i>Перевод В. Державина</i> . . . . .	110
46. Тень отца. <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	111
47. Мечты отца. <i>Перевод М. Луконина</i> . . . . .	112
48. Моя мать. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	113
49. Рожденный из крепостной стены. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	114
50. Вторая приписка к книге. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	115
51. «Нет, одному невесело поется. . .» <i>Перевод Е. Евтушенко</i> . . . . .	116
52. «Стихи начать — как жизнь построить снова. . .» <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	117
53. Работа. <i>Перевод Б. Пастернака</i> . . . . .	118
54. Гнездо ласточки. <i>Перевод Б. Пастернака</i> . . . . .	119
55. Начало. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	120
56. Третья приписка. <i>Перевод С. Куняева</i> . . . . .	121

## ПРЕДКИ

57. Теймураз обозревает осень в Кахетни. <i>Перевод В. Державина</i> . . . . .	122
58. Вардзийский зодчий. <i>Перевод Н. Заболоцкого</i> . . . . .	126



59. Озеро Цунда. <i>Перевод Н. Заболоцкого</i> . . . . .	129
60. Мастера-переписчики «Вепхисткаосани». <i>Перевод П. Антокольского</i> . . . . .	130
61—65. Армазские видения	
1. Древняя Михета. <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	132
2. Раздумья о Серафите. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	133
3. Хвала Серафите. <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	134
4. Зову Серафиту. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	135
5. Гранатовое дерево у гробницы Серафиты. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	137
66. Николозу Бараташвили. <i>Перевод Н. Познанского</i> . . . . .	138
67. У камня Важа Пшавела. <i>Перевод Б. Пастернака</i> . . . . .	140

#### ГАМАРДЖЕБА

68. Гамарджеба. <i>Перевод А. Адалис</i> . . . . .	142
69. «Перевяжите рану...» <i>Перевод Е. Евтушенко</i> . . . . .	143
70. Подсолнухи. <i>Перевод К. Арсеновой</i> . . . . .	144
71. Сказанное во время бомбежки. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	145
72. Осколки глиняной чаши. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	146
73. Смерть Лешкашели. <i>Перевод Б. Пастернака</i> . . . . .	148
74. Сон. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	149
75. Мы в море заплыли. <i>Перевод С. Куняева</i> . . . . .	151
76. Детский плач. <i>Перевод С. Куняева</i> . . . . .	152

#### МОЯ ОТЧИЗНА

77. Кто сказал... <i>Перевод Н. Тихонова</i> . . . . .	154
78. У памятника Ленину. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	155
79. Мать Грузии. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	156
80. Пора сенокоса. <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	157
81. На сенокосе. <i>Перевод Е. Евтушенко</i> . . . . .	158
82. Девять дубов. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	159
83. «Любовь и силу...» <i>Перевод М. Луконина</i> . . . . .	160

#### КАРТЛИНСКИЕ ВЕЧЕРА

84. Песня. <i>Перевод Д. Самойлова</i> . . . . .	161
85. Старик из Атени. <i>Перевод Н. Заболоцкого</i> . . . . .	161
86. Быки. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	162
87. Анания. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	163
88. Олени на гумне. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	164
89. У истоков Лнахви. <i>Перевод М. Луконина</i> . . . . .	165

#### РОДНЫЕ БЕРЕГА

90. Диоскурия. <i>Перевод Е. Евтушенко</i> . . . . .	167
91. Моряки и летчики. <i>Перевод П. Антокольского</i> . . . . .	168
92. Эвкалипты. <i>Перевод А. Гатова</i> . . . . .	169
93. На озере Рица. <i>Перевод Н. Заболоцкого</i> . . . . .	169
94. Пасечник. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	171
95. Укрощенное море. <i>Перевод Е. Николаевской</i> . . . . .	173

96.	Тополь. <i>Перевод Д. Самойлова</i> . . . . .	173
97.	Буйволы. <i>Перевод В. Бокова</i> . . . . .	174
98.	«Балахвани, Сапичхия и Орпири. . .» <i>Перевод Е. Евтушенко</i>	175
99.	Дума о Рюни. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	176
100.	Светлячок. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	180
101.	Старая чинара. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	181

#### ПЕСНИ ДРУЖБЫ

102.	Лесная песня. <i>Перевод Е. Евтушенко</i> . . . . .	182
103.	Незнакомка из Зубовки. <i>Перевод Н. Заболоцкого</i> . . . . .	183
104.	Севанское озеро. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	184
105.	Письмо друзьям. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	186
106.	В сторону села Шопена. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	187
107.	Дом Ленина в Поронино. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	188
108.	Письмо из Татр. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	190
109.	Второе письмо. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	191
110.	Народная пляска. <i>Перевод П. Антокольского</i> . . . . .	192
111.	У могилы Гёте. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	193
112.	Карнавал мира в Веймаре. <i>Перевод П. Антокольского</i> . . . . .	195

#### ТЕНИ ПЛАТАНОВ

113.	Тбилисский орнамент. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	197
114.	Майский дождь. <i>Перевод Б. Пастернака</i> . . . . .	198
115.	Прекратим эти речи на миг. . . <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i>	199
116.	Два крыла. <i>Перевод С. Куняева</i> . . . . .	200
117.	Цветы. <i>Перевод Б. Пастернака</i> . . . . .	201
118.	Снежок. <i>Перевод Б. Пастернака</i> . . . . .	202
119.	Тбилисский снег. <i>Перевод Е. Евтушенко</i> . . . . .	203
120.	В тени платанов. <i>Перевод Б. Пастернака</i> . . . . .	204
121.	На набережной. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	205
122.	Поездка за солью. <i>Перевод Е. Евтушенко</i> . . . . .	206
123.	Табак. <i>Перевод В. Пастернака</i> . . . . .	206
124.	Метехи. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	207
125.	«Две округлых улыбки — Телети и Цхнети. . .» <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i>	208
126.	Ночи Пиросмани. <i>Перевод П. Антокольского</i> . . . . .	209
127.	От этого порога. . . <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	210
128.	«Я прокричал «ваша!» . . .» <i>Перевод Е. Евтушенко</i>	211
129.	Тбилиси ночью. <i>Перевод П. Антокольского</i> . . . . .	213
130.	«Я укрылся в тени платана. . .» <i>Перевод П. Антокольского</i>	214
131.	«Как видно, навеки завещано мне. . .» <i>Перевод С. Куняева</i>	215

#### ХВАЛА КАХЕТИИ

132.	Осень в Кахетии. <i>Перевод С. Куняева</i> . . . . .	216
133.	Гремская колокольня. <i>Перевод Б. Ахмадулиной</i> . . . . .	217
134.	Переход через Гомбори. <i>Перевод А. Межирова</i> . . . . .	218
135.	Хвала Кахети. <i>Перевод С. Куняева</i> . . . . .	219
136.	На Сигнахской горе. <i>Перевод С. Куняева</i> . . . . .	220

ОСЕННЯЯ ТЕТРАДЬ

137. Закат. <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	221
138. Горы поют. <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	221
139. Прощальный вечер. <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	222
140. Радость. <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	223
141. Мечта. <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	223
142. На взморье. <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	224
143. В душе разбушевалась листва. <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	225
144. Листопад и озимый сев. <i>Перевод А. Тарковского</i> . . . . .	226

КНИГУ ТЕБЕ ОСТАВЛЯЮ

* 145. «Мне не спится до рассвета. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	227
* 146. «И сорвалась звезда. Ночной дорогой. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	228
* 147. «И я на плиты наступил ногой. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	229
* 148. «Слушай, как можно без слов бесноваться. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	230
* 149. «Как за днем ночь идет, так и смерть. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	230
* 150. «Верно, узка моя комната. В зале. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	231
* 151. На горы взбегаешь ты. . . <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	232
* 152. «Писать стихи я выучился поздно. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	233
* 153. Возвращение в Тбилиси. <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	233
* 154. «Снится мне: сижу в кувшине. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	234
* 155. Марике. <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	235
* 156. «Мы многим дорогам обязаны многим. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	236
* 157. «Когда топтал песок у Мтквари, дома. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	237
* 158. «Пока на Верийском мосту я стоял. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	238
* 159. «Вечереет; с горы я спускаюсь тропою. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	238
* 160. «Сжег я ладан души над Курой; над скалой. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	240
* 161. «Я маленький цветущий сад разбил. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	241
* 162. «Пришел и ушел я так рано из Рима. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	241
* 163. Мамелюки. <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	242
* 164. «Сорвались слезы с глаз твоих; скорбя. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	243
* 165. «Это родник мой, он мал, но запомни. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	244
* 166. Жизнь-мгновенье. <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	244
167. «Голос твой Кура заглушит на миг. . .» <i>Перевод Н. Тихонова</i> . . . . .	245
* 168. «Не явился я к раннему ртвели. . .» <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	246
169. Зедазени. <i>Перевод Н. Тихонова</i> . . . . .	247
170. Паромщик. <i>Перевод С. Алиханова</i> . . . . .	248
171. Шаги. <i>Перевод С. Алиханова</i> . . . . .	249
* 172. Новогоднее обращение к Родине. <i>Перевод Е. Самченко</i> . . . . .	249

* 173. «В моей любви не надо сомневаться...»	<i>Перевод Е. Самченко</i>	250
* 174. «Вот и двадцать пять лет за спиной...»	<i>Перевод Е. Самченко</i>	251
* 175. Ладо Гудиашвили.	<i>Перевод Е. Самченко</i>	251
* 176. Мирзе Геловани.	<i>Перевод Е. Самченко</i>	253
* 177. Открытые двери.	<i>Перевод Е. Самченко</i>	253
* 178. Владимиру Маяковскому.	<i>Перевод Е. Самченко</i>	254
* 179—180. Стихи о Пиросмани.	<i>Перевод Е. Самченко</i>	
1. «Вечереет откровенней...»		255
2. «Шагал вдоль балконов-рисунков ночами...»		255
* 181. «Я думал так: сильнее твой размах...»	<i>Перевод Е. Самченко</i>	257
* 182. В Малеевке.	<i>Перевод Е. Самченко</i>	257
* 183. «Март меня капризно навещает...»	<i>Перевод Е. Самченко</i>	258

## ПОЭМЫ

184. Песнь о Давиде Гурамишвили.	<i>Перевод В. Державина</i>	261
185. Ганджинский дневник. Главки «Первое послание любимой» и «На ложе твоём» переведены Е. Евтушенко. Перевод всех других главок поэмы принадлежит Д. Виноградову		309
Примечания		335
К иллюстрациям		361

*Симон Чиковани*

**СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ**

Л. О. изд-ва «Советский писатель». 1983, 368 стр.

План выпуска 1982 г. № 424.

Художник И. С. Серов  
Редактор Л. С. Гейро  
Худож. редактор А. С. Орлов  
Техн. редактор Е. Ф. Шареева  
Корректор И. Г. Клейнер

ИБ № 3185

Сдано в набор 31.05.83. Подписано к печати 21.09.83. М 35145. Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 19,84. Уч.-изд. л. 18,51. Тираж 40 000 экз. Заказ № 1311. Цена 2 р. 10 к. Издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Невский пр., 28. Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, центр, Красная ул., 1/3